

Чернобыльская молитва
(хроника будущего)

Светлана Алексиевич

Мы воздух, мы не земля...
М. Мамардашвили

Историческая справка

Беларусь... Для мира мы terra incognita — неизвестная, неизведанная земля. “Белая Россия” — так примерно звучит название нашей страны на английском языке. О Чернобыле все знают, но только в связи с Украиной и Россией. Мы еще должны рассказать о себе...”

“Народная газета”, 27 апреля 1996 г.

“26 апреля 1986 г. в 1 час 23 минуты 58 секунд — серия взрывов разрушила реактор и здание 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, расположенной вблизи белорусской границы. Чернобыльская катастрофа стала самой крупной технологической катастрофой XX века.

Для маленькой Беларуси (население 10 млн. человек) она явилась национальным бедствием, хотя у самих белорусов нет ни одной атомной станции. Это по-прежнему аграрная страна, с преимущественным сельским населением. В годы Великой Отечественной войны немецкие фашисты уничтожили на белорусской земле 619 деревень вместе с их жителями. После Чернобыля страна потеряла 485 деревень и поселков: 70 из них уже навечно захоронены в земле. В войну погиб каждый четвертый белорус, сегодня каждый пятый живет на зараженной территории. Это 2,1 млн. человек, из них — 700 тыс. детей. Среди факторов демографического угасания радиация занимает главное место. В Гомельской и Могилевской областях (наиболее пострадавших от чернобыльской катастрофы) смертность превысила рождаемость на 20%.

В результате катастрофы в атмосферу выброшено 50×10^6 Ки радионуклидов, из них 70% выпало на Беларусь: 23% ее территории заражено радионуклидами с плотностью больше за 1 Ки/км² по цезию — 137. Для сравнения: на Украине заражено 4,8% территории, в России — 0,5%. Площадь сельхозугодий с плотностью загрязнения от 1 и больше Ки/км² составляет свыше 1,8 млн. гектаров, стронцием — 90 с плотностью 0,3 и больше Ки/км² — около 0,5 млн. гектаров. Из сельхозоборота — выведено 264 тыс. гектаров земли. Беларусь — страна лесов. Но 26% лесов и большая половина лугов в поймах рек Припять, Днепр, Сож относятся к зоне радиоактивного загрязнения...

Как следствие постоянного воздействия малых доз радиации с каждым годом в стране увеличивается число больных с раковыми заболеваниями, умственной отсталостью, нервно-психическими расстройствами и генетическими мутациями...”

Сб. “Чернобыль”. “Беларуская энциклопедыя”, 1996, с. 7, 24, 49, 101, 149.

“По данным наблюдений, 29 апреля 1986 года высокий радиационный фон был зарегистрирован в Польше, Германии, Австрии, Румынии, 30 апреля — в Швейцарии и Северной Италии, 1—2 мая — во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, северной Греции, 3 мая — в Израиле, Кувейте, Турции...”

Заброшенные на большую высоту газообразные и летучие вещества распространялись глобально: 2 мая они зарегистрированы в Японии, 4 мая — в Китае, 5-го — в Индии, 5 и 6 мая — в США и Канаде.

Меньше недели понадобилось, чтобы Чернобыль стал проблемой всего мира...”

Сб. “Последствия Чернобыльской аварии в Беларуси.” Минск. Международный высший Сахаровский колледж по радиоэкологии. 1992 г., с. 82.

“Четвертый реактор, именуемый объектом “Укрытие”, по-прежнему хранит в своем свинцово-железобетонном чреве около 200 тонн ядерных материалов. Причем топливо

частично перемешано с графитом и бетоном. Что с ними происходит сегодня, не знает никто.

Саркофаг соорудили наспех, конструкция уникальная, наверное, инженеры-разработчики из Питера могут ею гордиться. Служить она должна была тридцать лет. Однако монтировали его “дистанционно”, плиты стыковывали с помощью роботов и вертолетов — отсюда и щели. Сегодня, согласно некоторым данным, общая площадь зазоров и трещин превышает 200 квадратных метров, из них продолжают вырываться радиоактивные аэрозоли. Если ветер дует с севера, то на юге — зольная активность: с ураном, плутонием, цезием. Мало того, в солнечный день при выключенном свете в реакторном зале видны столбы света, падающие сверху. Что это? Проникает внутрь и дождь. А при попадании влаги в топливосодержащие массы возможна цепная реакция...

Саркофаг — покойник, который дышит. Дышит смертью. На сколько его еще хватит? На это никто не ответит, до сих пор невозможно подобраться ко многим узлам и конструкциям, чтобы узнать, каков у них запас прочности. Зато все понимают: разрушение “Укрытия” привело бы к последствиям даже пострашнее, чем в 1986-ом...”

Журнал “Огонек”, N 17, апрель 1996 г.

“До Чернобыля... на 100 тысяч белорусских жителей было 82 случая онкологических заболеваний. Сегодня статистика следующая: на 100 тысяч — 6 тысяч больных. Увеличение почти в 74 раза.

Смертность за последние десять лет увеличилась на 23,5%. От старости умирает 1 человек из 14, в основном трудоспособные — 46-50 лет. В наиболее зараженных областях при медицинском осмотре установлено: из 10 человек — семь больных. Едешь по деревням, и тебя поражает территория разросшихся кладбищ...”

“До сих пор многие цифры неизвестны.... Их все еще держат в тайне, так они чудовищны. Советский Союз послал на место катастрофы 800 тысяч солдат срочной службы и призванных на службу ликвидаторов, средний возраст последних был 33 года. А мальчишек взяли служить в армию сразу после школы...”

Только в Беларуси значатся в списках ликвидаторов 115493 человека. По данным Минздрава, с 1990 по 2003 год 8553 ликвидаторов умерли. По два человека в день...”

„Так начиналась история...”

1986 год... На первых полосах советских и зарубежных газет репортажи о суде над виновниками чернобыльской катастрофы...

А теперь... Представьте пустой пятиэтажный дом. Дом без жильцов, но с вещами, мебелью, одеждой, которые использовать уже никто и никогда не сможет. Потому что дом этот в Чернобыле... Но именно в таком доме мёртвого города давали небольшую пресс-конференцию для журналистов те, кому предстояло вершить суд над виновниками в атомной аварии. На самом высоком уровне, в ЦК КПСС решили, что дело должно рассматриваться на месте преступления. В самом Чернобыле. Суд состоялся в здании местного Дома культуры. На скамье подсудимых шестеро — директор атомной станции Виктор Брюханов, главный инженер Николай Фомин, заместитель главного инженера Анатолий Дятлов, начальник смены Борис Рогожкин, начальник реакторного цеха Александр Коваленко, инспектор Госатомэнергонадзора СССР Юрий Лаушкин.

Зрительские места пусты. Сидят одни журналисты. Впрочем, людей уже здесь и нет, город “закрыли”, как “зону жесткого радиационного контроля”. Не по этой ли причине его и избрали местом суда? — чем меньше свидетелей, тем меньше шума. Нет телеоператоров и нет западных журналистов. Конечно, на скамье подсудимых все хотели увидеть десятки

ответственных чиновников, в том числе и московских. Свою ответственность должна была нести и современная наука. Но согласились на “стрелочников”.

Приговор... Виктор Брюханов, Николай Фомин и Анатолий Дятлов получили по 10 лет. У других сроки были меньше. В заключении Анатолий Дятлов и Юрий Лаушкин умерли от последствий сильного радиационного облучения. Главный инженер Николай Фомин сошел с ума... А вот директор станции Виктор Брюханов отбыл срок наказания от звонка до звонка – все десять лет. Встречали его родные и несколько журналистов. Событие прошло незаметно.

Бывший директор живет в Киеве, служит обычным клерком в одной из фирм...
Так кончается история...”

...“В скором времени Украина приступает к грандиозному строительству. Над саркофагом, накрывшем в 1986-м году разрушенный четвертый блок Чернобыльской АЭС, появится новое укрытие под названием “Арка”. На этот проект 28 стран-доноров в ближайшее время выделяют первоначальные капиталовложения – свыше 768 миллионов долларов. Новое укрытие должно существовать уже не тридцать, а сто лет. И задумано оно намного грандиознее, потому что должно иметь достаточный объем, чтобы там вести работы по перезахоронению отходов. Нужен массивный фундамент: фактически предстоит сделать искусственный скальный грунт из бетонных столбов и плит. Следом надо подготовить хранилище, куда станут перевозить радиоактивные отходы, извлеченные из-под старого саркофага. Самое новое укрытие будет изготовлено из стали высокого качества, способной выдержать гамма-излучение. Только металла потребуется 18 тыс. тонн...

“Арка” станет беспрецедентным в истории человечества сооружением. Во-первых, поражают ее масштабы – это двойная оболочка высотой 150 метров. А по эстетике она приблизится к Эйфелевой башне...”

По материалам белорусских интернет-газет за 2002-2005 гг.

Одинокий человеческий голос

“Я не знаю, о чем рассказывать... О смерти или о любви? Или это одно и то же... О чем?”

... Мы недавно поженились. Еще ходили по улице и держались за руки, даже если в магазин шли. Всегда вдвоем. Я говорила ему: “Я тебя люблю”. Но я еще не знала, как я его любила... Не представляла... Жили мы в общежитии пожарной части, где он служил. На втором этаже. И там еще три молодые семьи, на всех одна кухня. А внизу, на первом этаже стояли машины. Красные пожарные машины. Это была его служба. Всегда я в курсе: где он, что с ним? Среди ночи слышу какой-то шум. Крики. Выглянула в окно. Он увидел меня: “Закрой форточки и ложись спать. На станции пожар. Я скоро буду”.

Самого взрыва я не видела. Только пламя. Все, словно светилось... Все небо... Высокое пламя. Копоть. Жар страшный. А его все нет и нет. Копоть оттого, что битум горел, крыша станции была залита битумом. Ходили, потом вспоминал, как по смоле. Сбивали огонь, а он полз. Поднимался. Сбрасывали горящий графит ногами... Уехали они без брезентовых костюмов, как были в одних рубашках, так и уехали. Их не предупредили, их вызвали на обыкновенный пожар...

Четыре часа... Пять часов... Шесть... В шесть мы с ним собирались ехать к его родителям. Сажать картошку. От города Припять до деревни Сперижье, где жили его родители, сорок километров. Сеять, пахать... Его любимые работы... Мать часто вспоминала, как не хотели они с отцом отпускать его в город, даже новый дом построили. Забрали в армию. Служил в Москве в пожарных войсках, и когда вернулся: только в пожарники! Ничего другого не признавал. (*Молчит.*)

Иногда будто слышу его голос... Живой... Даже фотографии так на меня не действуют, как голос. Но он никогда меня не зовет. И во сне... Это я его зову...

Семь часов... В семь часов мне передали, что он в больнице. Я побежала, но вокруг больницы уже стояла кольцом милиция, никого не пускали. Одни машины “Скорой помощи” заезжали. Милиционеры кричали: машины зашкаливают, не приближайтесь. Не одна я, все жены прибежали, все, у кого мужья в эту ночь оказались на станции. Я бросилась искать свою знакомую, она работала врачом в этой больнице. Схватила ее за халат, когда она выходила из машины: “Пропусти меня!” — “Не могу! С ним плохо. С ними со всеми плохо”. Держу ее: “Только посмотреть”. “Ладно, — говорит, — тогда бежим. На пятнадцать—двадцать минут”. Я увидела его... Отекший весь, опухший... Глаз почти нет... “Надо молока. Много молока! — сказала мне знакомая. — Чтобы они выпили хотя бы по три литра”. — “Но он не пьет молоко”. — “Сейчас будет пить”. Многие врачи, медсестры, особенно санитарки этой больницы через какое-то время заболеют. Умрут. Но никто тогда этого не знал...

В десять утра умер оператор Шишенок... Он умер первым... В первый день... Мы узнали, что под развалинами остался второй — Валера Ходемчук. Так его и не достали. Забетонировали. Но мы еще не знали, что они все — первые.

Спрашиваю: “Васенька, что делать?” — “Уезжай отсюда! Уезжай! У тебя будет ребенок”. Я — беременная. Но как я его оставлю? Просит: “Уезжай! Спасай ребенка!” — “Сначала я должна принести тебе молоко, а потом решим”.

Прибегает моя подруга Таня Кибенок... Ее муж в этой же палате. С ней ее отец, он на машине. Мы садимся и едем в ближайшую деревню за молоком, где-то три километра за городом... Покупаем много трехлитровых банок с молоком... Шесть — чтобы хватило на всех... Но от молока их страшно рвало... Все время теряли сознание, им ставили

капельницы. Врачи почему-то твердили, что они отравились газами, никто не говорил о радиации. А город заполнился военной техникой, перекрыли все дороги. Везде солдаты. Перестали ходить электрички, поезда. Мыли улицы каким-то белым порошком... Я волновалась, как же мне завтра добраться в деревню, чтобы купить ему парного молока? Никто не говорил о радиации... Одни военные ходили в респираторах... Горожане несли хлеб из магазинов, открытые кулечки с конфетами. Пирожные лежали на лотках... Обычная жизнь. Только... Мыли улицы каким-то порошком...

Вечером в больницу не пропустили... Море людей вокруг... Я стояла напротив его окна, он подошел и что-то мне кричал. Так отчаянно! В толпе кто-то расслышал: их увозят ночью в Москву. Жены сбились все в одну кучу. Решили: поедем с ними. Пустите нас к нашим мужьям! Не имеете права! Бились, царапались. Солдаты, уже стояла цепь в два ряда, нас отталкивали. Тогда вышел врач и подтвердил, что они полетят на самолете в Москву, но нам нужно принести им одежду, — та, в которой они были на станции, сгорела. Автобусы уже не ходили, и мы бегом через весь город. Прибежали с сумками, а самолет уже улетел. Нас специально обманули... Чтобы мы не кричали, не плакали...

Ночь... По одну сторону улицы автобусы, сотни автобусов (уже готовили город к эвакуации), а по другую сторону — сотни пожарных машин. Пригнали отовсюду. Вся улица в белой пене... Мы по ней идем... Ругаемся и плачем...

По радио объявили, что, возможно, город эвакуируют на три-пять дней, возьмите с собой теплые вещи и спортивные костюмы, будете жить в лесах. В палатках. Люди даже обрадовались: поедем на природу! Встретим там Первое мая. Необычно. Готовили в дорогу шашлыки, покупали вино. Брали с собой гитары, магнитофоны. Любимые майские праздники! Плакали только те, чьи мужья пострадали.

Не помню дороги... Будто очнулась, когда увидела его мать: “Мама, Вася в Москве! Увезли специальным самолетом!” Но мы досадили огород – картошку, капусту (а через неделю деревню эвакуируют!) Кто знал? Кто тогда это знал? К вечеру у меня открылась рвота. Я — на шестом месяце беременности. Мне так плохо... Ночью снится, что он меня зовет, пока он был жив, звал меня во сне: “Люся! Люсенька!” А когда умер, ни разу не позвал. Ни разу... *(Плачет.)* Встаю я утром с мыслью, что поеду в Москву одна... “Куда ты такая?” — плачет мать. Собрали в дорогу и отца: “Пусть довезет тебя” Он снял со сберкнижки деньги, которые у них были. Все деньги.

Дороги не помню... Дорога опять выпала из памяти... В Москве у первого милиционера спросили, в какой больнице лежат чернобыльские пожарники, и он нам сказал, я даже удивилась, потому что нас пугали: государственная тайна, совершенно секретно.

Шестая больница — на “Щукинской”...

В эту больницу, специальная радиологическая больница, без пропусков не пускали. Я дала деньги вахтеру, и тогда она говорит: “Иди”. Сказала – какой этаж. Кого-то я опять просила, молила... И вот сижу в кабинете у заведующей радиологическим отделением — Ангелины Васильевны Гуськовой. Тогда я еще не знала, как ее зовут, ничего не запоминала. Я знала только, что должна его увидеть... Найти...

Она сразу меня спросила:

— Миленькая моя! Миленькая моя... Дети есть?

Как я признаюсь?! И уже понимаю, что надо скрыть мою беременность. Не пустит к нему! Хорошо, что я худенькая, ничего по мне незаметно.

— Есть. — Отвечаю.

— Сколько?

Думаю: “Надо сказать, что двое. Если один — все равно не пустит”.

— Мальчик и девочка.

— Раз двое, то рожать, видно, больше не придется. Теперь слушай: центральная нервная система поражена полностью, костный мозг поражен полностью...

“Ну, ладно, — думаю, — станет немножко нервным”.

— Еще слушай: если заплачешь — я тебя сразу отправлю. Обниматься и целоваться нельзя. Ближко не подходить. Даю полчаса.

Но я знала, что уже отсюда не уйду. Если уйду, то с ним. Поклялась себе!

Захожу... Они сидят на кровати, играют в карты и смеются.

— Вася! — кричат ему.

Поворачивается:

— О, братцы, я пропал! И здесь нашла!

Смешной такой, пижама на нем сорок восьмого размера, а у него — пятьдесят второй. Короткие рукава, короткие штанишки. Но опухоль с лица уже сошла... Им вливали какой-то раствор...

— А чего это ты вдруг пропал? — Спрашиваю.

И он хочет меня обнять.

— Сиди-сиди, — не пускает его ко мне врач. — Нечего тут обниматься.

Как-то мы это в шутку превратили. И тут уже все сбежались, и из других палат тоже. Все наши. Из Припяти. Их же двадцать восемь человек самолетом привезли. Что там? Что там у нас в городе? Я отвечаю, что началась эвакуация, весь город увозят на три или пять дней. Ребята молчат, а было там две женщины, одна из них на проходной в день аварии дежурила, и она заплакала:

— Боже мой! Там мои дети. Что с ними?

Мне хотелось побыть с ним вдвоем, ну, пусть бы одну минуточку. Ребята это почувствовали, и каждый придумал какую-то причину, и они вышли в коридор. Тогда я обняла его и поцеловала. Он отодвинулся:

— Не садись рядом. Возьми стульчик.

— Да, глупости все это, — махнула я рукой. — А ты видел, где произошел взрыв? Что там? Вы ведь первые туда попали...

— Скорее всего, это вредительство. Кто-то специально устроил. Все наши ребята такого мнения.

Тогда так говорили. Думали.

На следующий день, когда я пришла, они уже лежали по одному, каждый в отдельной палате. Им категорически запрещалось выходить в коридор. Общаться друг с другом. Перестукивались через стенку: точка—тире, точка—тире... Точка... Врачи объяснили это тем, что каждый организм по-разному реагирует на дозы облучения, и то, что выдержит один, другому не под силу. Там, где они лежали, зашкаливали даже стены. Слева, справа и этаж под ними... Там всех выселили, ни одного больного... Под ними и над ними никого...

Три дня я жила у своих московских знакомых. Они мне говорили: бери кастрюлю, бери миску, бери все, что тебе надо, не стесняйся. Это такие оказались люди... Такие! Я варила бульон из индюшки, на шесть человек. Шесть наших ребят... Пожарников... Из одной смены... Они все дежурили в ту ночь: Ващук, Кибенок, Титенок, Правик, Тищура. В магазине купила им всем зубную пасту, щетки, мыло. Ничего этого в больнице не было. Маленькие полотенца купила... Я удивляюсь теперь своим знакомым, они, конечно, боялись, не могли не бояться, уже ходили всякие слухи, но все равно сами мне предлагали: бери все, что надо. Бери! Как он? Как они все? Они будут жить? Жить... (*Молчит*). Встретила тогда много хороших людей, я не всех запомнила... Мир сузился до одной точки... Он... Только он... Помню пожилую санитарку, которая меня учила: “Есть болезни, которые не излечиваются. Надо сидеть и гладить руки”.

Рано утром еду на базар, оттуда к своим знакомым, варю бульон. Все протереть, покрошить, разлить по порциям Кто-то попросил: “Привези яблочко”. С шестью полулитровыми баночками... Всегда на шестерых! В больницу... Сажу до вечера. А вечером — опять в другой конец города. Насколько бы меня так хватило? Но через три дня предложили, что можно жить в гостинице для медработников, на территории самой больницы. Боже, какое счастье!!

— Но там нет кухни. Как я буду им готовить?

— Вам уже не надо готовить. Их желудки перестают воспринимать еду.

Он стал меняться — каждый день я уже встречала другого человека... Ожоги выходили наверх... Во рту, на языке, щеках — сначала появились маленькие язвочки, потом они разрослись. Пластами отходила слизистая, пленочками белыми. Цвет лица... Цвет тела... Синий... Красный... Серо-бурый... А оно такое все мое, такое любимое! Это нельзя рассказать! Это нельзя написать! И даже пережить... Спасало то, что все это происходило мгновенно, некогда было думать, некогда было плакать.

Я любила его! Я еще не знала, как я его любила! Мы только поженились... Ещё не нарадовались друг другу... Идем по улице. Схватит меня на руки и закружится. И целует, целует. Люди идут мимо, и все улыбаются.

Клиника острой лучевой болезни — четырнадцать дней... За четырнадцать дней человек умирает...

В гостинице в первый же день дозиметристы меня замеряли. Одежда, сумка, кошелек, туфли, — все “горело”. И все это тут же у меня забрали. Даже нижнее белье. Не тронули только деньги. Взамен выдали больничный халат пятьдесят шестого размера на мой сорок четвертый, а тапочки сорок третьего вместо тридцать седьмого. Одежду, сказали, может, привезем, а, может, и нет, навряд ли она поддастся “чистке”. В таком виде я и появилась перед ним. Испугался: “Батюшки, что с тобой?” А я все-таки ухитрилась варить бульон. Ставила кипяtilьник в стеклянную банку... Туда бросала кусочки курицы... Маленькие-маленькие... Потом кто-то отдал мне свою кастрюльку, кажется, уборщица или дежурная гостиницы. Кто-то — досочку, на которой я резала свежую петрушку. В больничном халате сама я не могла добраться до базара, кто-то мне эту зелень приносил. Но все бесполезно, он не мог даже пить... Проглотить сырое яйцо... А мне хотелось достать что-нибудь вкусненькое! Будто это могло помочь. Добежала до почты: “Девочки, — прошу, — мне надо срочно позвонить моим родителям в Ивано-Франковск. У меня здесь умирает муж”. Почему-то они сразу догадались, откуда я и кто мой муж, моментально соединили. Мой отец, сестра и брат в тот же день вылетели ко мне в Москву. Они привезли мои вещи. Деньги.

Девятого мая... Он всегда мне говорил: “Ты не представляешь, какая красивая Москва! Особенно на День Победы, когда салют. Я хочу, чтобы ты увидела”. Сажу возле него в палате, открыл глаза:

— Сейчас день или вечер?

— Девять вечера.

— Открывай окно! Начинается салют!

Я открыла окно. Восьмой этаж, весь город перед нами! Букет огня взметнулся в небо.

— Вот это да!

— Я обещал тебе, что покажу Москву. Я обещал, что по праздникам буду всю жизнь дарить цветы...

Оглянулась — достает из-под подушки три гвоздики. Дал медсестре деньги — и она купила.

Подбежала и целую:

— Мой единственный! Любовь моя!

Разворчался:

— Что тебе приказывают врачи? Нельзя меня обнимать! Нельзя целовать!

Мне запрещали его обнимать. Гладить... Но я... Я поднимала и усаживала его на кровать. Перестилала постель, ставила градусник, приносила и уносила судно... Вытирала... Всю ночь – рядом. Сторожила каждое его движение. Вздых.

Хорошо, что не в палате, а в коридоре... У меня закружилась голова, я ухватилась за подоконник... Мимо шел врач, он взял меня за руку. И неожиданно:

— Вы беременная?

— Нет-нет! — Я так испугалась, чтобы нас кто-нибудь не услышал.

— Не обманывайте, — вздохнул он.

Я так растерялась, что не успела его ни о чем попросить.

Назавтра меня вызывают к заведующей:

— Почему вы меня обманули? — строго спросила она.

— Не было выхода. Скажи я правду — отправили бы домой. Святая ложь!

— Что вы натворили!!

— Но я с ним...

— Миленькая ты моя! Миленькая моя...

Всю жизнь буду благодарна Ангелине Васильевне Гуськовой. Всю жизнь!

Другие жены тоже приезжали, но их уже не пустили. Были со мной их мамы: мамам разрешили... Мама Володи Правика все время просила Бога: “Возьми лучше меня”.

Американский профессор, доктор Гейл... Это он делал операцию по пересадке костного мозга... Утешал меня: надежда есть, маленькая, но есть. Такой могучий организм, такой сильный парень! Вызвали всех его родственников. Две сестры приехали из Беларуси, брат из Ленинграда, там служил. Младшая Наташа, ей было четырнадцать лет, очень плакала и боялась. Но ее костный мозг подошел лучше всех... *(Замолкает.)* Я уже могу об этом рассказывать... Раньше не могла. Я десять лет молчала... Десять лет... *(Замолкает.)*

Когда он узнал, что костный мозг берут у его младшей сестрички, наотрез отказался: “Я лучше умру. Не трогайте ее, она маленькая”. Старшей сестре Люде было двадцать восемь лет, она сама медсестра, понимала, на что идет. “Только бы он жил”, — говорила она. Я видела операцию. Они лежали рядышком на столах... Там большое окно в операционном зале. Операция длилась два часа... Когда кончили, хуже было Люде, чем ему, у нее на груди восемнадцать проколов, тяжело выходила из-под наркоза. И сейчас болеет, на инвалидности... Была красивая, сильная девушка. Замуж не вышла... А я тогда металась из одной палаты в другую, от него — к ней. Он лежал уже не в обычной палате, а в специальной барокамере, за прозрачной пленкой, куда заходить не разрешалось. Там такие специальные приспособления есть, чтобы, не заходя под пленку, вводить уколы, ставить катетор... Но все на липучках, на замочках, и я научилась ими пользоваться... Отсовывать... И пробираться к нему... Возле его кровати стоял маленький стульчик... Ему стало так плохо, что я уже не могла отойти, ни на минуту. Звал меня постоянно: “Люся, где ты? Люсенька!” Звал и звал... Другие барокамеры, где лежали наши ребята, обслуживали солдаты, потому что штатные санитары отказались, требовали защитной одежды. Солдаты выносили судно. Протирали полы, меняли постельное белье... Полностью обслуживали. Откуда там появились солдаты? Не спрашивала... Только он... Он... А каждый день слышу: умер, умер... Умер Тишура. Умер Титенок. Умер... Как молотком по темечку...

Стул двадцать пять — тридцать раз в сутки. С кровью и слизью. Кожа начала трескаться на руках, ногах... Все тело покрылось волдырями. Когда он ворочал головой, на подушке оставались клочья волос... А все такое родное. Любимое... Я пыталась шутить:

“Даже удобно. Не надо носить расческу”. Скоро их всех постригли. Его я стригла сама. Я все хотела ему делать сама. Если бы я могла выдержать физически, то я все двадцать четыре часа не ушла бы от него. Мне каждую минутку было жалко... Минутку и то жалко... (Закрывает лицо руками и молчит.) Приехал мой брат и испугался: “Я тебя туда не пушу!” А отец говорит ему: “Такую разве непустишь? Да она в окно влезет! По пожарной лестнице!”

Отлучилась... Возвращаюсь — на столике у него апельсин... Большой, не желтый, а розовый. Улыбается: “Меня угостили. Возьми себе”. А медсестра через пленочку машет, что нельзя этот апельсин есть. Раз возле него уже какое-то время полежал, его не то, что есть, к нему прикасаться страшно. “Ну, съешь, — просит. — Ты же любишь апельсины”. Я беру апельсин в руки. А он в это время закрывает глаза и засыпает. Ему все время давали уколы, чтобы он спал. Наркотики. Медсестра смотрит на меня в ужасе... А я? Я готова сделать все, чтобы он только не думал о смерти... И о том, что болезнь его ужасная, что я его боюсь... Обрывок какого-то разговора... У меня в памяти... Кто-то увещевает: “Вы должны не забывать: перед вами уже не муж, не любимый человек, а радиоактивный объект с высокой плотностью заражения. Вы же не самоубийца. Возьмите себя в руки”. А я как умалишенная: “Я его люблю! Я его люблю!” Он спал, я шептала: “Я тебя люблю!” Шла по больничному двору: “Я тебя люблю!” Несла судно: “Я тебя люблю!” Вспоминала, как мы с ним раньше жили... В нашем общежитии... Он засыпал ночью только тогда, когда возьмет меня за руку. У него была такая привычка: во сне держать меня за руку. Всю ночь.

А в больнице я возьму его за руку и не отпускаю...

Ночь. Тишина. Мы одни. Посмотрел на меня внимательно-внимательно и вдруг говорит:

— Так хочу увидеть нашего ребенка. Какой он?

— А как мы его назовем?

— Ну, это ты уже сама придумаешь...

— Почему я сама, если нас двое?

— Тогда, если родится мальчик, пусть будет Вася, а если девочка — Наташка.

— Как это Вася? У меня уже есть один Вася. Ты! Мне другого не надо.

Я еще не знала, как я его любила! Он... Только он... Как слепая! Даже не чувствовала толчков под сердцем.. Хотя была уже на шестом месяце... Я думала, что она внутри меня моя маленькая, и она защищена. Моя маленькая...

О том, что ночью у него в барокамере, никто из врачей не знал. Не догадывался. Пускали меня медсестры. Первое время тоже уговаривали: “Ты — молодая. Что ты надумала? Это уже не человек, а реактор. Сгорите вместе”. Я, как собачка, бегала за ними... Стояла часами под дверью. Просила-умоляла. И тогда они: “Черт с тобой! Ты — ненормальная”. Утром перед восьмью часами, когда начинался врачебный обход, показывают через пленку: “Беги!”. На час сбегаю в гостиницу. А с девяти утра до девяти вечера у меня пропуск. Ноги у меня до колен посинели, распухли, настолько я уставала. Моя душа была крепче тела... Моя любовь...

Пока я с ним... Этого не делали... Но, когда уходила, его фотографировали... Одежды никакой. Голый. Одна легкая простыночка поверх. Я каждый день меняла эту простыночку, а к вечеру она вся в крови. Поднимаю его, и у меня на руках остаются кусочки кожи, прилипают. Прошу: “Миленький! Помоги мне! Обопрись на руку, на локоть, сколько можешь, чтобы я тебе постель разгладила, не покинула наверху шва, складочки”. Любой шовчик — это уже рана на нем. Я срезала себе ногти до крови, чтобы где-то его не зацепить. Никто из медсестер не решался подойти, прикоснуться, если что-нибудь нужно, зовут меня. И они... Они фотографировали... Говорили, для науки. А я бы

их всех вытолкнула оттуда! Кричала бы и била! Как они могут! Если бы я могла их туда не пустить... Если бы...

Выйду из палаты в коридор... И иду на стенку, на диван, потому что я ничего не вижу. Остановлю дежурную медсестру: “Он умирает”. — Она мне отвечает: “А что ты хочешь? Он получил тысяча шестьсот рентген, а смертельная доза четыреста.” Ей тоже жалко, но по-другому. А оно все мое... Все любимое.

Когда они все умерли, в больнице сделали ремонт... Стены скоблили, взорвали паркет и вынесли... Столярку.

Дальше – последнее... Помню обрывками... Все уплывает...

Ночь сижу возле него на стульчике... В восемь утра: “Васенька, я пойду. Я немножко отдохну”. Откроет и закроет глаза — отпустил. Только дойду до гостиницы, до своей комнаты, лягу на пол, на кровати лежать не могла, так все болело, как уже стучит санитарка: “Иди! Беги к нему! Зовет беспощадно!” А в то утро Таня Кибенок так меня просила, звала: “Поедем со мной на кладбище. Я без тебя не смогу”. В то утро хоронили Витю Кибенка и Володю Правика. С Витей они были друзья, мы дружили семьями. За день до взрыва вместе сфотографировались у нас в общежитии. Такие они наши мужья там красивые! Веселые! Последний день нашей той жизни... Дочернобыльской... Такие мы счастливые!

Вернулась с кладбища, быстренько звоню на пост медсестре: “Как он там?” — “Пятнадцать минут назад умер”. Как? Я всю ночь была у него. Только на три часа отлучилась! Стала у окна и кричала: “Почему? За что?” Смотрела на небо и кричала... На всю гостиницу... Ко мне боялись подойти... Опомнилась: напоследок его увижу! Увижу! Скатилась с лестницы... Он лежал еще в барокамере, не увезли. Последние слова его: “Люся! Люсенька!” — “Только отошла. Сейчас прибежит”, — успокоила медсестра. Вздыхнул и затих.

Уже я от него не оторвалась... Шла с ним до гроба... Хотя запомнила не сам гроб, а большой полиэтиленовый пакет... Этот пакет... В морге спросили: “Хотите, мы покажем вам, во что его оденем”. Хочу! Одели в парадную форму, фуражку наверх на грудь положили. Обувь не подобрали, потому что ноги распухли. Бомбы вместо ног. Парадную форму тоже разрезали, натянуть не могли, не было уже целого тела. Все — кровавая рана. В больнице последние два дня... Подниму его руку, а кость шатается, болтается кость, телесная ткань от нее отошла. Кусочки легкого, кусочки печени шли через рот... Захлебывался своими внутренностями... Обкручу руку бинтом и засуну ему в рот, все это из него выгребая... Это нельзя рассказать! Это нельзя написать! И даже пережить... Это все такое родное... Такое... Ни один размер обуви невозможно было натянуть... Положили в гроб босого...

На моих глазах... В парадной форме его засунули в целлофановый мешок и завязали. И этот мешок уже положили в деревянный гроб... А гроб еще одним мешком обвязали... Целлофан прозрачный, но толстый, как клеенка. И уже все это поместили в цинковый гроб, еле втиснули. Одна фуражка наверху осталась.

Съехались все... Его родители, мои родители... Купили в Москве черные платки... Нас принимала чрезвычайная комиссия. И всем говорила одно и то же, что отдать вам тела ваших мужей, ваших сыновей мы не можем, они очень радиоактивные и будут похоронены на московском кладбище особым способом. В запаянных цинковых гробах, под бетонными плитками. И вы должны этот документ подписать... Нужно ваше согласие... Если кто-то возмутился, хотел увезти гроб на родину, его убеждали, что они, мол, герои и теперь семье уже не принадлежат. Они уже государственные люди... Принадлежат государству.

Сели в катафалк... Родственники и какие-то военные люди. Полковник с рацией... По рации передают: “Ждите наших приказаний! Ждите!” Два или три часа колесили по Москве, по кольцевой дороге. Опять в Москву возвращаемся... По рации: “На кладбище въезд не разрешаем. Кладбище атакуют иностранные корреспонденты. Еще подождите”. Родители молчат... Платок у мамы черный... Я чувствую, что теряю сознание. Со мной истерика: “Почему моего мужа надо прятать? Он — кто? Убийца? Преступник? Уголовник? Кого мы хороним?” Мама: “Тихо, тихо, дочечка”. Гладит меня по голове, берет за руку. Полковник передает: “Разрешите следовать на кладбище. С женой истерика”. На кладбище нас окружили солдаты. Шли под конвоем. И гроб несли под конвоем. Никого не пустили попрощаться... Одни родственники... Засыпали моментально. “Быстро! Быстро!” — командовал офицер. Даже не дали гроб обнять.

И — сразу в автобусы...

Мгновенно купили и принесли обратные билеты... На следующий день... Все время с нами был какой-то человек в штатском, с военной выправкой, не дал даже выйти из номера и купить еду в дорогу. Не дай Бог, чтобы мы с кем-нибудь заговорили, особенно я. Как будто я тогда могла говорить, я уже даже плакать не могла. Дежурная, когда мы уходили, пересчитала все полотенца, все простыни... Тут же их складывала в полиэтиленовый мешок. Наверное, сожгли... За гостиницу мы сами заплатили. За четырнадцать суток...

Клиника лучевой болезни — четырнадцать суток... За четырнадцать суток человек умирает...

Дома я уснула. Зашла в дом и повалилась на кровать. Я спала трое суток... Меня не могли поднять... Приехала “Скорая помощь”. “Нет, — сказал врач, — она не умерла. Она проснется. Это такой страшный сон”.

Мне было двадцать три года...

Я помню сон... Приходит ко мне моя умершая бабушка, в той одежде, в которой мы ее похоронили. И наряжает елку. “Бабушка, почему у нас елка? Ведь сейчас лето?” — “Так надо. Скоро твой Васенька ко мне придет”. А он вырос среди леса. Я помню... Второй сон... Вася приходит в белом и зовет Наташу. Нашу девочку, которую я еще не родила. Уже она большая, и я удивляюсь: когда она так подросла? Он подбрасывает ее под потолок, и они смеются... А я смотрю на них и думаю, что счастье — это так просто. Так просто! А потом мне приснилось..... Мы бродим с ним по воде. Долго-долго идем... Просил, наверное, чтобы я не плакала. Давал знак оттуда. Сверху. *(Затихает надолго.)*

Через два месяца я приехала в Москву. С вокзала — на кладбище. К нему! И там на кладбище у меня начались схватки. Только я с ним заговорила... Вызвали “Скорую” Я дала адрес. Рожала я там же... У той же Ангелины Васильевны Гуськовой... Она меня еще тогда предупредила: “Рожать приезжай к нам”. А куда я такая еще поеду? Родила я на две недели раньше срока...

Мне показали... Девочка... “Наташенька, — позвала я. — Папа назвал тебя Наташенькой”. На вид здоровый ребенок. Ручки, ножки... А у нее был цирроз печени... В печени — двадцать восемь рентген... Врожденный порок сердца... Через четыре часа сказали, что девочка умерла. И опять, что мы ее вам не отдадим! Как это не отдадите?! Это я ее вам не отдам! Вы хотите ее забрать для науки, а я ненавижу вашу науку! Ненавижу! Она забрала у меня сначала его, а теперь еще ждет... Не отдам! Я похороню ее сама. Рядом с ним... *(Переходит на шёпот)*

Все не те слова вам говорю... Не такие... Нельзя мне кричать после инсульта. И плакать нельзя. Но я хочу... Хочу, чтобы знали... Еще никому не признавалась... Когда я не отдала им мою маленькую девочку. Нашу девочку... Тогда они принесли мне деревянную коробочку: “Она — там”. Я посмотрела: ее запеленали. Она лежала в

пеленочках. И тогда я заплакала: “Положите ее у его ног. Скажите, что это наша Наташенька”.

Там, на могилке не написано: Наташа Игнатенко... Там только его имя... Она же была еще без имени, без ничего... Только душа... Душу я там и похоронила...

Я прихожу к ним всегда с двумя букетами: один — ему, второй — на уголок кладу ей. Ползаю у могилы на коленках... Всегда на коленках... *(Бессвязно)*. Я ее убила... Я... Она... Спасла... Моя девочка меня спасла, она приняла весь радиоудар на себя, стала как бы приемником этого удара. Такая маленькая. Крохотулечка. *(Задыхаясь)* Она меня уберегла... Но я любила их двоих... Разве... Разве можно убить любовью? Такой любовью!! Почему это рядом? Любовь и смерть. Всегда они вместе. Кто мне объяснит? Кто подскажет? Ползаю у могилы на коленках... *(Надолго затихает)*.

...В Киеве мне дали квартиру. В большом доме, где теперь живут все, кто уехал с атомной станции. Все знакомые. Квартира большая, двухкомнатная, о какой мы с Васей мечтали. А я сходила в ней с ума! В каждом углу, куда ни гляну — везде он... Его глаза... Начала ремонт, лишь бы не сидеть, лишь бы забыться. И так два года... Снится мне сон... Мы идем с ним, а он идет босиком. “Почему ты всегда необутый?” — “Да потому, что у меня ничего нет”. Пошла в церковь... Батюшка меня научил: “Надо купить тапочки большого размера и положить кому-нибудь в гроб. Написать записку — что это ему”. Я так и поступила... Приехала в Москву и сразу — в церковь. В Москве я к нему ближе... Он там лежит, на Митинском кладбище... Рассказываю служителю, что так и так, мне надо тапочки передать. Спрашивает: “А ведомо тебе, как это делать надо?” Еще раз объяснил... Как раз внесли отпевать дедушку старого. Я подхожу к гробу, поднимаю накидочку и кладу туда тапочки. “А записку ты написала?” — “Да, написала, но не указала, на каком кладбище он лежит”. — “Там они все в одном мире. Найдут его”.

У меня никакого желания к жизни не было. Ночью стою у окна, смотрю на небо: “Васенька, что мне делать? Я не хочу без тебя жить”. Днем иду мимо детского садика, стану и стою... Глядела бы и глядела на детей... Я сходила с ума! И стала ночью просить: “Васенька, я рожу ребенка. Я уже боюсь быть одна. Не выдержу дальше. Васенька!!” А в другой раз так попрошу: “Васенька, мне не надо мужчины. Лучше тебя для меня нет. Я хочу ребеночка”.

Мне было двадцать пять лет...

Я нашла мужчину... Всё ему рассказала... Всю правду: у меня одна любовь, на всю жизнь. Я все ему открыла... Мы встречались, но я никогда его в дом к себе не звала, в дом не могла. Там — Вася...

Работала я кондитером. Леплю торт, а слезы катятся. Я не плачу, а слезы катятся. Единственное, о чем девочек просила: “Не жалейте меня. Будете жалеть, я уйду”. Я хотела быть, как все. Не надо меня жалеть... Я когда-то была счастливая...

Принесли мне Васин орден... Красного цвета... Я смотреть на него долго не могла. Слезы катятся...

...Родила мальчика. Андрей... Андрейка... Подруги останавливали: “Тебе нельзя рожать”, и врачи пугали: “Ваш организм не выдержит”. Потом... Потом они сказали, что он будет без ручки... Без правой ручки... Аппарат показывал... “Ну, и что? — думала я. — Научу писать его левой ручкой”. А родился нормальный... красивый мальчик... Учится уже в школе, учится на одни пятерки. Теперь у меня есть кто-то, кем я дышу и живу. Свет в моей жизни. Он прекрасно все понимает: “Мамочка, если я уеду к бабушке, на два дня, ты дышать сможешь?” Не смогу! Боюсь на день с ним разлучиться. Мы шли по улице... И я, чувствую, падаю... Тогда меня разбил первый инсульт... Там, на улице... “Мамочка, тебе водички дать”. — “Нет, ты стой возле меня. Никуда не уходи”. И хватанула его за руку. Дальше не помню... Открыла глаза в больнице... Но так его

хватанула, что врачи еле разжали мои пальцы. У него рука долго была синяя. Теперь выходим из дома: “Мамочка, только не хватай меня за руку. Я никуда от тебя не уйду”. Он тоже болеет: две недели в школе, две дома с врачом. Вот так и живем. Боимся друг за друга. А в каждом углу Вася... Его фотографии... Ночью с ним говорю и говорю... Бывает, меня во сне попросит: “Покажи нашего ребеночка”. Мы с Андрейкой приходим ... А он приводит за руку дочку. Всегда с дочкой. Играет только с ней...

Так я и живу... Живу одновременно в реальном и нереальном мире. Не знаю, где мне лучше... (*Встает. Подходит к окну*). Нас тут много. Целая улица, ее так и называют — чернобыльская. Всю свою жизнь эти люди на станции проработали. Многие до сих пор ездят туда на вахту, теперь станцию обслуживают вахтовым методом. Никто там уже не живет и жить никогда не будет. У них у всех тяжелые заболевания, инвалидности, но работу свою не бросают, боятся даже подумать об этом. У них нет жизни без реактора, реактор — их жизнь. Где и кому они сегодня нужны в другом месте? Часто умирают. Умирают мгновенно. Они умирают на ходу — шел и упал, уснул и не проснулся. Нес медсестре цветы и остановилось сердце. Стоял на автобусной остановке... Они умирают, но их никто по-настоящему не расспросил. О том, что мы пережили... Что видели... О смерти люди не хотят слушать. О страшном...

Но я вам рассказала о любви... Как я любила...”

*Людмила Игнатенко,
жена погибшего пожарника
Василия Игнатенко*

Интервью автора с самой собой о пропущенной истории и о том, почему Чернобыль ставит под сомнение нашу картину мира

— Я – свидетель Чернобыля... Самого главного события двадцатого века, несмотря на страшные войны и революции, которыми будет памятен этот век. Уже прошло двадцать лет после катастрофы, но до сих пор для меня вопрос – о чем я свидетельствую: о прошлом или о будущем? Так легко соскользнуть в банальность... В банальность ужаса... Но я смотрю на Чернобыль, как на начало новой истории, он не только знание, а и предзнание, потому что человек вступил в спор с прежними представлениями о себе и о мире. Когда мы говорим о прошлом или о будущем, то вкладываем в эти слова свои представления о времени, но Чернобыль – это прежде всего катастрофа времени. Радионуклиды, разбросанные по нашей земле, будут жить пятьдесят, сто, двести тысяч лет... И больше... С точки зрения человеческой жизни они вечные. Что же мы способны понять? В наших ли силах добыть и распознать смысл в этом еще незнакомом нам ужасе?

О чем эта книга? Почему я ее написала?

— Эта книга не о Чернобыле, а о мире Чернобыля. О самом событии написаны уже тысячи страниц и сняты сотни тысяч метров киноплёнки. Я же занимаюсь тем, что назвала бы пропущенной историей, бесследными следами нашего пребывания на земле и во времени. Пишу и собираю повседневность чувств, мыслей, слов. Пытаюсь застичь быт души. Жизнь обычного дня обычных людей. Здесь же все необычно: и обстоятельства, и люди, какими их заставили, подняли быт обстоятельства, когда они обживали новое пространство. Чернобыль для них – не метафора и символ, он – их дом. Сколько раз искусство репетировало апокалипсис, пробовало разные технологические версии светопреставления, но теперь мы точно знаем, что жизнь куда! фантастичнее. Через год после катастрофы меня кто-то спросил: “Все пишут. А вы живете здесь и не пишете. Почему?” А я не знала, как об этом писать, с каким инструментом и откуда подступиться. Если раньше, когда писала свои книги, я вглядывалась в страдания других, то сейчас я и моя жизнь стали частью события. Слепились воедино, не отойти на расстояние. Имя моей маленькой, затерянной в Европе страны, о которой мир раньше почти ничего не слышал, зазвучало на всех языках, она превратилась в дьявольскую чернобыльскую лабораторию, а мы, беларусы, стали чернобыльским народом. Где бы я теперь ни появлялась, все с любопытством оглядывались: “А, вы оттуда? Что там?” Конечно, можно было быстро написать книгу, какие потом появлялись одна за другой – что случилось в ту ночь на станции, кто виноват, как скрывали аварию от мира и от собственного народа, сколько тонн песка и бетона понадобилось, чтобы соорудить саркофаг над дышащим смертью реактором, — но что-то меня останавливало. Держало за руку. Что? Ощущение тайны. Это, скоростно поселившееся в нас ощущение, витало тогда над всем: нашими разговорами, действиями, страхами и следовало вслед за событием. Событием – чудовищем. У всех появилось высказанное или не высказанное чувство, что мы прикоснулись к неведомому. Чернобыль – это тайна, которую нам еще предстоит разгадать. Непрочтенный знак. Может быть, загадка на двадцать первый век. Вызов ему. Стало ясно: кроме коммунистических, национальных и новых религиозных вызовов, среди которых живем и выживаем, впереди нас ждут другие вызовы, более свирепые и тотальные, но пока еще скрытые от глаза. Но что-то уже после Чернобыля приоткрылось...

Ночь 26 апреля 1986 года... За одну ночь мы переместились в другое место истории. Совершили прыжок в новую реальность, и она, эта реальность, оказалась выше не только

нашего знания, но и нашего воображения. Порвалась связь времен... Прошлое вдруг оказалось беспомощным, в нем не на что было опереться, в вездесущем (как мы верили) архиве человечества не нашлось ключей, чтобы открыть эту дверь. Я не раз слышала в те дни: “таких слов не подберу, чтобы передать то, что я видела и пережила”, “никто раньше мне ничего подобного не рассказывал”, “ни в одной книжке об этом не читал и в кино не видел”. Между временем, когда случилась катастрофа и тем временем, когда о ней начали рассказывать, была пауза. Момент немoty... Он запомнился всем... Где-то наверху принимали какие-то решения, сочиняли секретные инструкции, поднимали в небо вертолеты, двигали по дорогам огромное количество техники, внизу – ждали сообщений и боялись, жили со слухов, но все молчали о главном – что же все-таки произошло? Не находили слов для новых чувств и не находили чувств для новых слов, не умели еще выразиться, но постепенно погружались в атмосферу нового думанья, так можно сегодня определить то наше состояние. Просто фактов уже не хватало, тянуло заглянуть за факт, войти в смысл происходящего. Налицо имелся эффект потрясения. И я искала этого потрясенного человека... Он говорил новые тексты... Голоса иногда пробивались как будто сквозь сон или бред, из параллельного мира. Рядом с Чернобылем все начинали философствовать. Становились философами. Храмы опять заполнились людьми... Верующими и недавними атеистами... Искали ответов, которые не могли дать физика и математика. Трехмерный мир раздвинулся, и я не встречала смельчаков, которые бы снова могли поклясться на Библии материализма. Ярко вспыхнула бесконечность. Замолчали философы и писатели, выбитые из знакомой колеи культуры и традиции. Интереснее всего в те первые дни было разговаривать не с учеными, чиновниками и военными с большими погонами, а со старыми крестьянами. Живут они без Толстого и Достоевского, без Интернета, но их сознание каким-то образом вместило в себя новую картину мира. Не разрушилось. Наверное, мы все скорее бы справились с военной атомной ситуацией, как в Хиросиме, собственно, к ней и готовились. Но катастрофа случилась на невоенном атомном объекте, а мы были люди своего времени и верили, как нас учили, что советские атомные станции самые надежные в мире, их можно строить даже на Красной площади. Военный атом – это Хиросима и Нагасаки, а мирный атом – это электрическая лампочка в каждом доме. Никто еще не догадывался, что военный и мирный атом близнецы. Сообщники. Мы поумнели, весь мир поумнел, но поумнел он после Чернобыля. Сегодня беларусы, как живые “черные ящики” записывают информацию для будущего. Для всех.

Я долго писала эту книгу... Почти двадцать лет... Встречалась и разговаривала с бывшими работниками станции, учеными, медиками, солдатами, переселенцами, самоселами... С теми, у кого Чернобыль – основное содержание их мира, все внутри и вокруг отравлено им, а не только земля и вода. Они рассказывали, искали ответы... Мы думали вместе... Часто они торопились, боялись не успеть, я еще не знала, что цена их свидетельствам – жизнь. “Запишите... - Повторяли. – Мы не все поняли, что видели, но пусть останется. Кто-то прочтет и поймет. Потом... После нас...” Не зря они торопились, многих уже нет в живых. Но они успели послать сигнал...

— Все, что нам известно об ужасах и страхах, больше всего связано с войной. Сталинский ГУЛАГ и Освенцим недавние приобретения зла. История всегда была историей войн и полководцев, и война являлась, скажем так, мерой ужаса. Поэтому люди смешивают понятия войны и катастрофы... В Чернобыле налицо как будто все признаки войны: много солдат, эвакуация, оставленное жилье. Нарушен ход жизни. Чернобыльская информация в газетах сплошь из военных слов: атом, взрыв, герои... И это затрудняет понимание того, что мы находимся в новой истории... Началась история катастроф... Но человек не хочет об этом думать, потому что не задумывался над этим никогда, он

прячется за то, что ему знакомо. За прошлое. Даже памятники героям Чернобыля похожи на военные...

— Моя первая поездка в зону...

Цвели сады, радостно блестела на солнце молодая трава. Пели птицы. Такой знакомый... знакомый... мир. Первая мысль: все на месте и все, как прежде. Та же земля, та же вода, те же деревья. И форма, и цвет, и запах у них вечные, никто не в силах тут что-либо изменить. Но уже в первый день мне объяснили: цветы рвать не надо, на земле лучше не сидеть, воду из родника не пить. К вечеру наблюдала, как пастухи хотели загнать в реку усталое стадо, но коровы подходили к воде и тут же заворачивали назад. Как-то они угадывали об опасности. А кошки, рассказывали мне, перестали есть дохлых мышей, а те валялись везде: в поле, во дворах. Смерть таилась повсюду, но это была какая-то другая смерть. Под новыми масками. В незнакомом облики. Человека застигли врасплох, он был не готов. Не готов, как биовид, не срабатывал весь его природный инструмент, который настроен, чтобы увидеть, послушать, потрогать. Ничего из этого было невозможно, глаза, уши, пальцы уже не годились, не могли послужить, потому как радиация не видна и у нее нет запаха и звука. Она бестелесна. Всю жизнь мы воевали или готовились к войне, столько о ней знаем – и вдруг! Образ врага изменился. У нас появился другой враг... Враги... Убивала скошенная трава. Словенная рыба, пойманная дичь. Яблоко... Мир вокруг нас, раньше податливый и дружелюбный, теперь внушал страх. Старые люди, уезжая в эвакуацию и еще не представляя, что навсегда – смотрели на небо: “Солнце светит... Нет ни дыма, ни газа. Не стреляют. Ну, разве это война? А надо становиться беженцами...” Знакомый... незнакомый... мир.

Как понять, где мы находимся? Что с нами происходит? Здесь... Сейчас... Спросить не у кого...

В зоне и вокруг зоны... Поражало бесчисленное количество военной техники. Маршировали солдаты с новенькими автоматами. С полной боевой выкладкой. Мне больше всего почему-то запомнились не вертолеты и бронетранспортеры, а эти автоматы... Оружие... Человек с ружьем в зоне... В кого он мог там стрелять и от кого защитить? От физики... От невидимых частиц... Расстрелять зараженную землю или дерево? На самой станции работало КГБ. Искали шпионов и диверсантов, ходили слухи, что авария – запланированная акция западных спецслужб, чтобы подорвать лагерь социализма. Надо быть бдительными.

Эта картина войны... Эта культура войны рухнула у меня на глазах. Мы вошли в непрозрачный мир, где зло не дает никаких объяснений, не раскрывает себя и не знает законов.

Я видела, как дочернобыльский человек превращался в чернобыльского человека.

— Не один раз... И тут есть о чем подумать... Я слышала мнение, что поведение пожарников, тушивших в первую ночь пожар на атомной станции, и ликвидаторов напоминает самоубийство. Коллективное самоубийство. Ликвидаторы часто работали без защитной спецодежды, беспрекословно отправлялись туда, где “умирали” роботы, от них скрывали правду о полученных высоких дозах, и они с этим мирились, а потом еще радовались полученным правительственным грамотами и медалям, которые им вручали перед смертью... А многим так и не успевали вручить... Так кто они все-таки герои или самоубийцы? Жертвы советских идей и воспитания? Почему-то со временем забывается, что они спасли свою страну. Спасли Европу. Только на секунду представить себе картину, если бы взорвались остальные три реактора...

— Они — герои. Герои новой истории. Их сравнивают с героями Сталинградской битвы или сражения под Ватерлоо, но они спасали нечто большее, чем родное отечество, они спасали саму жизнь. Время жизни. Живое время. Чернобылем человек замахнулся на

все, на весь божественный мир, где, кроме человека, живут тысячи других существ. Животных и растений. Когда я к ним приходила... И слушала их рассказы о том, как они (первые и впервые!) занимались новым человеческим нечеловеческим делом – хоронили землю в земле, то есть закапывали зараженные пласты в специальных бетонных бункерах вместе со всем их населением – жуками, пауками, личинками. Разнообразными насекомыми, чьих даже имен не знали. Не помнили. У них было совершенно иное понимание смерти, оно распространялось на все – от птицы до бабочки. Их мир был уже другим миром – с новым правом жизни, с новой ответственностью и новым чувством вины. В их рассказах постоянно присутствовала тема времени, они говорили “впервые”, “никогда больше”, “навсегда”. Вспоминали, как ездили по опустевшим деревням и встречали иногда там одиноких стариков, которые не захотели уехать вместе со всеми или потом вернулись из чужих краев: сидели те вечером при лучине, косили косой, жали серпом, лес валили топором, обращались в молитвах к зверям и духам. К Богу. Все, как и двести лет назад, а наверху где-то летали космические корабли. Время укусило свой хвост, начало и конец соединились. Чернобыль для тех, кто там был, не кончился в Чернобыле. Они вернулись не с войны... А как будто с другой планеты... Я поняла, что свои страдания они совершенно сознательно обращали в новое знание, дарили нам: смотрите, вам надо будет что-то с этим знанием делать, как-то его употребить.

У героев Чернобыля есть один памятник... Это – рукотворный саркофаг, в который они уложили ядерный огонь. Пирамида двадцатого века.

— На чернобыльской земле жалко человека. Но еще больше жалко зверя... Я не оговорила... Сейчас поясню.. Что оставалось в мертвой зоне после того, как уходили люди? Старые погосты и биомогильники, так называются кладбища для животных. Человек спасал только самого себя, всех остальных он предал, после его отъезда в деревни входили отряды солдат или охотников и расстреливали животных. А собаки бежали на человеческий голос... и кошки... И лошади ничего не могли понять... А они-то ни в чем неповинны – ни звери, ни птицы, и умирали они безмолвно, что еще страшнее. Когда-то индейцы в Мексике и даже в дохристианской Руси просили прощения у животных и птиц, которых должны были убить себе для пропитания. А в древнем Египте животное имело право на жалобу против человека. В одном из папирусов, сохранившемся в пирамиде, написано: “Не найдено ни одной жалобы быка против Н.” Перед уходом в царство мертвых египтянин читал молитву, в которой были и такие слова: “Я не обижал никакую тварь. Я не отнимал у животного ни зерна, ни травы.”

Что дал чернобыльский опыт? Повернул ли он нас к этому молчаливому и таинственному миру “других”?

— Один раз я видела, как вошли солдаты в деревню, из которой ушли люди, и начали стрелять...

Беспомощные крики животных... Они кричали на разных своих языках... Об этом уже написано в Новом завете. Иисус Христос приходит в Иерусалимский храм и видит там животных, приготовленных к ритуальной жертве: с перерезанными горлами, истекающих кровью. Иисус закричал: “ вы превратили дом молитвы в вертеп разбойников”. Он мог бы добавить – в бойню... Для меня сотни оставленных в зоне биомогильников те же древние капища. Только кому из богов? Богу науки и знания или Богу огня? В этом смысле Чернобыль дальше Освенцима и Колымы. Дальше Холокоста. Он предлагает конечность. Упирается в ничто.

Другими глазами оглядываю мир вокруг... Ползет по земле маленький муравей, и он теперь мне ближе. Птица в небе летит, и она ближе. Между мной и ими расстояние сокращается. Нет прежней пропасти. Все – жизнь.

Запомнилось и такое... Рассказывал старый пасечник (а потом я слышала о том же и от других): “Вышел утром в сад, чего-то не хватает, какого-то знакомого звука. Ни одной пчелы... Не слышно ни одной пчелы! Ни одной! Что? Что такое? И на второй день они не вылетели. И на третий... Потом нам сообщили, что на атомной – авария, а она рядом. Но долго мы ничего не знали. Пчелы знали, а мы нет. Теперь, если что, буду на них смотреть. На их жизнь”. Еще пример... Заговорила с рыбаками у реки, они вспомнили: “Мы ждали, когда нам по телевизору объяснят... Расскажут, как спастись. А червяки. Простые червяки. Они ушли глубоко в землю, может, на полметра или на метр. А нам же непонятно. Мы копали-копали. Ни одного червяка не нашли для рыбалки...”

Кто же из нас पहले, прочнее и вечнее на земле – мы или они? Нам бы у них учиться, как выжить... И как жить...

— Сошлись две катастрофы: социальная – на наших глазах развалился Советский Союз, ушел под воду гигантский социалистический материк, и космическая – Чернобыль. Два глобальных взрыва. И первый – ближе, понятнее. Люди озабочены днем и бытом: на что купить, куда поехать? Во что верить? Под какие знамена снова встать или надо учиться жить для себя, своей жизнью? Последнее нам незнакомо, не умеем, потому что ещё никогда так не жили. Это переживают все и каждый. А о Чернобыле хотели бы забыть, потому что сознание перед ним капитулировало. Катастрофа сознания. Мир наших представлений и ценностей взорван. Если бы мы победили Чернобыль или поняли до конца, то думали и писали бы о нем больше. А так живем в одном мире, а сознание существует в другом. Реальность ускользает, не вмещается в человека.

— Да... За реальностью не удастся угнаться...

— Один пример... До сих пор пользуемся старыми словами: “далеко-близко”, “своичужие”... Но что значит далеко или близко после Чернобыля, когда уже на четвертые сутки чернобыльские облака плыли над Африкой и Китаем? Земля оказалась такая маленькая, это не та земля, которая была во время Колумба. Бесконечная. Теперь у нас появилось другое ощущение пространство. Живем в обанкротившемся пространстве. Ещё... В последние сто лет человек стал жить больше, но все равно его сроки ничтожны и крошечны рядом с жизнью радионуклидов, поселившихся на нашей земле. Многие из них будут жить тысячелетиями. Нам и не заглянуть в такую даль! Рядом с ними переживаешь другое чувство времени. И это всё – Чернобыль. Его следы. То же творится с нашими отношениями с прошлым, фантастикой, знаниями... Прошлое оказалось беспомощным, из знаний уцелело только знание о нашем незнании. Происходит перестройка чувств... Теперь часто вместо обычных утешений врач говорит жене об умирающем муже: “Подходить близко нельзя! Целовать нельзя! Гладить нельзя! Это уже не любимый человек, а объект, подлежащий дезактивации.” Тут и Шекспир отступает. И великий Данте. Вопрос: подойти – не подойти? Целовать – не целовать? Одна из моих героинь (как раз беременная в то время) подошла и целовала, и не оставила мужа до самой его смерти. За это она поплатилась своим здоровьем и жизнью их маленького ребенка. Ну, а как было выбрать между любовью и смертью? Между прошлым и незнакомым настоящим? А кто возьмет на себя смелость и осудит тех жен и матерей, которые не сидели возле своих умирающих мужей и сыновей? Рядом с радиоактивными объектами... В их мире и любовь изменилась. И смерть.

Изменилось все, кроме нас.

— Чтобы событие стало историей, нужно хотя бы пятьдесят лет. А тут приходится идти по горячим следам...

— Зона... Отдельный мир... Другой среди всей остальной земли... Сначала придумали ее фантасты, но литература отступила перед реальностью. Мы уже не можем, как герои Чехова верить: через сто лет человек будет прекрасен! Жизнь станет

прекрасной!! Это будущее мы потеряли. Через сто лет был сталинский ГУЛАГ, Освенцим... Чернобыль.... И сентябрь в Нью-Йорке... Непонятно, как это расположилось и как влезло в жизнь одного поколения, в его размеры. Например, в жизнь моего отца, которому сейчас восемьдесят три года? Человек выжил!?

Судьба – жизнь одного человека, история – жизнь нас всех. Я хочу рассказать историю таким образом, чтобы не потерять из виду судьбу... Одного человека...

— Больше всего в Чернобыле запоминается жизнь “после всего”: вещи без человека, пейзажи без человека. Дорога в никуда, провода в никуда. Нет, да и подумаешь, что это – прошлое или будущее?

— Мне иногда казалось, что я записываю будущее...

Глава первая.

Земля мертвых

Монолог о том, зачем люди вспоминают

“У меня тоже есть вопрос... Сам я ответить на него не могу...”

Но вы взялись об этом писать... Об этом? А я не хотел бы, чтобы обо мне это знали. Что я там испытал... С одной стороны, есть желание открыться, выговориться, а с другой — чувствую, как я обнажаюсь, а мне бы этого не хотелось...

Помните, у Толстого? Пьер Безухов так потрясен после войны, что ему кажется — он и весь мир изменились навсегда. Но проходит какое-то время, и он замечает за собой, что снова так же ругает кучера, так же брюзжит. Зачем тогда люди вспоминают? Чтобы восстановить истину? Справедливость? Освободиться и забыть? Понимают, что они — участники грандиозного события? Или ищут в прошлом защиты? И это притом, что воспоминания — хрупкая вещь, эфемерная, это не точные знания, а догадка человека о самом себе. Это еще не знания, это только чувства.

Моё чувство... Я мучался, рылся в памяти и вспомнил...

Самое страшное со мной было в детстве... Это — война...

Помню, как мы, пацаны, играли в “папы и мамы”: раздевали малышей и клали их друг на дружку... Это были первые дети, родившиеся после войны. Вся деревня знала, какие слова они уже говорят, когда начали ходить, потому что за войну детей забыли. Мы ждали появления жизни. “В папы и мамы” — так называлась наша игра. Мы хотели увидеть появление жизни... А нам самим было по восемь—десять лет...

Я видел, как женщина сама себя убивала. В кустах у реки. Брала кирпич и била себя по голове. Она была беременная от полицая, которого вся деревня ненавидела. Еще, будучи ребенком, я видел, как рождаются котятка. Помогал матери тянуть теленка из коровы, водил на случку к кабану нашу свинью... Помню... Помню, как привезли убитого отца, на нем свитер, мама сама его вязала, отец, видимо, был расстрелян из пулемета или автомата и что-то кровавое прямо кусками вылезало из этого свитера. Он лежал на нашей единственной кровати, больше положить было некуда. Потом его похоронили перед домом. И земля не пух, а тяжелая глина. Из-под грядок для бураков. Кругом шли бои... На улице лежали убитые кони и люди...

Для меня это настолько запретные воспоминания, что я не говорил о них вслух...

Тогда я воспринимал смерть так же, как и рождение. У меня примерно было одинаковое чувство, когда появился теленок из коровы... Появлялись котятка. И когда женщина в кустах убивала себя... Почему-то это казалось мне одним и тем же, одинаковым. Рождение и смерть...

Я помню с детства, как пахнет в доме, когда режут кабана... Вы только тронули меня, и я уже падаю, падаю туда. В кошмар... В ужас... Лечу...

Ещё помню как нас, маленьких, женщины брали с собой в баню. И у всех женщин, и у моей матери выпадали матки (мы это уже понимали), они подвязывали их тряпками. Я это видел... Матки выходили от тяжелой работы. Мужчин не было, их на фронте, в партизанах перебили, коней не было тоже, женщины тягали плуги на себе. Перепахивали свои огороды, колхозные поля. Когда я вырос, и у меня случалась близость с женщиной, я это вспоминал... То, что видел в бане...

Хотел забыть. Все забыть... Забывал... Я думал, что самое страшное со мной уже произошло... Это - война. И я защищен, я теперь защищен. Своим знанием, тем, что там... тогда... пережил... Но...

Я поехал в чернобыльскую зону... Много раз уже был там... И там понял, что я беспомощен. Я не понимаю... И я разрушаюсь от этой своей беспомощности. От того, что я не узнаю мир, в котором все переменялось. Даже зло другое. Прошлого меня уже не защищает... Не успокаивает... В нем нет ответов... Всегда они раньше были, а сегодня нет. Меня разрушает будущее, а не прошлое. *(Задумывается)*

Зачем люди вспоминают? Мой вопрос... Но я поговорил с вами, что-то проговорил словами... И что-то понял... Я теперь не так одинок. А как это у других?"

Петр С., психолог

*Монолог о том, что можно поговорить
и с живыми, и с мертвыми*

“Ночью волк во двор вошел... В окно глянула — стоит и светит глазами. Фарами...

Я ко всему привыкла. Семь лет живу одна, семь лет, как люди уехали... Ночью, бывает, сижу, пока не высветлит, и думаю, думаю. И сегодня всю ночь на кровати крючком сидела, а потом вышла поглядеть, какое солнышко. Что я вам скажу? Самая справедливая вещь на свете смерть. Никто еще не откупился. Земля всех принимает: и добрых, и злых, и грешников. А больше справедливости на этом свете нет. Я тяжело и честно всю жизнь трудилась. По совести жила. А мне справедливость не выпадала. Бог где-то делил, пока до меня очередь дошла — у него уже ничего не осталось, чтобы мне дать. Молодой может умереть, а старый должен... Никто не бессмертен — ни царь, ни купец... Сначала я людей ждала, думала — все вернуться. Никто на век не уезжал, уезжали на время. А теперь смерти жду... Помереть не трудно, а страшно. Церкви нету, и бабушка не приезжает. Некому мне отнести свои грехи...

...Первый раз сказали, что у нас радиация, так мы думали: это болезнь какая-то, кто заболит — сразу умирает. Нет, говорят, что-то такое, что на земле лежит и в землю лезет, а увидеть нельзя. Зверь, может, видит и слышит, а человек нет. А это неправда! Я видела... Этот цезий у меня на огороде валялся, пока дождь его не намочил. Цвет у него такой чернильный... Лежит и переливается кусочками... Прибежала с колхозного поля и пошла на свой огород... И такой кусочек синий... А через двести метров еще один... Величиной с платочек, что у меня на голове. Крикнула я соседке, другим бабам, мы все оббегали. Все огороды, поле вокруг... Гектара два... Может, четыре больших кусочка нашли... А один был красного цвета... Назавтра посыпал дождь. С самого утра. И к обеду их не стало. Приехала милиция, а уже не было чего показать. Только рассказывали... Кусочки вот такие... *(Показывает руками.)* Как мой платочек. Синие и красные.

Мы не сильно боялись этой радиации... Когда б мы ее не видели, не знали, может, и боялись, а когда посмотрели, то уже не так страшно. Милиция с солдатами трафаретки поставила. У кого возле дома, где на улице — написали: семьдесят кюри, шестьдесят кюри... Век жили на своей картошке, на бульбочке, а тут сказали — нельзя! И лучок не разрешают, и морковку. Кому беда, кому смех... Работать на огороде советовали в марлевых повязках и резиновых перчатках. А золу из печи закапывать. Хоронить. О-о-о... А тогда еще один важный ученый приехал и выступил в клубе, что дрова надо мыть... Диво! Отсохни мои уши! Приказали перестирать пододеяльники, простыни, занавески... Так они ж в хате! В шкафах и сундуках. А какая в хате радиация? За стеклом? За дверями? Диво! Ты найди ее в лесу, в поле... Колодцы позакрывали на замок, обернули

целлофановой пленкой... Вода “грязная”... Какая она грязная, она такая чистая-чистая ! Наговорили мешок. Вы все умрете... Надо уезжать... Эвакуироваться...

Напугались люди... Набрались страху... Некоторые давай по ночам свое добро закапывать. И я свою одежду сложила... Красные грамоты за мой честный труд и копейку, какая у меня была, на черный день хранилась. Такая печаль! Такая печаль передала сердце! Чтобы я так умерла, как я правду вам говорю! А тут слышу, что в одной деревне солдаты людей эвакуировали, а дед с бабкой остались. Перед тем днем, когда людей поднимали, пригнали в автобусы, они взяли коровку и подались в лес. Переждали там. Как в войну... Когда деревню каратели жгли... Откуда та беда берется? *(Плачет.)* Непрочная наша жизнь... Рада не плакать, так слезы текут...

О! Поглядите в окно: сорока прилетела... Я их не гоню... Хоть, бывает, что сороки у меня яйца из сарая тягают. Все равно не гоню. У нас теперь у всех одна беда. Никого не гоню! Вчера заяц прибежал...

Вот если бы каждый день в хате были люди. Тут недалеко, в другой деревне, тоже баба одна живет, я говорила, чтобы ко мне переходила. Что поможет, а что нет, но хотя бы заговорить до кого. Позвать... Ночью все у меня болит. Ноги крутит, как мурашки бегают, это нерв по мне ходит. Так я возьму что в руки. Жменьку зерна... И хруп, хруп. Нерв тогда успокаивается... Что я уже наработалась за свою жизнь, нагоревалась. Всего хватило и ничего не хочу. Если б померла, то и отдохнула. Как там душа, а телу спокойно будет. И дочки у меня есть, и сыны... Все в городе... А я никуда отсюда не хочу! Дал Бог годы, а не дал доли. Я знаю, что докучает старый человек, дети потерпят, потерпят и обидят. Радость от детей пока малые. Наши женщины, которые поехали в город, все плачут. То невестка обижает, то дочка. Вернуться хотят. Мой хозяин тут... Лежит на могилках... Если бы не лежал тут, то жил бы в другом месте. И я с ним. *(Вдруг весело.)* А что ехать? Тут хорошо! Все растет, все цветет. Начиная от мошки до зверя, все живет.

Я все вам вспомню... Летят самолеты и летят. Каждый день. Низко-низко над головами. Летят на реактор. На станцию. Один за одним. А у нас — эвакуация. Переселение. Штурмуют хаты. Люди позакрывались, попрятались. Скот ревет, дети плачут. Война! А солнышко светит... Я села и не выхожу из хаты, правда, на ключ не закрывала. Постучали солдаты: “Что, хозяйка, собралась?” Спрашиваю: “Силой будете мне руки и ноги связывать?” Помолчали, помолчали и пошли. Молоденькие-молоденькие. Дети! Бабы на коленях перед хатами ползали... Молились... Солдаты под руки одну, другую — и в машину. А я пригрозила, который до меня дотронется, силу свою покажет, тот кием получит. Ругалась! Крепко ругалась! Не плакала. В тот день я ни слезинки.

Сижу в хате. То крик. Крик! А то стало тихо... Затихло. Я в тот день... В первый день я не вышла из хаты...

Рассказывали: шла колонна людей... И шла колонна скота. Война!

Мой хозяин любил сказать, что человек стреляет, а Бог пули носит. Кому какая судьба! Молодые, что поужжали, уже есть что поумирали. На новом месте. А я с киечком — хожу. Тупаю. Скучно станет, поплачу. Деревня пустая... А птицы тут всякие... Летают... И лось идет хоть бы что... *(Плачет.)*

Я все вспомню... Люди поужжали, а кошек и собак оставили. Первые дни я ходила и разливала всем молоко, а каждой собаке давала кусок хлеба. Они стояли у своих дворов и ждали хозяев. Ждали людей долго. Голодные кошки ели огурцы... Ели помидоры... До осени я у соседки косила траву перед калиткой. Забор упал, забор ей прибила. Ждала людей... Жил у соседки собачка, звали Жучок. “Жучок, — прошу, — если первый людей встретишь, — то крикни мне”.

Ночью сню, как я эвакуируюсь... Офицер кричит: “Хозяйка, мы скоро все будем сжигать и закапывать. Выходи!” И везут меня куда-то, в какое-то незнакомое место. Непонятное. Это и не город, и не деревня. И не земля...

Случилась история... Был у меня хороший котик. Звали Васька. Зимой голодные крысы напали, нет спасения. Под одеяло лезли. Зерно в бочке — дырку прогрызли. Так Васька спас... Без Васьки бы погибла... Мы с ним поговорим, пообедаем. А тогда пропал Васька... Может, голодные собаки где напали и съели? Они все бегали голодные, пока не поумирили, кошки были такие голодные, что котят ели, летом не ели, а зимой. Прости, Господи! А одну бабу крысы загрызли... В своем доме. Рыжие крысы... Правда или нет, а бают. Рыскают тут бомжи... Первые годы добра хватало: сорочки, кофты, шубы. Бери и вези на барахолку. Вот они напьются, песни поют. Мать-перемать. Один свалился с велосипеда и уснул на улице. Утром две косточки нашли и велосипед. Правда или нет? Не скажу. Бают.

Тут все живет. Ну, все-все! Ящерица живет, лягушка квакает. И червяк ползает. И мыши есть! Все есть! Особенно весной хорошо. Я люблю, когда сирень цветет. Черемуха пахнет. Пока ноги крепко держали, сама за хлебом ходила, в одну только сторону пятнадцать километров. Молодая бегом бы проскакала. Привычная. После войны мы ходили за семенами на Украину. За тридцать, за пятьдесят километров. Люди по пуду носили, а я три. А теперь по хате, бывает, не перейду. Старой бабе и летом на печи холодно. Милиционеры едут сюда, проверяют деревню, так мне хлеба везут. Только что они тут проверяют? Живу я и котик. Это уже другой котик у меня. Милиция посигналит, мы с ним обрадуемся. Бежим. Ему привезут косточек. А меня будут спрашивать: “А если наскочат бандиты?” — “Так чем они у меня разживутся? Что возьмут? Душу? У меня только душа”. Хорошие хлопчики. Смеются. Батарейки к приемнику привезли, я теперь радио слушаю. Людмилу Зыкину люблю, но что-то она редко сейчас поет. Видно, состарела, как и я. Мой хозяин любил сказать... Так еще говорил: кончен бал — и скрипки в торбу!

Расскажу я, как котика себе нашла. Не стало моего Васьки... И день жду, и два... И месяц... Ну, совсем, было, я одна осталась. Не к кому и заговорить. Пошла по деревне, по чужим садкам зову: Васька, Мурка... Васька! Мурка! Первое время много их бегало, а потом где-то пропали. Уничтожились. Смерть не разбирает... Всех принимает земля... И хожу я, и хожу. Два дня звала. На третий день — сидит под магазином... Мы переглянулись... Он рад, и я рада. Только что он слово не скажет. “Ну, пошли, — прошу, — пошли домой”. Сидит... Мяу... Я давай его упрашивать: “Что ты будешь тут один? Волки съедят. Разорвут. Пошли. У меня яйца есть, сало”. Вот как объяснить? Кот человеческого языка не понимает, а как он тогда меня уразумел? Я иду впереди, а он бежит сзади. Мяу... “Отрежу тебе сала”... Мяу... “Будем жить вдвоём”... Мяу... “Назову тебя Васькой”... Мяу... И вот мы с ним уже две зимы перезимовали...

Ночью приснится — кто-то позвал... Голос соседки: “Зина!” Помолчит... И опять: “Зина!”

Скучно мне станет, я поплачу...

Зайду на могилки. Мама там лежит... Дочушка малая... В войну от тифа сгорела. Только мы занесли ее на могилки, закопали, как вышло из-за туч солнышко. И светит-светит. Хоть ты вернись и откопай. Хозяин мой там... Федя... Посажу возле всех. Повздыхаю. А поговорить можно и с живыми, и с мертвыми. Мне никакой разницы. Я и тех, и других слышу. Когда ты одна... И когда печаль... Сильная печаль...

Возле самых могилочек учитель Иван Прохорович Гавриленко жил, он к сыну в Крым уехал. За ним — Петр Иванович Миусский... Тракторист... Стахановец, когда-то все в стахановцы выбивались. Золотые руки. Из дерева кружева строгал. Дом — на всю

деревню дом. Лялька! Ой, меня и жалость брала, кровь поднялась, когда его рушили. Закапывали. Офицер кричал: “Не тужи мать. Дом на “пятне” сидит””. А сам — пьяный. Подхожу — это он плачет: “Ты, мать, иди! Иди!”. Прогнал. А там дальше усадьба Миши Михалева, он котлы топил на ферме. Миши не стало быстро. Уехал — и сразу помер. За ним — дом зоотехника Степана Быхова стоял... Сгорел! Ночью злые люди подожгли. Пришлие. И Степан долго не пожил. Под Могилевом, где дети живут, похоронен. Вторая война... Столько мы людей потеряли! Ковалев Василий Макарович, Анна Коцура, Максим Никифороенко... Когда-то весело жили. На праздники — песни, танцы. Гармошка. А сейчас, как в тюрьме. Я, бывает, закрою глаза и хожу по деревне... Ну, какая, говорю им, тут радиация, когда и бабочка летает, и шмель жужжит. И мой Васька мышей ловит. (Плачет.)

А моя ты любочка, поняла ли ты мою печаль? Понесешь людям, а меня, может, уже и не будет. Найдут в земельке... Под корнями...”

*Зинаида Евдокимовна Коваленка,
самосел.*

Монолог о целой жизни, написанный на дверях

“Я хочу засвидетельствовать...”

Это было тогда, десять лет назад и каждый день происходит со мной сейчас. Теперь... Это всегда со мной.

Мы жили в городе Припять. В самом этом городе, который знает сейчас весь мир. Я не писатель. Но я свидетель. Вот как это было... С самого начала...

Ты живешь... Обыкновенный человек. Маленький. Такой, как все вокруг — идешь на работу и приходишь с работы. Получаешь среднюю зарплату. Раз в год едешь в отпуск. У тебя – жена. Дети. Нормальный человек! И в один день ты внезапно превращаешься в чернобыльского человека. В диковинку! Во что-то такое, что всех интересует и никому неизвестно. Ты хочешь быть как все, а уже нельзя. Ты не можешь, тебе уже не вернуться в прежний мир. На тебя смотрят другими глазами. Тебе задают вопросы: там было страшно? Как горела станция? Что ты видел? И, вообще, могут ли у тебя быть дети? Жена от тебя не ушла? На первых порах мы все превратились в редкие экспонаты... Само слово “чернобылец” до сих пор, как звуковой сигнал... Все поворачивают голову в твою сторону... Оттуда!

Это были чувства первых дней... Мы потеряли не город, а целую жизнь...

Уехали из дома на третий день... Реактор горел... Запомнилось, что кто-то из знакомых сказал: “Пахнет реактором”. Неопикуемый запах. Но об этом все читали в газетах. Превратили Чернобыль в фабрику ужасов, а на самом деле в мультик. А его понять надо, потому что нам с ним жить. Я расскажу только свое... Свою правду...

Было так... Объявили по радио: кошек брать нельзя! Дочка – в слезы, от страха потерять свою любимую кошку стала заикаться. Кошку в чемодан! А она в чемодан не хочет, вырывается. Обцарапала всех. Вещи брать нельзя! Я все вещи не возьму, я возьму одну вещь. Только одну! Я должен снять дверь с квартиры и увезти, дверь оставить не могу... А вход забью досками...

Наша дверь... Наш талисман! Семейная реликвия. На этой двери лежал мой отец. Не знаю, по какому обычаю, не везде так, но у нас, сказала мне мама, покойника надо положить на дверь от его дома. Он так лежит, пока не привезут гроб. Я сидел около отца всю ночь, он лежал на этой двери... Дом был открыт... Всю ночь... И на этой же двери до самого верха зазубрины... Как я рос... Отмечено: первый класс, второй. Седьмой. Перед

армией... А рядом — как рос уже мой сын... Моя дочь... На этой двери вся наша жизнь записана, как на древних папирусах. Как я ее оставлю?

Попросил соседа, у него была машина: “Помоги!” Показал мне на голову: мол, ты, друг, не в себе. Но я ее вывез... Дверь... Ночью... На мотоцикле... Лесом... Вывез через два года, когда наша квартира уже была разграблена. Очищена. За мной гналась милиция: “Будем стрелять! Будем стрелять!” Конечно, они приняли меня за мародера. Дверь из собственного дома я как украл...

...Отправил дочку с женой в больницу. У них по телу расплзлись черные пятна. То появятся, то исчезнут. Величиной с пятак... А ничего не болит... Их обследовали. Я спросил: “Скажите, какой результат?” — “Не для вас”. — “А для кого же?”

Вокруг тогда все говорили: умрем-умрем... К двухтысячному году белорусы исчезнут. Дочке исполнилось шесть лет. Ровно в день аварии. Укладываю ее спать, она мне шепчет на ухо: “Папа, я хочу жить, я еще маленькая”. Я думал, она ничего не понимает...А она увидит няню в детском садике в белом халате или в столовой повара, с ней истерика: “Не хочу в больницу! Не хочу умирать!” Белый цвет не переносила. Мы даже в новом доме занавески белые поменяли.

Вы способны себе представить сразу семь лысых девочек? Их в палате было семь... Нет, достаточно! Я кончаю! Когда я рассказываю, у меня чувство, вот сердце подсказывает — ты совершаешь предательство. Потому что я должен описывать её, как чужую... Её мучения... Жена пришла из больницы... Не выдержала: “Лучше бы она умерла, чем так мучиться. Или мне умереть, чтобы больше не смотреть”. Нет, достаточно! Я кончаю! Не в состоянии. Нет!

Положили её на дверь... На дверь, на которой когда-то лежал мой отец. Пока не привезли маленький гроб... Он был маленький, как коробка из-под большой куклы. Как коробка...

Я хочу засвидетельствовать — моя дочь умерла от Чернобыля. А от нас хотят, чтобы мы молчали. Наукой, мол, еще не доказано, нет банка данных. Надо ждать сотни лет. Но моя человеческая жизнь... Она же меньше... Я не дождусь. Запишите...Хотя бы вы запишите: дочку звали Катя... Катюшенька... Умерла в семь лет...”

Николай Фомич Калугин, отец

*Монолог одной деревни о том, как зовут души
с неба, чтобы с ними поплакать и пообедать*

Деревня Белый Берег Наровлянского района Гомельской области.

Говорят: Анна Павловна Артюшенко, Ева Адамовна Артюшенко, Василий Николаевич Артюшенко, Софья Николаевна Мороз, Надежда Борисовна Николаенко, Александр Федорович Николаенко, Михаил Мартынович Лис.

— Гостейки к нам... Добрые люди... Не ворожилось на встречу, никакого знака. Бывает, ладонь чешется — поздравкаешься. А сегодня, ани, не ворожилось. Одно соловейка всю ночь пел — на солнечный день. Ой! Наши бабы в момент сбегутся. Вон Надя уже летит...

— И пережили все, перетерпели...

— Ой, не хочу вспоминать. Страшно. Выгоняли нас, солдаты выгоняли. Военная техника понаехала. Самоходки. Один дед старый... Уже лежал. Помирал. Куда ехать? “Я вот встану, — плакал, — и пойду на могилки. Своими ногами”. Что нам за хаты

заплатили? Что? Поглядите, какая тут красота! Кто нам за эту красоту заплатит? Курортная зона!

— Самолеты, вертолеты — гул стоял. КамАЗы с прицепами... Солдаты. Ну, думаю, началась война. С китайцами или американцами.

— Хозяин пришел с колхозного собрания и говорит: “Завтра нас эвакуируют”. А я: “Как же картошка? Не выкопали”. Стучит в дверь сосед, и сели они с моим выпивать. Выпили и давай ругать председателя: “Не поедем и точка. Войну пережили, а тут радиация”. Хоть залезай в эту землю. Не поедем!

— Сначала думали, что все умрем через два-три месяца. Так нас пугали. Агитировали ехать. Слава Богу — живы!

— Слава Богу! Слава Богу!

— Никто не знает, что на том свете. Тут лучше... Знакомее. Как моя мама приговаривала: красуешься, радуешься и самовольничаешь.

— Пойдем в церковь, помолимся.

— Уезжали... Взяла землю с маминой могилки в мешочек. Постояла на коленках: “Прости, что мы тебя оставляем”. Ночью пошла к ней и не боялась. Люди свои фамилии писали на хатах. На бревнах, на заборе. На асфальте.

— Собак солдаты убивали. Стреляли. Бах-бах! После этого я не могу слышать, как кричит живое.

— Я тут бригадирствовал. Сорок пять лет... Жалел людей... В Москву на выставку мы свой лен возили, колхоз посылал. Значок оттуда привез и красную грамоту. Тут ко мне с уважением: “Василий Николаевич... Наш Николаевич...” А кто я там, на новом месте? Старый дед в капелюше. Тут буду помирать, женщины мне воды принесут, в хате натеплят. Жалел я людей... Вечером идут бабы с поля и поют, а я знаю, что они ничего не получают. Одни палочки на трудовни. А они поют.

— В деревне у нас люди живут вместе. Одним миром.

— Снится мне сон, это я уже в городе у сына жила. Сон... Что жду смерти, ожидаю. И сыновьям наказываю: “Повезете меня на наши могилки, хоть пять минут постоите со мной возле родной хаты”. И сверху вижу, как сыны меня туда везут...

— Пусть она отравленная, с радиацией, но это моя родина. Нигде мы больше не нужны. Даже птице своё гнездо мило.

— Доскажу... Жила у сына на седьмом этаже, подойду к окну, гляну вниз и крещусь. Кажется, что коня слышу. Петуха... И такая жаль... А то соснится свой двор: корову привязываю и дою, дою... Просыпаюсь... Не хочу вставать. Я еще там. Я то здесь, то там.

— Днём мы жили на новом месте, а ночью на родине. Во сне.

— Зимой ночи длинные, сидим, бывает, и считаем: кто уже помер? В городе от нервности и расстройства много помирало, по сорок-пятьдесят лет — разве это время смерти? А мы живем. Молимся каждый день Богу, просим одно — здоровье.

— Как говорится, кто где родился, там и сгодился.

— Мой хозяин два месяца лежал... Молчал, не отвечал мне. Как обиделся. Хожу по двору, вернусь: “Батька, как ты?” Глаза только на голос поднимет, а мне уже легче. Пусть бы лежал, молчал, а был в хате. Когда человек умирает, плакать нельзя. Перебьешь ему смерть, будет долго трудиться. Я в шкафу свечку взяла и в руки ему вставила. Он взял и дышит... Глаза, вижу, мутные... Не плакала... Об одном просила: “Передай там привет нашей дочушке и моей любимой мамочке”. Молилась, чтобы нам вместе... Некоторые Бога и упроят, а мне он смерти не дал. Живу.

— А я помирать не боюсь. Никто два раза не живет. И лист отлетает, и дерево падает.

— Бабоньки! Не плачьте. В передовиках все годы ходили. Стахановки. Сталина пережили. Войну! Если бы не смеялись и не тешились, то давно б повесились. Значит,

разговаривают две чернобыльские женщины. Одна: “Слыхала, у нас у всех теперь белокровие?” Другая: “Ерунда! Я вчера палец порезала, кровь текла красная”.

— В родном краю, как в раю. А на чужине и солнце не так светит.

— А моя мама когда-то меня научила, что возьми иконку и переверни ее, и чтобы она так три дня повисела. Где б ты не была, обязательно домой возвратишься. У меня было две коровы и две телки, пять свиней, гуси, куры. Собака. Руками голову обхвачу и хожу по саду. А яблочек, яблочек-то сколько! Пропало все, тьфу, пропало!

— Помыла хату, печь побелила... Надо оставить хлеб на столе и соль, миску и три ложечки. Ложек столько, сколько душ в хате... Все, чтоб вернуться...

— А гребешки у кур были черные, а не красные — радиация. И сыр не получался. Месяц жили без творога и сыра. Молоко не кисло, оно в порошок сворачивалось, белый порошок. Радиация...

— Эта радиация у меня на огороде была. Огород весь побелел, беленький-беленький, как чем-то посыпанный. Какими-то кусочками... Я думала, может, что-то из лесу принесло. Ветер насыпал.

— Не хотели мы уезжать. Ой, не хотели! Мужики выпившие. Под колеса бросались. Начальство ходило по хатам и каждого уговаривало. Наказ: “Имущество не брать!”

— Скот три дня не поенный. Не кормленный. На убой! Приехал корреспондент из газеты: “Как настроение? Как дела?” Пьяные доярки чуть его не убили.

— Председатель с солдатами кружится вокруг моей хаты... Страшают: “Выходи или будем поджигать! А ну, сюда канистру с бензином”. Забегала — то рушник схвачу, то подушку...

— Вот вы скажите по науке, как действует та радиация? Говорите правду, нам все равно скоро помирать.

— А что вы думаете в Минске её нет, раз она невидимая?

— Привез внук собачку... Назвали Радий, потому что живем в радиации. И где мой Радий поделся, то всегда возле ног? Боюсь, побежит за деревню, волки съедят. Буду одна.

— А в войну целую ночь орудия стучают-стучают. Секут-секут. Мы земляночку в лесу выдолбили. Бомбят и бомбят. Все сожгли, сказать бы хаты, а то и огород, и вишенки погорели.

Только б не было войны... Как я её боюсь!

— У армянского радио спрашивают: “Можно ли есть чернобыльские яблоки?” Ответ: “Можно, только огрызки надо глубоко в землю закапывать”. Второй вопрос: “Сколько будет семь помножить на семь?” Ответ: “Да тебе любой чернобылец на пальцах сосчитает”. Ха-ха-ха...

— Дали нам новый домик. Каменный. Так, знаете, за семь лет не забили ни одного гвоздя. Чужбина! Все чужое. Мой хозяин плакал и плакал. Неделю работает в колхозе на тракторе, ждет воскресенья, а в воскресенье ляжет у стенки и плачет.

— Больше нас никто не обманет, никуда мы со своего места не двинемся. Магазины нет, больницы нет. Света нет. Сидим при керосиновой лампе и при лучине. А нам хорошо! Мы — дома.

— В городе невестка ходила за мной по квартире с тряпкой и вытирала дверную ручку, стул... А все за мои деньги куплено, вся мебель и машина “Жигули”. Деньги кончились, и мама не нужна.

— Деньги наши дети забрали... А что осталось, инфляция съела. То, что нам отдали за хозяйство, за хаты. За яблоньки.

— А нам все равно весело... У армянского радио спрашивают: “Что такое радионяня?” — Это — бабушка из Чернобыля.” Ха-ха-ха...

— Две недели я шла пешком... И коровку свою вела... Люди не пускали в хату. В лесу ночевала.

— Боятся нас. Заразные, говорят. За что Бог наказал? Рассердился? Живем не полюдски, не по божьим законам. Казним один одного. За это.

— Мои внуки летом приезжали... Первые годы не ехали, тоже боялись... А теперь навещают, продукты уже берут, все пакуют, что дашь. “Бабушка, — спрашивали, — а читала ты книгу о Робинзоне?” Жил один так, как и мы. Без людей. Я с собой полмешка спичек привезла... Топор и лопату... А теперь у меня сало, яйца, молоко, — все свое. Одно что — сахар не посеешь. Земли тут сколько хочешь! Хоть сто гектаров запахивай. А власти никакой. Тут человеку никто не мешает... Начальства нет... Мы — свободные.

— С нами и коты вернулись. И собаки. Возвращались вместе. Солдаты нас не пускали. Омоновцы. Так мы ночью... Лесными тропками... Партизанскими...

— Ничего от государства нам не надо. Все сами производим. Не трогайте только нас! Ни магазина не надо, ни автобуса. За хлебом и солью ходим пешком за двадцать километров... Мы сами себе.

— Табором вернулись. Три семьи... А здесь все разграблено: печь разбили, окна, двери сняли. Полы. Лампочки, выключатели, розетки, — все выкрутили. Ничего живого. Вот этими руками все заново, вот этими руками. А как же!

— Дикие гуси кричат — весна наступила. Сеять пора. А мы в пустых хатах... Одно — крыши целые...

— Милиция кричала. Приедут на машинах, а мы — в лес. Как от немцев. Один раз напали на нас с прокурором, так он грозился, что будут судить. Я говорю: “Пускай мне дадут год тюрьмы, я отбуду и сюда вернусь”. Их дело покричать, а наше помолчать. Я орден имею, как передовой комбайнер, а он мне грозитя — по десятой статье пойдешь... Преступник...

— Каждый день мне моя хата снилась. Я возвращалась: то копаю огород, то постель прибираю... И всегда что-нибудь найду: то туфлю, то цыплят... К добру всё, к радости. На возвращение...

— Ночью Бога просим, а днем милиционеров. Спросите вы у меня: “Что ты плачешь?” А я не знаю, чего я плачу. Я рада, что я в своем дворе живу.

— И пережили все, перетерпели...

— Я вам анекдот расскажу... Указ правительства о льготах чернобыльцам... Тому, кто проживает в двадцати километрах от станции, к фамилии добавляется приставка “фон”. Те, кто в десяти километрах, они уже — Ваша светлость. А те, кто возле станции выжили — Ваше сиятельство. Ну, вот и живем, Ваша светлость... Ха-ха...

— Добилась я к доктору: “Миленький, ножки не ходят. Суставчики болят”. — “Коровку надо сдать, бабка. Молоко отравленное”. — “Ой, нет, — плачу, — ножки болят, коленки болят, а коровку не отдам. Моя кормилица”.

— У меня семеро детей. Все в городах живут. Я тут одна. Затоскую, сяду под их фотографии... Поговорю.... Все... Все одна. Дом одна покрасила, шесть банок краски уложила. Так вот и живу. Вырастила четыре сына и три дочки. А муж рано умер. Одна.

— Я с волком встречался вот так: он стоит, и я стою. Посмотрели один на одного, и он в сторону отскочил... Помчался... Так у меня шапка поднялась от страха.

— Любой зверь боится человека. Ты зверя не трогай, и он тебя обойдет. Раньше ходишь по лесу, услышишь голоса, бежишь к людям, а сейчас человек от человека прячется. Не дай Бог встретить в лесу человека!

— Все, что в Библии написано, все исполняется. Там и про наш колхоз написано... И про Горбачева... Что будет большой начальник с клеймом на лбу и великая держава рассыпется. А потом наступит Божий суд... Кто в городах живет, все погибнут, а в деревне

один человек останется. Человек будет рад человеческому следу! Не человеку, а только следу его...

— А свет у нас — лампа. Керосинка. А-а... Бабы уже доложили вам. Убьем кабана, так в погреб несем или в землю закапываем. В земле мясо три дня лежит. Самогонка у нас из своего жита. Из варенья.

— У меня два мешка соли... Не пропадем без государства! Дров полно — кругом лес. Хата теплая. Лампа горит. Хорошо! Козу держу, козлика, трое свиней, четырнадцать кур. Земли — вдосталь, травы — вдосталь. Вода есть в колодце. Воля! Нам хорошо! У нас тут не колхоз, а коммуна. Коммунизм! Еще одного коника купим. И тогда никто нам больше не нужен. Одного коника...

— Мы не домой вернулись, как один корреспондент тут был и удивлялся, а на сто лет назад. Серпом жнем, косой косим. Молотим цепами зерно прямо на асфальте. Хозяин корзинки плетет. А я зимой вышиваю. Тку.

— В войну в нашем роду погибло семнадцать человек. Двоих моих братьев убили... Мама плачет и плачет. А ходила старушка по деревням, побиралась. “Скорбишь?” — говорит маме. — Не скорби. Кто отдал жизнь за других, тот святой человек”. И я все за Родину могу... Только убивать не могу... Я — учительница, я учила — любите человека. Всегда побеждает добро. Дети, они маленькие, душой чистые.

— Чернобыль... Над войнами война. Нет человеку нигде спасения. Ни на земле, ни в воде, ни на небе.

— Радио сразу отключили. Никаких новостей не знаем, зато нам спокойно жить. Не расстраиваемся. Приезжают люди, пересказывают: везде война. И будто социализм кончился, живем при капитализме. Царь вернется. Правда!?

— То кабан из лесу в сад зайдет, то лосиха... Люди редко. Одни милиционеры...

— А вы и в мою хату зайдите.

— И в мою. Так давно у меня в хате гости не сидели.

— И крещусь, и молюсь... Господи! Два раза милиция мне печку рубила... На тракторе вывозили... А я — назад! Пустили бы людей — они все на коленках домой бы поползли. Разнесли по свету наше горе. Только мертвым разрешают вернуться. Их привозят. А живые — ночью. Лесом...

— На радуницу все сюда рвутся. До одного. Каждый хочет своего помянуть. Милиция по спискам пропускает, а детям до восемнадцати лет нельзя. Приедут и так рады возле своей хаты постоять... В своем саду возле яблони... Сначала на могилах плачут, потом расходятся по своим дворам. И там тоже плачут и молятся. Ставят свечки. Висят на своих заборах как на оградах у могилок. Бывает, что и веночек положат возле дома. Повесят белый рушник на калитке... Батюшка молитву читает: “Братья и сестры! Будьте терпеливыми!”

— На кладбище берут и яйца, и булки... Многие блины вместо хлеба. У кого что есть... Каждый садится возле своей родни. Зовут: “Сестра, пришла тебя отведать. Иди к нам обедать”. Или: “Мамочка ты наша... Папочка ты наш... Татуля...” Зовут души с неба... У кого в этот год умерли, те плачут, а у кого раньше, те не плачут. Поговорят, вспомнят. Все молятся. Кто не умеет, тоже молится.

— А ночью по мертвым плакать нельзя. Солнце зайдет — и уже нельзя. Помяни, Боже, души их. И царство им небесное!

— Кто не скачет, тот плачет... Вот хохлушка продает на базаре большие красные яблоки. Зазывает: “Покупайте яблочки! Яблочки чернобыльские!” Кто-то ей советует: “Не признавайся, тетка, что они чернобыльские. Никто не купит”. — “Не скажите! Берут! Кому надо для тещи, кому для начальника!”

— Тут один из тюрьмы вернулся. По амнистии. В соседней деревне жил. Мать умерла, дом закопали. Прибился к нам. “Тетка, дайте кусок хлеба и сала. Я вам дров наколю”. Побирается.

— Бардак в стране — и сюда бегут люди. От людей бегут. От закона. И живут одни. Чужие люди... Суровые, нет приветствия в глазах. Напьются — подожгут. Ночью спим, а под кроватью — вилы, топоры. На кухне у дверей — молоток.

— Весной бешеная лиса бегала, когда она бешеная, то ласковая-ласковая. Не может смотреть на воду. Поставь во дворе ведро воды — и не бойся! Уйдет.

— Приезжают... Фильмы про нас снимают, а мы их никогда не увидим. У нас нет ни телевизоров, ни электричества. Одно — в окно смотреть. Ну, и молиться, конечно. То были коммунисты вместо Бога, а теперь остался один Бог.

— Мы — люди заслуженные. Я — партизан, год был в партизанах. А когда наши немцев отбили, на фронт попал. На рейхстаге свою фамилию написал: Артюшенко. Снял шинельку, коммунизм строил. А где тот коммунизм?

— У нас тут коммунизм. Живем — братья и сестры.

— Как война началась, не было в тот год ни грибов, ни ягод. Поверите? Сама земля беду чуяла... Сорок первый год... Ой, вспоминаю! Я войну не забыла. Пролетел слух, что пригнали наших пленных, кто признает своего, может забрать. Поднялись, побежали наши бабы! Вечером кто своего, а кто чужого привел. Но нашелся такой гад... Жил, как все, женатый, двое детей. Заявил в комендатуру, что мы украинцев взяли. Васько, Сашко... Назавтра немцы на мотоциклах приезжают... Просим, на колени падаем... А они вывели их за деревню и положили из автоматов. Девять человек. Они ж молодые-молодые, хорошие! Васько, Сашко...

Только б не было войны. Как я ее боюсь!

— Начальство приедет, покричит-покричит, а мы глухие и немые. И пережили все, перетерпели...

— А я про свое... Про своё думаю и думаю... На могилках... Кто причитает громко, а кто тихо. Другие, бывает, прискажут: “Распахнись, желтый песочек. Распахнись, темная ночка”. Из лесу дождешься, а из песка никогда. Буду обращаться ласково: “Иван... Иван, как мне жить?” А он ничего не ответит мне, ни хорошего, ни плохого.

— А я... Я никого не боюсь: ни покойников, ни зверей, никого. Сын приедет из города и ругается: “Что сидишь одна? А как кто задушит?” А что он возьмет у меня? Одни подушки... В простой хате все уборы — подушки. Как станет бандит лезть, он же голову всунет в окно, а я ее топориком прочь. По-нашему, секеркой... Может, и нет Бога, может, другой кто, но там, высоко, кто-то есть... И я живу.

— Зимой дед повесил во дворе разделанного теленка. И иностранцев как раз привезли: “Дедушка, что ты делаешь?” — “Радиацию выгоняю”.

— Было же... Люди рассказывали... Похоронил муж жену, а хлопчик маленький у него остался. Мужчина один... Запил с горя... Снимет с дитенка все мокрое и под подушку. А жена — то ли она сама, то ли только душа ее — явится ночью, помоем, посушит и сложит в одном месте. Раз он ее увидел... Позвал, она сразу как растаяла... Воздухом стала... Тогда соседи ему посоветовали: как тень мелькнет — двери на ключ, то, может, скоро не убежит. А она и совсем не пришла. Что там такое было? Кто там такой приходил?

Не верите? А тогда отвечайте, откуда сказки взялись? Это же, может, когда-то правда была? Вот вы грамотные...

— Отчего тот Чернобыль сорвался? Одни бают — ученые виновны. Хватают Бога за бороду, а он смеется. А нам тут терпи!..

Хорошо мы никогда не жили. Спокойно. Перед самой войной людей забирали... Хватун был... У нас троих мужчин... Приехали на черных машинах и с поля забрали, и до сих пор они не вернулись. Всегда мы боялись.

— Я плакать не люблю... Я люблю анекдот новый послушать... В чернобыльской зоне вырастили табак. На фабрике из этого табака изготовили сигареты. На каждой пачке написано: “Минздрав в по-о-следний! раз предупреждает – курение опасно для здоровья”. Ха – ха – ха ... А наши деды курят...

— Одно, что у меня есть, коровка. Я пошла б и отдала, только б не было войны. Как я ее боюсь!

— И кукушка кукует, сороки трещат. Косули бегают. А будут ли они дальше вестись, никто не скажет. Утром глянула в сад — кабаны порыли. Дики. Людей можно переселить, а лося и кабана нет. И вода границ не придерживается, идет себе по земле, под землей...

Дом не может без человека. И зверю человек нужен. Все ищут человека. Аист прилетел... Жучок вылез. Всему рада.

— Болит, бабоньки... Ой, как мне болит! Надо тихо... Гроб несут тихо... Осторожно... Не стукнуть о дверь или кровать, ни до чего не дотронуться и не ударить. А то беда — жди второго покойника. Помяни, Боже, душечку их. И царство им небесное! А где хоронят, там и причитают. Тут у нас всё — могилки. Кругом могилки... Самосвалы гудят. Бульдозеры. Хаты падают... Похоронщики работают и работают... Закопали школу, сельсовет, баню... Этот самый свет, да люди уже не те. Одно не знаю, если ли у человека душа? Какая она? И где они все на том свете вмещаются?

Два дня дед помирал, за печкой притаюсь и сторожу: как она из него вылетать будет? Пошла корову доить... Вскочила в хату... Зову... Лежит с открытыми глазами... Душа улетела... Или ничего не было? Как же тогда свидимся?

— Говорит батюшка, обещает, что мы — бессмертные. Молимся. Господи, дай нам силы перенести утомления нашей жизни...

*Монолог о том, что найдешь
дождевого червяка, и курица радуется.
А то, что в чугушке кипит, тоже не вечное.*

“Первый страх...

Первый страх с неба упал... Водой плыл... А некоторые люди и много кто были спокойные, как камни. Крестом побожусь! Мужчины, которые постарше, выпьют: “Мы до Берлина дошли и победили”. Скажут, как приклеют к стене... Победители! С медалями.

Первый страх был... Утром в саду и на огороде мы находили удушенных кротов. Кто их душил? Обычно они на свет не вылазят из-под земли. Что-то их гнало. Крестом побожусь!

Сын звонит из Гомеля:

— А майские жуки летают?

— Жуков нет, даже личинок где-то не видно. Попрятались.

— А дождевые черви есть?

— Найдешь дождевого червяка, курица радуется. И их нет.

— Первая примета: где майских жуков и дождевиков нет — там сильная радиация.

— Что такое радиация?

— Мама, это смерть такая. Уговаривайте тату уезжать. У нас перебудете.

— Так мы ж огород не посадили...

Были бы все умные, так кто бы остался в дураках. Горит, ну горит. Пожар — временное явление, никто по тем временам не боялся. Атома не знали. Крестом побожусь!

А жили под боком у атомной станции, напрямую — тридцать километров, а если по шоссе — сорок. Довольны были очень. Купил билет и поехал. Снабжение у них московское — колбаса дешевая, всегда мясо в магазинах. На выбор. Хорошее было время!

А теперь один страх... Мелют, что лягушки и мошки останутся, а люди нет. Жизнь останется без людей. Мелют сказку с присказкой. А, дурак, кто их любит! Но не бывает байки без правды... Старая это уже песня...

Радио включу. Пугают и пугают нас радиацией. А нам при радиации стало лучше жить. Крестом побожусь! Ты погляди: завезли апельсины, три сорта колбасы, пожалуйста... В деревне! Мои внуки полсвета объехали. Меньшая девочка вернулась из Франции, это же когда-то Наполеон оттуда наступал... “Бабушка, я видела ананас!” Второго внука... Братика ее в Берлин на лечение брали... Это туда, откуда на нас Гитлер пёр... На танках... Новый свет теперь... Все по-другому... Радиация эта виновата или кто? А какая она? Может, в кино где показывали? Вы видели? Белая, или какая она? Какого цвета? Одни говорят, что без цвета и запаха, а другие, что она черная. Как земля! А если без цвета, то, как Бог. Бог всюду, а никто не видит. Пугают! А яблоки в саду висят и лист на деревьях, картошка в поле... Я думаю, что никакого Чернобыля нет, придумали... Обманули людей... Сестра моя со своим мужиком уехали... Недалеко тут, за двадцать километров. Два месяца там пожили, бежит к ним соседка: “От вашей коровы радиация перелезла к моей. Корова падает”. — “А как она перелезет?” — “Она по воздуху летает, как пыль. Летучая”. Сказки! Сказки с присказкой... А это быль... У деда моего пчелы, стояло пять ульев. Так они три дня не вылетали, ни одна. Сидели в ульях. Пережидали. Дед по двору носится: что за напасть такая? Что за холера? Что-то в природе случилось. А их система, как потом, уже время прошло, объяснил нам сосед, учитель, лучше нашей, разумнее, так как они сразу услышали. Радио, газеты еще молчали, а пчелы уже знали. На четвертый день только вылетели. Осы... Были у нас осы, осиное гнездо над крыльцом, никто не трогал, и тут их утром не стало, ни живых, ни мертвых. Вернулись через шесть лет. Радиация... Она и людей пугает, и зверей... И птиц... И даже дереву страшно, только что оно немое. Не скажет. А колорадские жуки ползают, как и ползали, едят нашу бубочку, сжирают до листочка, они привычные к отраве. Вот как и мы.

Но как подумую — в каждой хате кто-то помер... Та другая улица, на том берегу реки... Там все женщины теперь без мужиков, нет мужчин, мужчины поумирали. На нашей улице мой дед живет, и там еще один. Мужчин Бог забирает раньше. По какой причине? Никто нам не переведет, никто не знает этого секрета. А подумать: останься одни мужчины, без баб — тоже не ладно. Пьют, милая моя, пьют. От тоски пьют. Кому умирать охота? Когда человек умирает — такая тоска! Утешиться нельзя. Никто не может и нечем его утешить. Пьют и беседуют... Рассуждают... Выпить, смеяться и бац! — нет. Все мечтают о легкой смерти. Как же ее заслужить? Душа — единственное живое существо. Моя ты милая... А женщины наши все пустые, женское у них вырезано, считай, у каждой третьей. И у молодой, и у старой... Не все успели родить... Как подумую... Прошло, как не было...

А что я добавлю? Надо жить... Больше ничего...

А то еще... Раньше мы сами били масло, сметану, ставили творог, сыр. Варили молочную затирку. Едят ли такое в городе? Заливаешь муку водой и мешаешь, получают рваные кусочки теста, тогда ты их в кастрюлю с кипячёной водой. Поваришь и забеливаешь молоком. Наша мама показывала и учила: “И вы, дети, научитесь так. А я научилась от своей мамы”. Пили мы березовый и кленовый сок — березовик и кленовик. Фасоль в стручках парили в чугунах в большой печи. Варили кисель из клюквы... А в войну крапиву собирали, лебеду и другие травы. С голоду пухли, но не помирали. Ягоды в лесу, грибы... А сейчас такая жизнь, что все это порушилось. Думалось нам, что это

нерушимое, всегда было и будет так. И то, что в чугушке кипит, вечное. Никогда бы я не поверила, что оно поменяется. Но оно ж так... Молоко — нельзя, бобовые — нельзя. Грибы, ягоды запрещают... Мясо наказывают вымачивать три часа. И с картошки два раза воду сливать, когда варишь. Но с Богом биться не будешь... Надо жить...

Пугают, что и воду нашу нельзя пить. Но как ты без воды? В каждом человеке вода есть. Никого нет без воды. Воду и в камне найдешь. Ну, то ж вода, может, она вечная? Вся жизнь из нее... У кого спросишь? Никто не скажет. А Богу молятся, у него не спрашивают. То надо жить...

Вон и жито взошло... Хорошее жито..."

Анна Петровна Бадаева, самосел

Монолог о песне без слов

"Я вам в ножки поклонюсь... Попрошу...

Найдите нам Анну Сушко... Она жила в нашей деревне... В деревне Кожушки... Фамилия — Анна Сушко... Я вам назову все приметы, а вы напечатайте. У нее горб, с детства немая... Жила одна... Шестьдесят лет... Во время переселения ее забрали на машине "Скорой помощи" и вывезли в неизвестном направлении. Грамоте она не училась, поэтому никакого письма мы от нее не получили. Одиноких и больных сселяли в приюты. Прятали. Но никто не знает адреса... Напечатайте...

Жалели мы ее всей деревней. Выхаживали, как малое дитя. Кто дров наколет, кто молока принесет. Кто посидит вечером в хате... Печь растопит... Два года, как мы, помыкавшись по чужим углам, вернулись в родные хаты. И ей передайте, что хата ее целая. Крыша есть, окна. Что побито и разграблено, вместе восстановим. Дайте нам только адрес, где она живет и страдает, поедем и заберем. Привезем назад. Чтобы она не умерла от тоски... Я вам в ножки поклонюсь... Невинная душа мучается в чужом свете...

Есть еще одна примета... Я забыла... Когда ей что-нибудь болит, она тянет песню. Без слов. Один голос. А разговаривать она не может... Когда болит, тянет голосом: а-а-а... Жалится...

А...а...а..."

Мария Волчок, соседка

*Три монолога о древнем страхе
и о том, почему один мужчина молчал,
когда говорили женщины*

Семья К-вых. Мать и дочь. И не сказавший ни слова мужчина (муж дочери).

Дочь:

— Я первое время день и ночь плакала. Хотелось плакать и говорить... Мы из Таджикистана, из Душанбе. Там — война...

Мне про это нельзя... Я ребеночка жду, я — беременная. Но я вам расскажу... Заходят днем в автобус с проверкой паспортов... Обычные люди, только с автоматами. Посмотрят документы и вытаскивают из автобуса мужчин... И тут же, возле дверей... Стреляют. Даже не отводят в сторону... Я никогда бы сама не поверила. А я это видела... Видела, как вывели двух мужчин, один совсем молодой, красивый, он им что-то кричал. По-таджикски, по-русски... Кричал, что у него жена недавно родила, что трое маленьких детей дома. А они только смеялись, тоже молодые, совсем молодые. Обычные люди,

только с автоматами. Он упал... Он им кроссовки целовал... Все молчали, весь автобус. Только отъехали: та-та-та... Боялась оглянуться... (Плачет.)

Мне про это нельзя... Я ребеночка жду... Но я вам расскажу... Об одном прошу: не называйте мою фамилию, а имя — Светлана. У нас там родственники остались... Их убьют... Я раньше думала, что у нас никогда уже войны не будет. Большая страна, любимая. Самая сильная! Раньше нам говорили, в советской стране, что мы бедно живем, скромно, потому что прошла большая война, народ пострадал, зато теперь у нас могучая армия, нас никто не тронет. Не победит! А мы стали стрелять друг в друга... Сейчас не такая война, как раньше. Ту войну наш дед вспоминал, он до Германии дошел... До Берлина... Сейчас сосед стреляет в соседа, мальчики вместе в школе учились, и они убивают один одного, насилуют девочек, с которыми в школе рядом сидели. Все сошли с ума...

Наши мужья молчат. Мужчины молчат, они вам ничего не скажут. Им кричали вслед, что они, как женщины, бегут. Труссы! Родину предают. А где их вина? Разве это вина, что не можешь стрелять? Не хочешь. У меня муж — таджик, ему надо было идти на войну и убивать. А он: “Уедем-уедем. Я не хочу на войну. Мне не нужен автомат”. Он любит плотничать, ухаживать за лошадьми. Он не хочет стрелять. У него душа такая... Охоту тоже не любит... Там его земля, говорят на его языке, а он уехал. Потому что не хочет убивать другого таджика, такого, как и он сам. Знакомого ему человека, человека, который его ничем не обидел... Там он даже телевизор не слушал... Закрывал уши... Но ему здесь одиноко, там родные братья воюют, одного уже убили. Там его мать живет. Сестры. Ехали мы сюда в душанбинском поезде, стекол нет, холодина, не топят, стрелять не стреляли, но по дороге в окна камни кидали, стекла били: “Русские, убирайтесь! Оккупанты! Хватит нас грабить!” А он же таджик, и он это все слышал. И дети наши слышали. Девочка у нас училась в первом классе, она была влюблена в мальчика. Таджика. Приходит из школы: “Мама, а кто я — таджичка или русская?” Ей не объяснить...

Мне про это нельзя... Но я вам расскажу... У них памирские таджики воюют с кулябскими таджиками. Они — все таджики, у них один Коран, одна вера, но кулябцы убивают памирцев, а памирцы убивают кулябцев. Сначала они на площади собирались, кричали, молились. Я хотела понять, я тоже туда пошла. Спросила у стариков: “Против кого вы выступаете?” Они ответили: “Против парламента. Нам сказали, что это очень плохой человек — Парламент”. Потом площадь опустела, и стали стрелять. Как-то сразу стала другая страна, незнакомая. Восток! А до этого нам казалось, что живем на своей земле. По советским законам. Там столько русских могил осталось, а на них некому плакать... Скот пасут на русских кладбищах... Коз... Русские старики по помойкам бродят, подбирают...

Работала я в роддоме, медсестрой. Ночное дежурство. Женщина рожает, тяжело рожает, кричит... Вбегает санитарка... В не стерильных перчатках, в не стерильном халате... Что случилось? Что!! Чтобы в таком виде в родильный зал?! “Девочки, бандиты!” А они в черных масках, с оружием. И сразу к нам: “Дай наркотики! Дай спирт!” — “Нет наркотиков, нет спирта!” Врача к стенке — давай! И тут женщина, которая рожала, с облегчением закричала. Радостно. И ребеночек заплакал, он только-только появился... Я над ним наклонилась, я даже не запомнила — кто это был: мальчик или девочка? У него еще ни имени, ничего. И эти бандиты к нам: кто она — кулябка или памирка? Не мальчик или девочка, а кулябка или памирка? Мы — молчим... А эти орут: “Кто она!?” Мы — молчим. Тогда они хватают этого ребеночка, он, может быть, минут пять — десять всего и побыл на этом свете, и выбрасывают в окно... Я медсестра, я не раз видела, как умирают дети... А тут... Чуть сердце не вылетело из груди... Мне это нельзя вспоминать... (Опять

начинает плакать). После этого случая... У меня экзема на руках высыпала. Вены вздулись. И такое равнодушие ко всему, не хотелось вставать с постели... Подойду к больнице и назад поворачиваю. А я уже сама ребеночка ждала... Как жить? Как там рожать? Приехали сюда... В Беларусь... Наровля — тихий городок, маленький. И больше не спрашивайте... Не трогайте меня... *(Замолкает)* Подождите... Хочу, чтобы вы знали... Я Бога не боюсь... Я человека боюсь... Первое время мы здесь спрашивали: “Где у вас радиация?” — “Где стоите, там радиация”. Так это же вся земля?! *(Вытирает слезы)*. Люди уехали... Им страшно...

А мне тут не так страшно, как там. Мы остались без родины, мы — ничьи. Немцы все уехали в Германию, татары, когда им разрешили, в Крым, а русские никому не нужны. На что надеяться? Чего ждать? Россия никогда не спасала своих людей, потому что большая, бесконечная. Честно говоря, я и не чувствую, что моя родина — Россия, мы воспитывались по-другому: наша Родина — Советский Союз. Вот и не знаешь теперь, как душу спасти? Никто не щелкает здесь затвором, — уже хорошо. Нам тут дом дали, мужу — работу. Написала письмо своим знакомым, они вчера тоже приехали. Насовсем. Приехали вечером и боялись выйти из здания вокзала, детей не пускали, сидели на своих чемоданах. Ждали утра. А потом видят: люди ходят по улицам, смеются, курят... Им показали нашу улицу, провели до самого нашего дома. Они не могли прийти в себя, потому что мы там отвыкли от нормальной жизни, от мирной. Что вечером можно ходить по улицам. Можно смеяться... А утром они сходили в гастроном, увидели масло, сливки, и там же, в магазине — это все они сами нам рассказывали — купили пять бутылок сливок и тут же их выпили. На них смотрели, как на сумасшедших... А они ни сливок, ни масла два года не видели. Там хлеба не купишь. Там — война... Это нельзя объяснить человеку, который сегодня войны не видел... Только в кино...

У меня там душа была мертвая... Кого бы я там родила с мертвой душой? Здесь людей мало... Дома пустые... Живем под лесом... Я боюсь, когда много людей. Как на вокзале... Во время войны... *(Заплакала навзрыд и замолчала)*.

Мать:

— Только о войне... Только о войне могу говорить... Почему сюда приехали? На чернобыльскую землю? Потому что отсюда нас уже не выгонят. С этой земли. Она уже ничейная, Бог ее забрал... Люди ее оставили...

В Душанбе работала я заместителем начальника вокзала, и был еще один заместитель, таджик. Наши дети вместе росли, учились, мы сидели за одним праздничным столом: Новый год, Первомай... День Победы... Вместе пили вино, плов ели. Он ко мне обращался: “Сестра. Сестренка. Моя русская сестра”. И вот он приходит, а мы сидели в одном кабинете, останавливается перед моим столом и кричит:

— Когда ты, наконец, в свою Россию укачишь? Это — наша земля!

В ту минуту я думала, что мой разум не выдержит. Подскочила к нему:

— Куртка на тебе откуда?

— Ленинградская. — Ответил от неожиданности.

— Снимай русскую куртку, гад! — сдираю с него куртку. — Откуда шапка? Хвалился, что из Сибири прислали! Снимай шапку, гад! Рубашку давай! Штаны! Их на московской фабрике шили! Они тоже русские!

До трусов бы раздела. Здоровенный мужчина, я ему по плечо, а тут, откуда сила взялась, все бы с него содрала. Вокруг уже люди собрались. Он вопит:

— Иди от меня, бешенная!

— Нет, отдавай все мое, русское! Я все свое заберу! — Я чуть разума не лишилась. — Носки снимай! Туфли!!

Работали мы днем и ночью... Составы идут переполненные — бегут люди... Много русских людей тронулось с места...Тысячи! Десятки тысяч! Сотни! Еще одна Россия. Отправила я в два часа ночи московский поезд, остались в зале дети из города Кургана-Тюбе, не успели на московский. Я их закрыла, я их спрятала. Подходят ко мне двое. С автоматами.

— Ой, ребята, что вы тут делаете? — А у самой сердце задрожало.

— Сама виновата, у тебя все двери нараспашку.

— Я поезд отправляла. Не успела закрыть.

— Что там за дети?

— Это наши, душанбинские.

— А может, они из Кургана? Кулябские?

— Нет-нет. Наши.

Ушли. А если бы открыли зал? Они бы всех... И мне заодно — пулю в лоб! Там одна власть — человек с ружьем. Посадила я детей утром на Астрахань, приказала, чтобы их везли, как арбузы, двери не открывали. (*Сначала молчит. Потом долго плачет.*) Разве есть что-нибудь страшнее человека? (*Опять замолкает.*)

Уже, когда здесь шла по улице, через минуту оглядывалась, мне казалось, что кто-то за спиной наготове... Ждет. Дня там не проходило, чтобы я о смерти не думала... Всегда из дому во всем чистом выходила — в свежестиранной блузке, юбке, в чистом белье. А вдруг убьют! Сейчас по лесу хожу одна и никого не боюсь. Людей в лесу нет, ни одного человека. Иду, вспоминаю: то ли было все это со мной, то ли нет? Другой раз охотников встретишь: с ружьем, собакой и дозиметром. Это тоже люди с ружьем, но не такие, они за человеком не гонятся. Стрельбу услышу, знаю, что по воронам стреляют или зайца гонят. (*Молчит.*) Поэтому мне здесь не страшно... Я не могу бояться земли, воды... Я человека боюсь... За сто долларов на базаре он там покупает автомат...

Я вспоминаю парня. Таджики... Он гнался за другим парнем... За человеком гнался!! Как он бежал, как дышал, я сразу поняла, что он хочет убить... Но тот спрятался... Убежал... И вот этот возвращается, идет мимо меня и говорит: “Мать, где у вас тут можно воды попить?” Обычно так спрашивает, как ни в чем не бывало. У нас на вокзале бачок с водой стоял, я ему показала. И вот смотрю ему в глаза и говорю-говорю: “Зачем вы друг за другом гоняетесь? Зачем убиваете?” И ему будто даже стыдно стало. “Ну, мать, ты давай тише”. А когда они вместе, они другие. Будь их трое или хотя бы они вдвоем, поставили бы меня к стенке. С одним человеком еще можно говорить...

Из Душанбе приехали в Ташкент, а дальше надо — в Минск. Нет билетов — и все! У них хитро устроено, пока взятку не дашь, в самолет не сядешь, бесконечные придирки — то к весу, то к объему: это нельзя, то убери. Два раза на весы гоняли, еле сообразила. Деньги всунула... “Вот так бы давно, а то спорит тут”. Как все просто! А до этого... Контейнер у нас — две тонны, заставили разгрузить. “Вы едете с горячей точки, может, оружие везете? Анашу?” Я пошла к начальнику и у него в приемной познакомилась с хорошей женщиной, она меня первая вразумила: “Ничего вы тут не добьетесь, а будете требовать справедливости, ваш контейнер выбросят в поле и разграбят то, что вы привезли”. Ну, что делать? Ночь не спали, разгрузились, что у нас там: шмотки, матрацы, старая мебель и старый холодильник, два мешка книг. “Вы, наверное, ценные книги везете?” Посмотрели — “Что делать?” Чернышевского, “Поднятая целина” Шолохова... Посмеялись. “А сколько у вас холодильников?” — “Один, да и тот нам разбили”. — “Почему не взяли декларации?” — “Ну откуда нам было знать? Первый раз с войны едем...”. Мы потеряли сразу две родины — свой Таджикистан и Советский Союз...

Хожу по лесу, думаю. Наши все у телевизора сидят: как там? Что там? А я не хочу.

Была жизнь... Другая жизнь... Я там считалась большим человеком, есть у меня воинское звание — подполковник железнодорожных войск. Тут сидела безработная, пока не устроилась уборщицей в горсовете. Полы мою... Пройшла жизнь... А на вторую у меня уже нет сил... Одни нас тут жалеют, другие недовольны: “Беженцы картошку воруют. По ночам выкапывают”. В ту войну, моя мама вспоминала, люди больше друг дружку жалели. Недавно под лесом коня одичавшего нашли. Мертвого. В другом месте — зайца. Они были не убитые, а мертвые. Об этом все забеспокоились. А нашли мертвого бомжа, как-то незаметно прошло.

К мертвому человеку люди везде привыкли...

Лена М. — из Киргизии. На пороге дома, как для фотографии, рядом с ней сидели ее пятеро детей и кот Метелица, которого они с собой привезли.

“Мы ехали, как с войны...

Схватили вещи, кот за нами до вокзала шел след в след, кота забрали. Ехали поездом двенадцать суток, последние два дня оставались у нас только капуста квашеная в банках и кипяток. Кто с ломом, кто с топором, кто с молотком, дежурили у дверей. Скажу вам так... Одной ночью напали на нас бандиты. Чуть не убили. За телевизор, за холодильник теперь могут убить. Мы ехали, как с войны, хотя в Киргизии, где мы жили, пока не стреляют. Была резня в городе Ош... Киргизов с узбеками... Как-то оно быстро затихло. Затаилось. Но что-то в воздухе носится... На улицах... Скажу вам... Ну, мы русские, понятно, но и сами киргизы боятся... У них очереди за хлебом, вот они и кричат: “Русские, убирайтесь домой! Киргизия — для киргизов!” — и выталкивают из очереди. И еще что-то по-киргизски, ну, такое, что, мол, им самим хлеба не хватает, а надо нас кормить. Я их язык плохо понимаю, выучила немного слов, чтобы на базаре поторговаться, купить что-нибудь.

У нас была Родина, теперь ее нет. Кто я? Мама — украинка, папа — русский. Родилась и выросла в Киргизии, вышла замуж за татарина. Кто — мои дети? Какая у них национальность? Мы все перемешались, наша кровь перемешалась. В паспорте у меня и у детей записано — русские, а мы — не русские. Мы — советские! Но той страны, где я родилась, нет. Нет ни того места, что мы называли родиной, ни того времени, которое тоже было нашей родиной. Мы теперь, как летучие мыши. У меня пятеро детей: старший сын — в восьмом классе, младшая девочка — в детском садике. Я их сюда привезла. Нашей страны нет, а мы — есть.

Я там родилась, выросла. Строила завод, работала на заводе. “Поезжай туда, где твоя земля, а тут все наше”. Ничего не давали взять, кроме детей: “Тут все наше”. А где мое? Бегут люди. Едут. Все русские люди. Советские. Они нигде не нужны, их никто не ждет.

А я когда-то счастливая была. Все мои дети от любви... Я их так рожала: мальчик, мальчик, мальчик, потом — девочка, девочка. Больше говорить не буду... Заплачу... *(Но добавляет еще несколько слов.)* Мы будем жить тут. Теперь тут — наш дом. Чернобыль — наш дом. Наша родина... *(Вдруг улыбается.)* А птицы здесь такие, как и у нас. И памятник Ленину стоит... *(И у калитки, уже прощаясь.)* Рано утром в соседнем доме стучат молотками, доски с окон снимают. Встречаю женщину: “Откуда вы?” — “Из Чечни”. Ничего не говорит... Ходит в черном платке...

Меня люди встречают... Удивляются... Не понимают... . Что ты, мол, делаешь со своими детьми, ты их убиваешь. Ты — самоубийца. Я не убиваю, я их спасаю. Вон в сорок лет вся седая... В сорок лет! Однажды немецкого журналиста в дом привели, и он спросил: “Привезли бы вы детей туда, где чума или холера?” Так то ж чума и холера... А этого страха, который здесь, я не знаю. Не вижу. Нет его в моей памяти...

Я людей боюсь... Человека с ружьем..."

*Монолог о том, что только во зле человек изоищен
и как он прост и доступен в нехитрых словах любви*

“Бежал я... Бежал от мира... Первое время на вокзалах отирался, вокзалы нравились, что людей много, а ты один. Потом в газетах прочитал – и сюда. Тут вольно. Я бы сказал – рай. Людей нет, одни звери ходят. Живу среди зверей и птиц. Разве я одинок?”

Собственную жизнь забыл... Не спрашивайте... Что читал в книжках — помню, и о чем другие люди рассказывали — помню, а свою жизнь забыл. Дело было молодое... Грех на мне... Нет такого греха, который бы Господь не простил за искренность принесенного покаяния. Так-то... Люди несправедливы, а Господь многотерпелив и многомилостив...

Но... Почему? Нет ответа... Человек не может быть счастливым. Не должен. Увидел Господь одинокого Адама и дал ему Еву. Для счастья, а не для греха. А у человека не получается быть счастливым. Я вот не люблю сумерки. Темноту. Вот этот переход, как сейчас... От света к ночи... Подумаю и не могу понять, где я был раньше... Где моя жизнь? Так-то... Мне безразлично: могу жить и могу не жить. Жизнь человека, яко трава, расцветает, иссушается и вметается в огонь. Я полюбил мыслить... Тут можно одинаково погибнуть и от зверя, и от холода. И от дум. На десятки километров ни одного человека. Беса изгоняют постом и молитвой. Пост — для плоти, молитва — для души. Но я никогда не бываю одинок, верующий человек не может быть одинок. Так-то... Езжу по деревням... Раньше находил макароны, муку. Постное масло и консервы. Теперь на могилках побираюсь. Мертвым оставляют поесть, попить. А оно им не нужно... И они на меня не обижаются... На поле — дикое жито. В лесу — грибы, ягоды. Тут вольно. Много читаю.

Откроем святые страницы... Откровение Иоанна Богослова: “...и упала с неба большая звезда, горящая подобно факелу, и пала на третью часть рек и на источник вод. Имя сей звезде “полынь”. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки...”

Постигаю сие пророчество ...Все уже предсказано, написано в святых книгах, но мы читать не умеем. Не понятливы. Полынь по-украински “чернобыль”. В словах нам был дан знак. Но человек суетлив... Тщеславен... И мал...

Нашел у отца Сергея Булгакова... “Бог создал мир наверняка, то мир не может вовсе не удался” и нужно “мужественно и до конца претерпеть историю”. Так-то... И у кого-то другого... Имя не помню... Помню мысль: “Зло собственно не есть субстанция, но лишение добра, подобно тому, как мрак не другое что есть, как отсутствие света”. Книжки тут найти просто, легко найдешь. Пустого глиняного кувшина уже не подберешь, ложки или вилки, а книжки лежат. Недавно нашел томик Пушкина... “И смерти мысль мила душе моей”. Это запомнил. Так-то... “И смерти мысль”... Я тут один. О смерти думаю. Полюбил мыслить... Тишина способствует приготовлению... Человек живет среди смерти, но не понимает, что такое смерть. А я тут один... Вчера волчицу с волчатами выгнал из школы, жили они там.

Вопрос: истин ли мир, запечатленный в слове? Слово, оно стоит между человеком и душой... Так-то...

А то еще скажу: птицы, деревья, муравьи, — они стали близки мне. Раньше таких чувств не знал. И не предполагал. Тоже у кого-то прочел: “Вселенная над нами и вселенная под нами” Я обо всех думаю. Человек страшен... И необычен... Но тут убивать никого не хочется. Рыбу ужу, есть удочка. Так-то... А в зверя не стреляю... И капканов не ставлю... Мой любимый герой... Князь Мышкин говорил: “Разве можно видеть дерево и не

быть счастливым”. Так-то... Я люблю мыслить. А человек чаще всего жалуется, а не мыслит...

Что разглядывать зло? Оно, конечно, волнует... Грех — это тоже не физика... Необходимо признать несуществующее. Сказано в Библии: “Для посвященного — иначе, для остальных притча”. Взять птицу... Или другое живое... Нам их понять невозможно, потому как они живут для себя, а не для других. Так-то... Вокруг все текущее, одним словом сказать...

Все живое — на четырех ногах, смотрит в землю и к земле тянется. Один человек на земле стоит, а руками и головой к небу поднимается. К молитве... К Богу... Старушка в церкви молится: “Все нам по грехам нашим”. Но ни ученый, ни инженер и ни военный в том не признаются. Они думают: “Мне не в чем каяться. Почему я должен каяться?” Так-то...

Молюсь я просто... Читаю про себя... Господи, возвах меня! Услыши! Только во зле человек изощрен. Но как он прост и доступен в нехитрых словах любви. Слово даже у философов приблизительно по отношению к той мысли, которую они прочувствовали. Слово абсолютно соответствует тому, что в душе, только в молитве, в молитвенной мысли. Я физически это ощущаю. Господи, возвах меня! Услыши!

И человек тоже...

Я боюсь человека. И всегда хочу его встретить. Хорошего человека. Так-то... Тут или бандиты живут, прячутся, или такой человек, как я. Мученик.

Какая фамилия? Паспорта у меня нету. Забрала милиция... Била: “Чего шляешься?” — “Я не шляюсь — я каюсь”. Еще крепче били. Били по голове... Так что напишите: раб божий Николай...

Уже — свободный человек...”

Солдатский хор

Артем Бахтияров, рядовой, Олег Леонтьевич Воробей, ликвидатор, Василий Иосифович Гусинович, водитель-разведчик, Геннадий Викторович Деменев, милиционер, Виталий Борисович Карбалевич, ликвидатор, Валентин Комков, водитель, рядовой, Эдуард Борисович Коротков, вертолетчик, Игорь Литвин, ликвидатор, Иван Александрович Лукашук, рядовой, Александр Иванович Михалевич, дозиметрист, Олег Леонидович Павлов, майор, вертолетчик, Анатолий Борисович Рыбак, командир взвода охраны, Виктор Санько, рядовой, Григорий Николаевич Хворост, ликвидатор, Александр Васильевич Шинкевич, милиционер, Владимир Петрович Швед, капитан, Александр Михайлович Ясинский, милиционер.

“Наш полк подняли по тревоге.... Долго ехали. Ничего конкретного никто не говорил. Только в Москве на Белорусском вокзале объявили, куда нас везут. Один парень, кажется, из Ленинграда, запротестовал: “Я хочу жить”. Ему пригрозили трибуналом. Командир так и сказал перед строем: “В тюрьму или под расстрел пойдешь”. У меня были другие чувства. Все наоборот. Хотелось чего-то героического. Испытать свой характер. Может быть, детский порыв? Но таких, как я, оказалось больше, у нас служили ребята со всего Советского Союза. Русские, украинцы, казаки, армяне... Было тревожно и почему-то весело.

Ну, привезли нас... Привезли на самую станцию. Дали белый халат и белую шапочку. Марлевую повязку. Чистили территорию. День выгребали, скоблили внизу, день — наверху, на крыше реактора. Всюду с лопатой. Тех, кто поднимался наверх, “аистами” звали. Роботы не выдерживали, техника сходила с ума. А мы работали. Случалось – кровь из ушей шла, из носа. Першило в горле. Резало в глазах. Постоянно слышался монотонный звук в ушах. Хотелось пить, но аппетита не было. Физзарядка запрещалась, чтобы радиацией зря не дышать. А ездили на работу в кузовах открытых машин.

Но хорошо работали. И очень этим гордились...”

“Мы въехали... Стоял знак “Запретная зона”. Я не был на войне, но ощущение чего-то знакомого... Откуда-то из памяти... Откуда? Что-то связанное со смертью...

На дорогах встречали одичавших собак, котов. Иногда они вели себя странно, не узнавали людей, бежали от нас. Я не понимал, что с ними, пока нам не приказали их отстреливать... Дома опечатаны, колхозная техника брошена... Интересно посмотреть. Никого нет, только мы, милиция, патрулируем. Заходишь в дом — фотографии висят, а людей нет. Документы валяются: комсомольские билеты, удостоверения, похвальные грамоты... В одном доме взяли телевизор на время, напрокат, но чтобы кто-то что-то брал домой, я не замечал. Во-первых, было ощущение, что люди вот-вот вернуться... Во-вторых, это... что-то связанное со смертью...

Ездили к блоку, к самому реактору. Фотографироваться... Хотелось дома похвастаться... Страх был и в то же время интерес непреодолимый: что же это такое? Я, например, отказался, у меня жена молодая, не рискнул, а ребята выпивали по двести граммов и ехали... Так... *(Помолчав)*. Вернулись живые – значит все нормально.

Заступал в ночное дежурство. Патрулируем... Ясная луна. Фонарь такой висит.

Деревенская улица... Ни одного человека... Первое время еще горел в домах свет, потом свет отключили. Едем — из дверей школы нам наперерез несется дикий кабан. Или лиса. Звери жили в домах, школах, клубах. А там висели плакаты: “Наша цель — счастье всего человечества”, “Победит мировой пролетариат”, “Идеи Ленина — будут жить вечно”. В колхозных конторах — красные флаги, новенькие вымпелы, стопки тисненых грамот с профилями вождей. На стенах — портреты вождей, на столах —

гипсовые вожжи. Всюду военные памятники...Других памятников не встречал. Наскоро слепленные дома, серые бетонные коровники, ржавые сенажные башни... И снова — маленькие и большие Курганы Славы... “И это наша жизнь? — спрашивал я у себя, посмотрев на все другими глазами. — Это мы так живем?” Будто военное племя снялось с временной стоянки... Куда-то унеслось...

Чернобыль взорвал мои мозги ... Я стал думать...

“Брошенный дом... Закрытый. Котенок на окне. Думал, что он — глиняный. Подхожу: живой. Объел все цветы в горшках. Герани. Как он туда попал? Или его забыли?”

На дверях записка: “Милый прохожий, не ищи дорогих вещей. Их у нас не было. Пользуйся всем, но не мародерствуй. Мы вернемся”. На других домах видел надписи разной краской: “Прости нас, родной дом!” С домом прощались, как с человеком. Писали: “уезжаем утром” или “уезжаем вечером”, ставили число и даже часы и минуты. Записки детским почерком на листках из ученических тетрадок: “Не бей кошку. Крысы поедят все.” Или “Не убивай нашу Жульку. Она — хорошая.” (*Закрывает глаза*). Я все забыл ... Я помню только, что туда поехал, а больше ничего не помню. Я все забыл ... На третий год после дембеля что-то с памятью случилось ...Даже врачи не понимают... Деньги сосчитать не могу — сбиваюсь. Скитаюсь по больницам...

Я уже рассказывал или нет? Подходишь и думаешь — дом пустой. Откроешь — один кот сидит ... Ну, и эти записки детские...”

“Призвали на службу...

А служба такая: не пропускать в выселенные деревни местных жителей. Стояли заслонами вблизи дорог, строили землянки, наблюдательные вышки. Звали нас почему-то “партизанами”. Мирная жизнь... А мы стоим... Одеты по-военному... Крестьяне не понимали, почему, например, нельзя забрать со своего двора ведро, кувшин, пилу или топор. Собрать урожай. Как им объяснить? В самом деле: по одну сторону дороги солдаты стоят, не пускают, а по другую коров пасут, гудят комбайны и молотят зерно. Соберутся бабы и плачут: “Хлопчики, пустите... То ж наша земля... Наши хаты...” Яйца, сало несут, самогонку. Пустите ... Плакали по отравленной земле... Мебели.... Вещам....

А у нас служба такая: не пускать. Бабка несет корзину яиц — конфисковать и закопать. Подоила корову, несет ведро молока. С ней солдат. Похоронить молоко... Выкопали они тайком свою бульбочку — забрать. И свеклу, и лук, и тыкву. Похоронить... По инструкции... А всё уродило на славу, завидно. И красота вокруг. Золотая осень. У всех были сумасшедшие лица. И у них, и у нас.

А в газетах трубили про наш героизм... Какие мы героические парни... Комсомольцы — добровольцы!

А кто мы были на самом деле? Что мы делали? Я хотел бы об этом узнать... Прочитать... Хотя я сам там был...”

“Я — военный человек, мне прикажут — я должен...Я дал присягу...

Но это не все...Героический порыв, он тоже был. Его воспитывали... Он нам внушался еще со школы. От родителей. И там политработники выступали. Радио, телевидение. Разные люди реагировали по-разному: одни хотели, чтобы у них взяли интервью, напечатали в газете, другие смотрели на все, как на работу, третьи... Я их встречал, они жили с чувством, что совершают героический поступок. Участвуют в истории. Нам хорошо платили, но вопрос денег как бы не стоял. Зарплата моя — четыреста рублей, а там я получал тысячу (в тех, советских рублях). По тем временам

большие деньги. Нас потом упрекали: “Деньжища лопатой гребли, а вернулись — подавай им машины, мебельные гарнитуры без очереди”. Обидно, конечно. Потому что был и героический порыв...

Перед тем, как ехать туда, страх появился. На короткое время. А там страх исчезал. Если бы я мог увидеть — этот страх... Приказ. Работа. Задание. У меня был интерес посмотреть на реактор сверху, с вертолета: что там случилось на самом деле, как это выглядит? Но это делать запрещалось. В карточку мне записали двадцать один рентген, но я не уверен, что это на самом деле так. Принцип был самый простой: прилетаешь в райцентр Чернобыль (это, кстати, маленький районный городишко, а не что-то такое грандиозное, как я себе представлял), там сидит дозиметрист, в десяти—пятнадцати километрах от станции, он производил замеры фона. Эти замеры потом умножались на количество часов, которые мы налетали за день. Но я оттуда поднялся на вертолете и полетел на реактор: туда — назад, проход в двух направлениях, сегодня там — восемьдесят рентген, завтра — сто двадцать... Ночью кружусь над реактором — два часа. Производили съемку в инфракрасных лучах, куски разбросанного графита на пленке как бы “засвечивались”... Днем их нельзя было увидеть...

Разговаривал с учеными. Один: “Я могу вот этот ваш вертолет языком вылизать, и со мной ничего не случится”. А другой: “Ребята, вы что без защиты летаете? Жизнь себе укорачиваете? Обшивайтесь! Обклепывайтесь!” Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Выложили сиденья свинцовыми листами, вырезали нагрудные жилеты... Из тонкого листового свинца... Но, оказывается, от одних лучей они защищают, а от других — нет. Лица у всех стали красные, обожженные, не могли бриться. Летали с утра до ночи. Фантастического ничего не было. Работа. Тяжелая работа. Ночью сидели у телевизора, как раз в то время проходил чемпионат мира по футболу. Разговоры, конечно и о футболе.

Задумываться мы стали... Как бы не соврать... Наверное, года через три-четыре... Когда один заболел, второй... Кто-то умер... Сошел с ума... Покончил с собой... Тогда начали задумываться. А пойдем что-нибудь, я думаю, через двадцать-тридцать лет. У меня — Афган (я там был два года) и Чернобыль (я там был три месяца) — самые яркие моменты в жизни...

Родителям не сообщал, что направили в Чернобыль. Брат случайно купил газету “Известия” и увидел там мой портрет, приносит матери: “На, смотри — герой!” Мать заплакала...”

“Мы двигались к станции...”

А навстречу нам шли колонны с эвакуированными людьми. Гнали технику. Скот. День и ночь. Среди мирной жизни...

Ехали... И я, знаете, что увидел? По обочинам дороги. Под солнечными лучами... Тончайший блеск... Что-то кристаллическое блестящее... Мельчайшие частички... Ехали в сторону Калинковичей, через Мозырь. Что-то переливалось... Переговорили мы между собой. Удивились. В деревнях, где работали, на листьях сразу заметили прожженные дырочки, особенно на вишне. Рвали огурцы, помидоры — и там на листьях черные дырочки... Осень. Пунцовые от ягод кусты смородины, от яблок ветки до земли гнутся — конечно, не удержишься. Съешь. Объясняли нам, что нельзя. А мы ругались и ели.

Поехал... Хотя мог не ехать. Добровольцем попросился. В первые дни равнодушных там не встречал, это потом вакуум в глазах, когда пообвыкли. Орденки урвать? Льготы. Чепуха! Мне лично ничего не надо было. Квартира, машина... Что еще? А, дача... Все имел. Срабатывал мужской азарт... Едут настоящие мужики на настоящее дело. А остальные? Пускай сидят под бабьими юбками... У одного, принес справку, жена рождает,

у другого маленький ребенок... Да, рискованно. Да, опасно – радиация, но делать-то кому-то надо. А как наши отцы в войну?

Возвратились домой. Все с себя снял, всю одежду, в которой там был, и выбросил в мусоропровод. А пилотку подарил маленькому сыну. Очень он просил. Носил, не снимая. Через два года ему поставили диагноз: опухоль мозга...

Дальше допишите сами... Я не хочу дальше говорить...”

“Я только вернулся из Афганистана ... Жить хотел. Жениться. Сразу хотел жениться...”

А тут — повестка с красной полосой “Спецсборы” — в течение часа явиться по указанному адресу. Мать сразу плакать. Она решила, что меня опять забирают на войну.

Куда везут? Зачем? Информация слабая. Ну, взорвался реактор... Ну и что? В Слуцке переодели, обмундировали и тут приоткрылось, что едем в райцентр Хойники. Прибыли в Хойники, там люди еще ничего не знали. Они, как и мы, первый раз видели дозиметр. Повезли дальше, в деревню... А там играют свадьбу: молодые целуются, музыка, пьют самогон. Свадьба как свадьба. А нам приказ: срезать грунт на штык... Вырубать деревья...

Сначала выдали оружие. Автоматы. На случай нападения американцев... На политзанятиях читали лекции о диверсиях западных спецслужб. Их подрывной работе. Вечером мы оставляли оружие в отдельной палатке. Посреди лагеря. Через месяц его увезли. Никаких диверсантов. Рентгены... Кюри...

Девятого мая — на День Победы приехал генерал. Построили нас, поздравили с праздником. Один из строя осмелился и спросил: “Почему скрывают, какой радиофон? Какие получаем дозы?” Один такой нашелся. Так его, когда генерал отбыл, вызвал командир части и дал нахлобучку: “Провокации устраиваешь! Паникер!!” Через пару дней какие-то противогазы выдали, но никто ими не пользовался. Дозиметры два раза показывали, но в руки никому не дали. Раз в три месяца отпускали домой на пару дней. Наказ один: купить водки. Я притянул на себе два рюкзаки с бутылками. На руках качали.

Перед отправкой домой всех вызывал “кэзгбешник” и убедительно советовал: нигде и никому не рассказывать о том, что мы видели. Из Афгана я вернулся, я знал — буду жить! А в Чернобыле всё наоборот: убьёт именно тогда, когда ты — уже дома.

Вернулся ... А всё только начинается...”

“Что запомнилось...Врезалось в память?”

Целый день мотаюсь по деревням... С дозиметристами... И ни одна из женщин не предложит яблоко... У мужчин страха меньше, принесут самогон, сало: “Давай пообедаем”. И отказываться неудобно, и пообедать чистым цезием — мало радости. Выпьешь. Без закуски.

Белые грибы хрустели под колесами машин. Разве это нормально? В реке плавали толстые и ленивые сомы, раз в пять-семь больше привычного. Разве это нормально? Разве...

В одной деревне все-таки усадили за стол... жареная баранина... Хозяин подвыпил и признался: “Молодой барашек. Зарезал, потому что не мог на него смотреть. Ну, и уродина! Есть даже неохота”. Я — хлоп стакан самогона. После этих слов... Хозяин смеется: “Мы тут адаптировались, как колорадские жуки.”

Поднесли дозиметр к дому – зашкаливает...”

“Десять лет прошло... Уже как будто этого и не было, если бы не заболел, забыл...

Надо Родине служить! Родине служить — святое дело. Получил: нательное белье, портянки, сапоги, погоны, пилотку, брюки, гимнастерку, ремень, вещмешок. В путь! Дали

самосвал. Везил бетон. Сажу в кабине и верю, что железо и стекло меня защищают. Была — не была... Пронесет... Молодые ребята. Неженатые. Респираторы с собой не брали... Нет, одного помню... Пожилой водитель... Вот он всегда — в маске А мы — нет. Гаишники стояли без масок. Мы — в кабине, а они — в радиоактивной пыли стояли по восемь часов. Всем хорошо платили: три зарплаты плюс командировочные. Употребляли... Водка, знали, помогает. Первейшее средство для восстановления защитных свойств организма после радиоактивного облучения. И снимает стресс. Неслучайно в войну давали знаменитые наркомовские сто граммов. Обычная картина: пьяный милиционер штрафует пьяного водителя.

Не пишите о чудесах советского героизма. Они были... Чудеса! Но сначала — халатность, безалаберность, а потом чудеса. Закрывать амбразуру... Грудью на пулемет... А что в принципе не должно быть такого приказа, об этом никто не пишет. Швыряли нас туда, как песок на реактор... Как мешки с песком. Каждый день вывешивался новый “боевой листок”: “работают мужественно и самоотверженно”, “выстоим и победим...” Называли красиво “солдатами огня”...

Дали мне за подвиг грамоту и тысячу рублей...”

“Поначалу недоумение... Ощущение, что военные учения... Игра...”

Но это была настоящая война. Атомная война... Нам неизвестная: что страшно и что не страшно, чего опасаться и чего не опасаться? Никто не знал. И спросить было не у кого. Настоящая эвакуация... На вокзалах... Что творилось на вокзалах? Мы помогали заталкивать детей в окна вагонов... Наводили порядок в очередях... Очереди за билетами в кассах, за йодом у аптек. В очередях ругались матом и дрались. Ломали двери в винных ларьках и магазинах. Разбивали, выламывали в окнах железные решетки. Тысячи переселенцев... Они жили в клубах, школах, детских садах. Ходили полуголодные. Деньги у всех быстро кончались. В магазинах все скупили...

Я не забуду женщин, которые стирали наше белье. Стиральных машин не было, о них не подумали, не завезли. Стирали вручную. Все женщины — пожилые. Руки у них — в волдырях, струпьях. Белье не просто грязное, там десятки рентген... “Хлопчики, поешьте...”, “Хлопчики, поспите...”, “Хлопчики, вы ж молодые... Берегитесь...” Жалели нас и плакали.

Живы ли они сейчас?

Двадцать шестого апреля каждый год мы собираемся, те, кто там был. Те, кто теперь еще остался. Вспоминаем то время. Ты был солдатом на войне, ты был нужен. Плохое забылось, а это осталось. Осталось то, что без тебя не могли обойтись... Тебя востребовали... Наша система, военная в общем-то, она отлично срабатывает в чрезвычайных обстоятельствах. Ты, наконец, там свободен и необходим. Свобода! И русский человек в такие моменты показывает, как он велик! Уникален! Голландцами или немцами никогда не станем. И не будет у нас долговечного асфальта и ухоженных газонов. А герои всегда найдутся!...”

“Моя история...”

Бросили клич — я пошел. Надо! Был членом партии. Коммунисты, вперед! Такая обстановка. Я в милиции работал. Старший сержант. Пообещали мне новую “звездочку”. Это был июнь восемьдесят седьмого года... Надо медкомиссию обязательно пройти, но меня отправили без проверки. Кто-то там, как говорится, отмазался, принес справку, что у него язва желудка, и меня вместо него. Срочно. Такая обстановка... (Смеется). Анекдоты уже к тому времени появились. В момент... Приходит муж с работы и жалуется жене:

“Сказали: завтра — или в Чернобыль, или партбилет на стол”. — “Так ты же беспартийный?” — “Вот я и думаю: где я им к утру партбилет возьму”.

Ехали, как военные люди, а из нас на первое время организовали бригаду каменщиков. Строили аптеку. У меня сразу слабость, сонливость какая-то. По ночам — кашель. Я — к врачу: “Все нормально. Жара”. В столовую привозили из колхоза мясо, молоко, сметану, мы ели. Врач ни к чему не притрагивался. Сготовят еду, он в журнале отметит, что все в норме, но пробу сам не снимал. Мы это замечали. Такая обстановка. Отчаянные были. Началась клубника. Полные ульи меда...

Уже начинали лазить мародеры. Тащили все. Мы заколачивали окна, двери. Опечатывали в колхозных конторах сейфы, сельские библиотеки. Затем отключали инженерные коммуникации, обесточивали здания на случай пожара.

Магазины разграблены, решетки на окнах выдраны. Мука, сахар под ногами, растоптанные конфеты... Разбитые банки... Из одной деревни людей выселили, а через пять-десять километров люди живут. Вещи из брошенной деревни перекочевали к ним. Такая обстановка... Мы охраняем... Приезжает бывший председатель колхоза с местными людьми, их уже где-то поселили, дали дома, но они возвращаются сюда убирать жито, сеять. Вывозили сено в тюках. В тюках мы находили спрятанные швейные машинки, мотоциклы, телевизоры. А излучение такое шло, что телевизоры не работали... Бартер: они тебе бутылку самогона — ты им разрешение на провоз детской коляски. Продавали, выменивали трактора, сеялки. Одна бутылка... Десять бутылок... Деньги никого не интересовали... (Смеется.) Как при коммунизме... На все существовала такса: канистра бензина — пол-литра самогона, каракулевая шуба — два литра, мотоцикл — как сторгуешься... Я через полгода отбыл, согласно штатному расписанию, срок был полгода. Потом присылали замену. Нас малость задержали, потому что из Прибалтики отказались ехать. Такая обстановка... Но я знаю, что разворовали, вывезли все, что можно было поднять и увезти. Пробирки из школьных химических лабораторий тащили. Зону перевезли сюда... Ищите на рынках, в комиссионных магазинах, на дачах...

Осталась за проволокой только земля... И могилы... Наше прошлое — наша большая страна...”

“Прибыли на место... Переобмундировались...”

Вопрос: куда мы попали? “Авария, — успокаивает нас капитан, — случилась давно. Три месяца назад. Уже не страшно”. Сержант: “Все хорошо, только мойте руки перед едой”.

Служил дозиметристом. Как стемнеет, к нашему вахтовому вагончику подъезжают ребята на машинах. Деньги, сигареты, водка... Дай только в конфискованном барахле порыться. Паковали сумки. Куда везли? Наверное, в Киев... В Минск... На барахолки... То, что оставалось, мы хоронили. Платья, сапоги, стулья, гармошки, швейные машинки... Закапывали в ямы, которые называли “братскими могилами”.

Домой приехал. Иду на танцы. Понравилась девчонка:

— Давай дружить.

— Зачем? Ты теперь чернобыльский. Кто за тебя замуж пойдет?

С другой познакомился. Целуемся. Обнимаемся. Дело до загса доходит.

— Давай поженимся, — предложил.

И вопрос вроде того: а ты разве можешь? Способен...

Я бы уехал... И, наверное, уеду. Да вот родителей жалко...”

“У меня своя память...”

Официальная моя должность там — командир взвода охраны... Что-то вроде директора зоны апокалипсиса. (*Смеется.*) Так и напишите.

Задерживаем машину из Припяти. Город уже эвакуирован, людей нет. “Предъявите документы”. Документов нет. Кузов накрыт брезентом. Поднимаем брезент: двадцать чайных сервизов, как сейчас помню, мебельная стенка, мягкий угол, телевизор, ковры, велосипеды...

Составляю протокол.

Привозят мясо для захоронения в могильниках. В говяжьих тушах отсутствуют стегна. Вырезка.

Составляю протокол.

Поступило донесение: в брошенной деревне разбирают дом. Нумеруют и укладывают бревна на трактор с прицепом. Срочно отправляемся по указанному адресу. “Налетчики” задержаны. Хотели вывезти строение и продать под дачу. Уже аванс от будущих хозяев получили.

Составляю протокол.

В пустых деревнях бегали одичавшие свиньи. А собаки и кошки ждали людей возле своих калиток. Сторожили пустые дома.

Постоишь возле братской могилы... Треснутый камень с фамилиями: капитан Бородин, старший лейтенант... Длинные столбцы, как стихи — фамилии рядовых... Репейник, крапива, лопухи...

Вдруг досмотренный огород. За плугом ступает хозяин, увидел нас:

— Хлопцы, не кричите. Мы уже подписку дали: весной уедем.

— А зачем тогда огород перепахиваете?

— Так это ж осенние работы...

Я понимаю, но я должен составить протокол...”

“Да, пошли вы все...”

У меня жена забрала ребенка и ушла. Сука! Но я не повешусь, как Ванька Котов... И не брошусь с седьмого этажа. Сука!! Когда я оттуда прикатил с чемоданом денег... Машину купили, ей — шубу норковую... Она — сука жила со мной. Не боялась. (*Неожиданно поет*)

*Даже тысяча рентген
Не положит русский член...*

Хорошая частушка. Оттуда. Хотите анекдот? (*Тут же начинает рассказывать.*) Муж возвращается домой... Из-под реактора... Жена спрашивает у врача: “Что делать с мужем?” — “Помыть, обнять, дезактивировать”. Сука! Она меня боится... Забрала ребенка... (*Неожиданно серьезно.*) Солдаты работали... Возле реактора... Я их водил на смену и со смены: “Ребята, считаю до ста. Все! Вперед!” У меня, как и у всех, висел на шее счетчик-накопитель. После смены я их собирал и сдавал в первый отдел... Секретный... Там снимали показания, записывали вроде бы что-то в наши карточки, но, сколько рентген каждому попало — военная тайна. Суки! Б... Проходит какое-то время, тебе говорят: “Стоп! Больше нельзя!” Вся медицинская информация... Даже при отъезде не сказали — сколько? Суки! Б... Теперь они дерутся за власть... За портфели... У них — выборы... Еще хотите анекдот? После Чернобыля можно есть все, но свое дерьмо — хоронить в свинце. Ха-ха-ха... Жизнь прекрасна, падла, но так коротка...

Как нас лечить? Никаких документов мы не привезли. Я искал... Запрашивал по инстанциям... Получил и храню три ответа. Ответ первый: документы уничтожены в связи с тем, что срок их хранения — три года, второй — документы уничтожены во время постперестроечного сокращения армии и расформирования частей, третий — документы

уничтожены, потому что были радиоактивны. А, может, их уничтожили, чтобы никто не узнал правду? Мы – свидетели. Но мы скоро умрем... Чем помочь нашим врачам? Мне бы сейчас справочку: сколько? Чего я там набрал? Я бы своей суке показал... Я еще ей докажу, что мы выживем в любых условиях и будем жениться и рожать.

А вот... Молитва ликвидатора: “Господи, если ты сделал так, что я не могу, то сделай так, чтобы я не хотел”. Пошли вы все в ж..!”

“Начиналось... Все начиналось, как детектив...”

Во время обеда – звонок на завод: рядовому запаса такому-то... явиться в городской военкомат, чтобы что-то уточнить в документах. Причем - срочно. А в военкомате... Таких, как я, было много, нас встречал капитан и каждому повторял: “Завтра поедете в поселок Красное, где будете проходить военные сборы”. Утром следующего дня все собрались возле здания военкомата. Забрали у нас гражданские документы, военные билеты и посадили в автобусы. И повезли в неизвестном направлении. О военных сборах уже никто не заикался. Сопровождавшие нас офицеры на все вопросы отвечали молчанием. “Братцы! А если в Чернобыль?!” - догадался кто-то. Команда: “Замолчать! За паникерские настроения – военный трибунал по законам военного времени.” Через какое-то время объяснение: “Мы находимся на военном положении. Никаких лишних разговорчиков! Кто оставит Родину в беде – тот предатель”.

В первый день – увидели атомную станцию издали. На второй уже убирали вокруг нее мусор... Таскали ведрами... Гребли обыкновенными лопатами, зачищали метлами, с которыми дворники работают. Скребками. А ясное дело – лопата приспособлена для песка и щебня. Но не для мусора, в котором находили все: куски пленки, арматуры, дерева и бетона. Как говорится, на атом с лопатой. Двадцатый век... Трактора и бульдозеры, которые там применялись, были без водителя, радиоуправляемые, а мы шли за ними и подгребали остатки. Дышали этой пылью. Меняли за смену до тридцати “лепестков Истриякова”, в народе их звали “намордниками”. Неудобная и несовершенная вещь. Часто их срывали... Дышать невозможно, особенно в жару. Под солнцем.

После всего... Еще три месяца проходили военные сборы... Стреляли по мишеням. Учили новый автомат. На случай ядерной войны... (С иронией.) Я так понимаю... Нас даже не переодели. Ходили в тех же гимнастерках, в сапогах, в каких были возле реактора.

Ну, и дали подписать бумагу... О неразглашении... Я молчал... А если бы дали говорить, кому бы я мог рассказать? Сразу после армии стал инвалидом второй группы. В двадцать два года. Работал на заводе. Начальник цеха: “Прекрати болеть, а то сократим”. Сократили. Пошел к директору: “Не имеете права. Я — чернобылец. Я вас спасал. Защищал!” — “Мы тебя туда не посылали”.

По ночам просыпаюсь от маминого голоса: “Сыночек, почему ты молчишь? Ты же не спишь, ты лежишь с открытыми глазами. И свет у тебя горит...” Я молчу... Кто готов меня выслушать? Заговорить со мной так, чтобы я ответил... На моем языке...

Я одинок...”

“Уже не боюсь смерти... Самой смерти...”

Но не понятно, как буду умирать... Друг умирал... Увеличился, раздулся... С бочку... А сосед... Тоже там был, крановщик. Он стал черный, как уголь, высох до детского размера. Не понятно, как буду умирать... Если бы я просил смерти, то обыкновенной. Не чернобыльской. Одно мне точно известно: с моим диагнозом долго не протянешь. Почувствовать бы момент, и пулю — в лоб. Я был и в Афгане... Там с этим легче... С пулей...

В Афганистан я поехал добровольцем. И в Чернобыль тоже. Сам попросился. Работал в городе Припять. Город был опоясан двумя рядами колючей проволоки, как на государственной границе. Чистенькие многоэтажные дома и улицы, покрытые толстым слоем песка, с вырубленными деревьями... Кадры из фантастического фильма... Мы выполняли приказ – “постирать” город и заменить в нем зараженную почву на глубине двадцати сантиметров таким же слоем песка. Выходных дней не было. Как на войне. Храню газетную вырезку... Об операторе Леониде Топтунове, это он в ту ночь дежурил на станции и нажал на красную кнопку аварийной защиты за несколько минут до взрыва. Она не сработала... Его лечили в Москве. “Чтобы спасти, нужно тело”, — разводили руками врачи. А у него осталось одно-единственное чистое, необлученное пятнышко на спине. Похоронили на Митинском кладбище. Гроб выложили внутри фольгой... Над ним полтора метра бетонных плит, со свинцовой прокладкой. Приедет отец... Стоит, плачет... Идут мимо люди: “Твой сукин сын взорвал!” А он был всего лишь оператор... А похоронен, как пришелец из космоса...

Лучше бы я погиб в Афгане! Честно скажу, наваливаются такие мысли. Там смерть была делом обыкновенным... Понятным...”

“С вертолета...

Шел низко над землей, наблюдал... Косули, дикие кабаны... Худые, сонные. Как на замедленной съемке двигаются... Они питались травой, что там росла и пили воду. Не понимали — им тоже надо уйти. Вместе с людьми уйти...

Ехать — не ехать? Лететь — не лететь? Я — коммунист, как я мог не лететь? Двое штурманов отказались, что, мол, жены молодые у них, детей еще нет, их пристыдили. Карьера кончилась! Был еще мужской суд. Суд чести! Это, понимаете, азарт — он не смог, а я пойду. Теперь я думаю иначе... После девяти операций и двух инфарктов... Теперь я никого не сужу, я их понимаю. Молодые ребята. Но сам все равно бы полетел... Это точно. Он — не смог, а я — пойду. Мужское!

Сверху... С высоты... Поражало количество техники: тяжелые вертолеты, средние вертолеты... МИ-24 — это боевой вертолет... Что можно было делать на боевом вертолете в Чернобыле? Или на военном истребителе МИ-2? Летчики... Молодые ребята... Стоят в лесу возле реактора, хватают рентгены. Приказ! Военный приказ! Но зачем было посылать туда такое количество людей, облучать? Зачем?! (Срывается на крик). Требовались специалисты, а не человеческий материал. Сверху... Видно... Разрушенное здание, груды обвалившегося хлама... И гигантское количество маленьких человеческих фигурок. Стоял какой-то фээргэсовский кран, но мертвый, немного по крыше прошел и помер. Роботы умирали... Наши роботы, созданные академиком Лукачевым для исследований на Марсе... Японский робот, внешне похожий на человека... Но... У них, видно сгорала вся начинка от высокой радиации. Солдатики в резиновых костюмах, в резиновых перчатках бегали... Такие маленькие, если смотреть с неба...

Я всё запоминал... Я думал, что расскажу сыну... А приехал: “Папа, что там?” — “Война.” Я не нашел своих слов...”

Глава вторая

Венец творения

Монолог о старых пророчествах

“Моя девочка... Она не такая, как все... Вот она подрастет, и она меня спросит: “Почему я не такая?”

Когда она родилась... Это был не ребенок, а живой мешочек, зашитый со всех сторон, ни одной щелочки, только глазки открыты. В медицинской карточке записано: “девочка, рожденная с множественной комплексной патологией: аплазия ануса, аплазия влагалища, аплазия левой почки”... Так это звучит на научном языке, а на обыкновенном: ни писи, ни попки, одна почка... Я несла ее на второй день на операцию, на второй день ее жизни... Она открыла глазки, словно и улыбнулась, а я сначала подумала, что хочет заплакать... О, господи, она улыбнулась! Такие, как она, не живут, такие сразу умирают. Она не умерла, потому что я ее люблю. За четыре года — четыре операции. Это единственный ребенок в Беларуси, выживший с такой комплексной патологией. Я ее очень люблю. *(Останавливается.)* Я никого больше не смогу родить. Не осмелюсь. Вернулась из роддома: муж поцелует ночью, я вся дрожу — нам нельзя... Грех... Страх... Слышала, как врачи между собой говорили: “Девочка не в рубашке родилась, а в панцире. Показать по телевизору, ни одна мать не рожала бы”. Это они о нашей девочке... Как нам после этого любить друг друга?!

Ходила в церковь. Рассказала батюшке. Он говорит, что надо отмаливать грехи свои. Но в нашем роду никто никого не убил... В чем я виновата? Сначала наш поселок хотели эвакуировать, а потом вычеркнули из списков: не хватило у государства денег. А я в это время полюбила. Вышла замуж. Я не знала, что нам здесь нельзя любить... Много лет назад моя бабушка читала в Библии, что наступит на земле время, когда всего будет в изобилии, все будет цвести и плодоносить, в реках станет полно рыбы, а в лесах зверя, но воспользоваться этим человек не сможет. Он не сможет и породить себе подобного, продлить бессмертие. Я слушала старые пророчества, как страшную сказку. Не верила. Расскажите всем о моей девочке. Напишите. В четыре года она поет, танцует, читает наизусть стихи. У нее нормальное умственное развитие, она ничем не отличается от других детей, у нее только другие игры. Она не играет в “магазин”, “в школу”, она играет с куклами “в больницу”: делает им уколы, ставит градусник, назначает капельницу, кукла умирает, — накрывает ее белой простыней. Четыре года мы с ней живем в больнице, ее нельзя оставить там одну, и она не знает, что жить надо дома. Когда забираю ее на месяц-два домой, спрашивает: “А мы скоро вернемся в больницу?” Там у нее друзья, они там живут, растут. Ей сделали попку... Формируют влагалище... После последней операции полностью прекратилось мочеиспускание, катетор вставить не удалось — нужно еще несколько операций. Но дальше советуют оперироваться за границей. А где нам взять десятки тысяч долларов, если муж получает сто двадцать долларов в месяц? Один профессор по секрету, посоветовал: “С такой патологией ваш ребенок представляет большой интерес для науки. Пишите в зарубежные клиники. Их должно это заинтересовать”. И я пишу... *(Старается не заплакать)*. Я пишу, что каждые полчаса приходится выдавливать мочу руками, моча исходит через точечные отверстия в области влагалища. Если это не делать, откажет единственная почка. Где еще в мире есть ребенок, которому каждые полчаса надо выдавливать мочу руками? И сколько это можно выдержать? *(Плачет.)* Я не разрешаю себе плакать... Мне нельзя плакать... Стучу во все двери. Пишу. Возьмите мою девочку, пусть для опытов... Для научных исследований...

... Я согласна, чтобы она стала подопытным лягушонком, подопытным кроликом, только бы она выжила. *(Плачет)* Десятки писем написала... О, Господи!

Пока она не понимает, но когда-нибудь нас спросит: почему она не такая, как все? Почему ее не сможет полюбить мужчина? Почему ей нельзя родить ребенка? Почему у нее никогда не произойдет то, что происходит у бабочки... у птицы... у всех, но только не у нее... Я хотела... Я должна была доказать... Чтобы... Я хотела получить документы... Чтобы она выросла и узнала: это не мы с мужем виноваты... Не наша любовь... *(Снова старается не заплакать.)* Четыре года воевала... С врачами, с чиновниками... Добивалась приема в высоких кабинетах... Только через четыре года мне выдали медицинскую справку, подтверждающую связь ионизирующей радиации (малых доз) с ее страшной патологией. Мне отказывали четыре года, мне твердили: “Ваша девочка — инвалид детства”. Какой же она инвалид детства? Она — инвалид Чернобыля. Я изучила свое родословное древо: не случилось у нас в роду такого, до восьмидесяти-девяноста лет все жили, мой дедушка — до девяноста четырех. Врачи оправдывались: “У нас — инструкция. Подобные случаи мы пока должны оценивать, как общее заболевание. Вот через двадцать-тридцать лет, когда накопится банк данных, начнем связывать болезни с ионизирующей радиацией. С малыми дозами... С тем, что мы едим и пьем на нашей земле... А пока медицине и науке об этом мало что известно”. Но я не могу ждать двадцать-тридцать лет. Полжизни! Хотела подать на них в суд... На государство... Меня называли сумасшедшей, смеялись, мол, такие дети рождались и в Древней Греции. И в старом Китае. Один чиновник кричал: “Чернобыльских льгот захотела! Чернобыльских денег!” Как я не потеряла сознание в его кабинете... Как не умерла там от разрыва сердца... Но мне нельзя...

Они не могли понять одного... Не хотели... Мне надо было знать, что это не мы с мужем виноваты... Не наша любовь... *(Повернулась к окну и тихо плачет.)*

Это девочка растет... Все равно девочка... Не хочу, чтобы называли фамилию... Даже соседи наши... На одной лестничной площадке всего не знают. Надену ей платице, заплету косичку: “Катенька ваша такая красивая”, — говорят они мне. А сама я так странно смотрю на беременных женщин... Как будто издали... Из-за угла... Не смотрю, а подсматриваю... Во мне смесь разных чувств: удивления и ужаса, зависти и радости, какой-то даже мстительности. Как-то словила себя на мысли, что с тем же чувством смотрю на беременную соседскую собаку... На аистиху в гнезде...

Моя девочка...”

Лариса З., мать

Монолог о лунном пейзаже

“Я вдруг стал сомневаться, что лучше: помнить или забыть?”

Расспросил знакомых... Одни забыли, другие не хотят вспоминать, потому что мы ничего не можем изменить, даже уехать отсюда. Даже это...

Что я запомнил... В первые же дни после аварии из библиотек исчезли книги о радиации, о Хиросиме и Нагасаки, даже о рентгене. Пронесся слух, что это приказ начальства, чтобы не сеять паники. Для нашего же спокойствия. Появилась даже шутка такая, что если бы Чернобыль взорвался у папуасов, весь мир испугался бы, кроме самих папуасов. Никаких медицинских рекомендаций... Никакой информации... Кто мог доставал таблетки йодистого калия (в аптеках нашего города в продаже их не было, доставали где-то по великому благу). Случалось, что съедали горсть этих таблеток и запивали стаканом спирта. “Скорая помощь” откачивала.

Приехали первые иностранные журналисты... Первая киногруппа... Они были в пластиковых комбинезонах, касках, резиновых бахилах, перчатках и даже камера в специальном чехле. А сопровождала их наша девушка, переводчица... Она в летнем платье и босоножках...

Люди верили каждому печатному слову, хотя никто правду не печатал. Не говорил. С одной стороны, скрывали, с другой, не всё понимали. От генсека до дворника. Потом появились приметы, все за ними следили: пока в городе или деревне есть воробьи и голуби, там можно жить и человеку. Пчела работает – тоже чисто. Ехал в такси, водитель недоумевал, почему птицы, как слепые, падают на стекла, разбиваются. Как ненормальные... Сонные... Что-то похожее на самоубийство... После смены, чтобы забыть об этом, он сидел и выпивал с друзьями.

Запомнил, как возвращался из командировки... По обе стороны – настоящий лунный пейзаж... До самого горизонта тянулись засыпанные белым доломитом поля. Верхний зараженный слой земли снят и захоронен, вместо него насыпали доломитового песка. Как не земля... Не на земле... Долго мучился этим видением и попробовал написать рассказ. Представил, что здесь произойдет, будет через сто лет: то ли человек, то ли еще что-то скачет на четвереньках, выбрасывая длинные задние ноги коленками назад, ночью он видит все третьим глазом, а единственное ухо, оно на макушке даже слышит бег муравья. Остались только муравьи, все остальное на земле и в небе погибло...

Отправил рассказ в журнал. Прислали ответ, что это не литературное произведение, а пересказ ужаса. Конечно, у меня не хватило таланта. Но тут, подозреваю, еще одна причина. Я задумался: почему о Чернобыле мало пишут? Наши писатели, продолжают писать о войне, о сталинских лагерях, а тут молчат. Книг – раз, два и обчелся. Думаете, случайность? Событие до сих пор ещё вне культуры. Травма культуры. И единственный наш ответ – молчание. Закрываем глаза, как маленькие дети, и думаем: “Мы спрятались. Нас проминет.” Из будущего выглядывает что-то, и оно несоразмерно нашим чувствам. Способностям переживать. Разговоришься с человеком – он начинает рассказывать и благодарен тебе за то, что ты его выслушал. Не понял, а хотя бы выслушал. Потому что он сам не понял... Как и ты... Я разлюбил читать фантастику...

Так что же лучше: помнить или забыть?”

*Евгений Александрович Бровкин, преподаватель
Гомельского государственного университета.*

*Монолог свидетеля, у которого болел зуб,
когда он видел, как упал Христос и начал кричать*

“Тогда я думал о другом... Вам покажется странным... Как раз в это время я разводился с женой...

Вдруг приходят, вручают повестку и говорят, что внизу уже ждет машина. Такой “воронок” специальный. Как в тридцать седьмом году... Брала по ночам. С постели, тепленьких. Потом эта схема перестала работать: жены не открывали двери или ввали, что мужья в командировке, на курорте, в деревне у родителей. Им пытались вручить повестки, они не брали. Начали хватать людей на работе, на улице, во время обеденного перерыва в заводских столовых. Как в тридцать седьмом... А я был тогда почти сумасшедший... Мне изменила жена, все остальное казалось ерундой. Сел в этот “воронок”... Вели меня двое в штатском, но с военной выправкой, шли по бокам, видно, боялись, чтобы не сбежал. Когда сел в машину, почему-то вспомнил американских космонавтов, которые летали на Луну, и один из них впоследствии стал священником, а второй вроде бы сошел с ума?

Читал, что им показалось... Будто там они увидели остатки городов, какие-то человеческие следы. Мелькнули в памяти обрывки из газет: наши атомные станции абсолютно безопасны, можно строить на Красной площади. Возле Кремля. Безопаснее самовара. Что они подобны звездам, и мы “засеем” ими всю землю. Но от меня ушла жена... Я способен был думать только об этом... Несколько раз пытался покончить с собой, глотал таблетки и мечтал не проснуться. Мы ходили в один детский сад, учились в одной школе... В одном институте... *(Закуривает сигарету и молчит.)*

Я вас предупреждал... Ничего героического для писательского пера. Были мысли, что вроде бы не военное время, почему я должен рисковать, когда кто-то будет спать с моей женой. Почему опять я, а не он? Честно говоря, не видел я там героев. Сумасшедших видел, которым наплевать на собственную жизнь, и лихачества хватало, но нужды в нем не было. У меня тоже есть грамоты и благодарности... Но это потому, что мне не страшно было умирать. Наплевать! Это был даже выход. Похоронили бы с почестями... И за казенный счет...

...Там ты сразу попадал в фантастический мир, где соединились конец света и каменный век. А во мне все еще обострено... Обнажено... Жили в лесу. В палатках. В двадцати километрах от реактора. “Партизанили”. “Партизаны” — это те, кого берут на учебные военные сборы. Возраст — от двадцати пяти до сорока лет, многие — с высшим образованием, среднетехническим, я, к слову, учитель истории. Вместо автоматов выдали нам лопаты. Перекапывали мусорные свалки, огороды. Женщины в деревнях смотрели и крестились. Мы в перчатках, респираторах, масках... Жарит солнце... Появляемся на их огородах, как черти. Инопланетяне какие-то. Они не понимали, почему мы перекапываем их грядки, вырываем их чеснок, капусту, когда чеснок, как чеснок, капуста, как капуста. Бабки крестятся и голосят: “Солдатики, это что — конец света?”

В хате печка топится, сало жарится. Дозиметр приставишь: не печка, а маленький реактор. “Садитесь, хлопчики, к столу”, — зовут. Привечают. Отказываемся. Просят: “Сто грамм найдем. Садитесь. Расскажите”. А что рассказывать? На самом реакторе пожарники топтали мягкое топливо, оно светилось, а они не знали, что это такое. Где уж нам знать?

Идем отделением. На всех — один дозиметр. А в разных местах — разный уровень: один из нас работает, где два рентгена, а второй там, где десять рентген. С одной стороны, бесправие, как у эков, с другой — страх. И загадка. Но у меня страха не было. Смотрел на все со стороны...

На вертолете прилетела группа ученых. В резиновой спецодежде, высоких сапогах, защитных очках... Космонавты... Подходит к одному бабка: “Ты кто?” — “Я — ученый”. — “Ах, ты ученый, поглядите на него, как разделся. Замаскировался. А мы?” И за ним — с палкой. У меня не раз мелькало, что когда-нибудь ученых будут вылавливать, как в средние века ловили врачей и топили. Жгли на кострах.

Я видел человека, на глазах у которого хоронили его дом... *(Встает и отходит к окну.)* Осталась свежеевыкопанная могила... Большой прямоугольник. Похоронили колодец, его сад... *(Молчит.)* Мы — хоронили землю... Срезали, скатывали ее большими пластами... Я вас предупреждал... Ничего героического...

Возвращаемся поздно вечером, потому что работали по двенадцать часов в сутки. Без выходных. На отдых только ночь. Значит, едем на бэтээре. Идет по пустой деревне человек. Ближе: молодой парень с ковром на плечах... Невдалеке “Жигули”... Тормозим. Багажник забит телевизорами и обрезанными телефонами. Бэтээр разворачивается и тараном: “Жигули” в гармошку, как консервная банка. Никто слова не проронил...

Хоронили лес... Деревья пилили по полтора метра, упаковывали в целлофан и заваливали в могильник. Ночью не мог заснуть. Закрою глаза: что-то черное шевелится, переворачивается... Как живое... Живые пласты земли... С жуками, пауками, червяками...

Я никого из них не знал, не знал, как их зовут... Просто жуки, пауки. Муравьи. А они маленькие и большие, желтые и черные. Такие разноцветные. У кого-то из поэтов читал, что животные — это отдельный народ. Я убивал их десятками, сотнями, тысячами, не зная даже, как их зовут. Рушил их дома. Их тайны. Хоронил... Хоронил...

У Леонида Андреева, которого я очень люблю, есть притча о Лазаре, который заглянул за черту запретного. Он уже чужой, он уже никогда не будет своим среди людей, хотя его Христос и воскресил...

Может, хватит? Вам, понимаю, любопытно, тем, кто там не побывал, всегда любопытно. Один Чернобыль — в Минске, другой — в самой зоне. Где-то в Европе — третий. В самой зоне поражало равнодушие, с которым говорили о нем. В мертвой деревне встретили старика. Живет один. Спрашиваем у него: “А не страшно?” А он у нас: “Чего страшно?” Нельзя все время жить в страхе, человек не может, проходит немного времени, и начинается обыкновенная человеческая жизнь. Обыкновенная... Нормальная... Мужчины пили водку. Играли в карты. Ухаживали за женщинами. Много говорили о деньгах. Но не за деньги там работали, мало кто только за деньги. Работали потому, что надо работать. Сказали — работать. И не задавали вопросов. Мечтали о повышении по службе. Хитрили, воровали. Надеялись на обещанные льготы: получить квартиру вне очереди и выехать из барака, устроить ребенка в детский сад, купить машину. Один у нас струсил, боялся вылезать из палатки, в резиновом самодельном костюме спал. Трус! Его исключили из партии. Он кричал: “Я хочу жить!” Все вперемешку... Встречал там женщин, которые добровольно приехали. Рвались. Им отказывали, объясняли, что нужны шоферы, слесари, пожарники, но они приехали. Все вперемешку... Тысячи добровольцев... Добровольные студенческие отряды и специальный “воронок”, по ночам карауливший запасников... ...Сбор вещей... Денежные переводы в фонд пострадавших, сотни людей, безвозмездно предлагающих кровь и костный мозг... И в тот же момент все можно было купить за бутылку водки. Почетную грамоту, отпуск домой... Один председатель колхоза привезет в отряд дозиметристов ящик водки, чтобы его деревню не записали в список на эвакуацию, другой отдаст тот же ящик водки, чтобы его колхоз выселили. Ему уже трехкомнатную квартиру в Минске пообещали. Радиозамеры никто не проверял. Нормальный русский хаос. Мы так живем... Что-то списывали, продавали... С одной стороны противно, с другой — идите вы все к чертовой матери!

Прислали студентов. Они вырывали на полях лебеду. Гребли сено. Несколько пар было совсем молоденьких. Муж и жена. Они еще за руку ходили. Это было невозможно видеть. А места такие красивые! Такое великолепие! Ужас был еще ужаснее, потому что красиво. И человеку надо отсюда уходить. Бежать, как злодею. Как преступнику.

Каждый день привозили газеты. Я читал только заголовки: “Чернобыль — место подвига”, “Реактор побежден”, “А жизнь продолжается”. Были у нас замполиты, проводились политбеседы. Нам говорили, что мы должны победить. Кого? Атом? Физику? Космос? Победа у нас не событие, а процесс. Жизнь — борьба. Отсюда такая любовь к наводнениям, пожарам... Землетрясениям... Нужно место действия, чтобы “проявить мужество и героизм”. И водрузить знамя. Замполит читал заметки в газетах о “высокой сознательности и четкой организованности”, о том, что через несколько дней после катастрофы над четвертым реактором уже развевался красный флаг. Полыхал. Через несколько месяцев его сожрала высокая радиация. Флаг снова подняли. Потом новый... А старый рвали себе на память, запихивали куски под бушлат возле сердца. Потом везли домой... Показывали с гордостью детям... Хранили... Героическое безумие! Но я тоже такой... Ничуть не лучше Я мысленно пытался представить, как солдаты поднимаются на крышу... Смертники. Но они полны чувств... Первое — чувство долга,

второе – чувство родины. Скажете: советское язычество? Но дело в том, что дали бы мне тогда в руки знамя, я тоже бы туда полез. Почему? Не отвечу. Ну, и, конечно, не последнее дело, что тогда мне не страшно было умереть... Жена даже письма не прислала. За полгода ни одного письма... (*Останавливается.*)

Хотите анекдот? Бежал из тюрьмы заключенный. Спрятался в тридцатикилометровой зоне. Словили. Отвели к дозиметристам. Так “светится”, что его ни в тюрьму, ни в больницу, ни к людям. (*Смеется.*) Анекдоты мы там любили. Черный юмор.

Прибыл я туда, когда птицы сидели в гнездах, уезжал — яблоки лежали на снегу. Не все мы успели захоронить... Хоронили землю в земле... С жуками, пауками, личинками... С этим отдельным народом. Миром. Самое сильное мое впечатление оттуда... О них...

Ничего я вам не рассказал... Обрывки... У того же Леонида Андреева есть рассказ: один житель Иерусалима, мимо дома которого вели Христа, все видел и все слышал, но у него в это время болел зуб. На его глазах Христос упал, когда нес крест, упал и начал кричать, он все это видел, но у него болел зуб, и он не выбежал на улицу. Через два дня, когда зуб перестал болеть, ему рассказали, как Христос воскрес, тогда он подумал: “Ведь я мог быть этому свидетелем, но у меня болел зуб”.

Неужели так все время? Никогда человек не равен великому событию. Всегда оно ему не по плечу. Мой отец защищал Москву в сорок втором. То, что участвовал в истории, он понял через десятки лет. Из книг, из фильмов. А сам вспоминал: “Сидел в окопе. Стрелял. Взрывом засыпало. Полумертвого санитары выволокли”. И все.

А меня тогда бросила жена...”

Аркадий Филин, ликвидатор

*Три монолога о “прахе ходящем”
и “земле говорящей”*

Председатель Хойникского добровольного общества охотников и рыболовов Виктор Иосифович Вержиковский и два охотника — Андрей и Владимир, не захотевших назвать фамилии.

— Первый раз я убил лису... В детстве... Второй раз лосиху... Лосих, поклялся, никогда не убивать. У них такие выразительные глаза...

— Это мы, люди, что-то понимаем, а животные просто живут. И птицы.

— Осенью косуля очень чуткая. Если еще ветер дует от человека, то уже все — не подпустит. А лиса хитрая.

— Тут бродит один... Выпьет, лекции всем читает. Учился на философском факультете, потом в тюрьме сидел. В зоне встретишь человека, он никогда правду о себе не расскажет. Редко. А этот разумный мужик... “Чернобыль, — говорит, — для того, чтобы дать философов”. Животных называл “прах ходящий”, а человека — “землей говорящей”. А “земля говорящая” потому, что мы кушаем землю, то есть из земли строимся...

— Зона тянет... Как магнит, скажу я вам. Эх, барыня-сударыня! Кто там побывал... Тот душой будет тянуться...

— Я книжку читал... Были святые, которые разговаривали с птицами и зверями. А мы думаем, что они человека не понимают.

— Ну, хлопцы, надо по порядку...

— Давай-давай председатель. А мы покурим.

— Значит, такое дело... Вызывают меня в райисполком: “Слушай, главный охотник: в зоне осталось много домашних животных — кошки, собаки, во избежание эпидемии их

требуется отстрелять. Действуй!” На следующий день я всех созвал, всех охотников. Объявляю, что так и так... Никто не хочет ехать, потому что не выдали никаких защитных средств. Я обратился в гражданскую оборону — у них ничего нет. Ни одного респиратора. Пришлось ехать на цементный завод и брать там маски. Такая тоненькая пленочка... От цементной пыли... А респираторов не дали.

— Там солдат встречали. В масках, в перчатках, на бронетранспортерах, а мы в рубашках, повязочка на носу. В этих рубашках и сапогах домой возвращались. В семью.

— Сколотил две бригады...И добровольцы нашлись. Две бригады... По двадцать человек. К каждой прикрепили ветврача и человека с санэпидстанции. Был еще трактор с ковшом и самосвал. Обидно, что не дали защитных средств, о людях не подумали...

— Зато премии давали — по тридцать рублей. А бутылка водки в те времена стоила три рубля. Дезактивировались... Откуда-то рецепты появились: ложку гусиного помета на бутылку водки. Два дня настоять и пить. Чтобы это дело... Ну, мужское наше... Не пострадало... Частушки были, помните? Уйма. “Запорожец” — не машина, киевлянин — не мужчина. Если хочешь быть отцом, оберни яйцо свинцом”. Ха-ха...

— Ездили мы по зоне два месяца, в нашем районе половину деревень эвакуировали. Десятки деревень: Бабчин, Тульговичи... Первый раз приехали — собаки бегают возле своих домов. Сторожат. Людей ждут. Обрадовались нам, бегут на человеческий голос... Встречают... Стреляли в доме, в сарае, на огороде. Вытаскивали на улицу и грузили в самосвалы. Оно, конечно, неприятно. Они не могли понять: почему мы их убиваем? Убивать было легко. Домашние животные... У них нет страха оружия, страха человека... Бегут на человеческий голос...

— Ползла черепаха... Господи! Мимо пустого дома. Аквариумы в квартирах стояли... С рыбками...

— Черепах не убивали. Передним колесом “уазика” наезжаешь на черепаху, панцирь выдерживает. Не лопается. По пьянке, конечно, передним колесом. Во дворах клетки настезь... Кролики бегают... Нутрии были закрыты, их мы выпускали, если рядом какая вода: озеро, речка, — они уплывали. Все кинута наспех. На время. Ведь как было? Приказ об эвакуации: “На три дня”. Женщины голосят, дети плачут, скотина кричит. Маленьких детей обманывали: “Едем в цирк”. Люди думали возвращаться... Такого слова не было “навсегда”. Эх, барыня-сударыня! Скажу я вам, военная обстановка. Кошки заглядывали в глаза, собаки выли, прорывались в автобусы. Дворняжки, овчарки... Солдаты их выталкивали. Пинали. Они долго бежали за машинами... Эвакуация... Не дай Бог!

— Значит, такое дело... Вон у японцев была Хиросима, так они сейчас впереди всех. На первом месте в мире. Значит...

— Есть возможность пострелять, да еще в бегущее, живое. Охотничий азарт. Выпили — и поехали. На работе мне засчитывался рабочий день. Начисляли зарплату. Могли, конечно, за такую работу надбавить. Премия — тридцать рублей, но уже деньги не те были, что при коммунистах. Уже оно все поменялось

— Дело такое... Сначала дома стояли опечатанные, с пломбами. Пломбы мы не срывали. Сидит за окном кошка, как ты ее достанешь? Не трогали. Пока мародеры не полезли — двери повыбивали, окна разбили, форточки. Разграбили. Первым делом исчезли магнитофоны, телевизоры... Меховые изделия... А потом увезли все вчистую. Валяются на полу одни алюминиевые ложки... И уцелевшие собаки переселились в дом... Заходишь — он на тебя бросается... Они уже перестали людям верить... Я зашел — сука посреди комнаты лежит и щенята вокруг. Жалко? Оно, конечно, неприятно... Я сравнивал... По сути дела мы действовали, как каратели. Как в войну. По той же схеме... Военная операция... Мы тоже приезжаем, берем в кольцо деревню, и собаки, как услышат первый выстрел, уже бегут. В лес бегут. Кошки хитрее, и им легче спрятаться. Котенок в

глиняный горшок залез... Я его вытряхивал... Из-под печки вытаскивали... Неприятное чувство... Ты в дом, а кошка мимо сапог пулей, бегаешь за ней с ружьем. Худые они, грязные. Шерсть клочьями. На первых порах было много яиц, куры пооставались. Собаки и кошки ели яйца, закончились яйца, съели кур. И лисы кур ели, лисы уже жили в деревне вместе с собаками. Значит, кур не стало, собаки поели кошек. Бывали случаи, что мы свиней в сараях находили... Выпускали... В погребках закаток всяких: огурцы, помидоры... Мы пооткрываем и в корыто им бросаем. Свиней не убивали...

— Старуху встретили... Закрылась в хате: пять котов у нее и три собаки... “Не бей собаку, и она была человеком”, — не давала... Проклинала нас. Мы силой забрали, но одного кота и одну собаку оставили. Обзывала: “Бандиты! Тюремщики!”

— Ха-ха... “Под горою пашет трактор, на горе горит реактор. Если б шведы не сказали, до сих пор еще б пахали”. Ха-ха...

— Пустые деревни... Одни печи стоят. Хатыни! Живут дед с бабой. Как в сказке.. Им не страшно. А другой бы сошел с ума! Ночью старые пни жгут. Волки огня боятся.

— Значит, такое дело... Запахи... Я все не мог понять, откуда такой запах в деревне? Шесть километров от реактора... Деревня Масалы... Как в рентген-кабинете. Пахло йодом... Какой-то кислотой... А говорят — радиация не пахнет. Не знаю... А стрелять приходилось в упор... Значит, сука лежит посреди комнаты и щенята кругом... Набросилась на меня — пулю сразу... Щенята лизут руки, лапаются. Дурачатся. Стрелять приходилось в упор...Эх, барыня-сударыня! Одну собачку... Пуделек черненький... Мне его до сих пор жалко. Нагрузили их полный самосвал, с верхом. Везем к “могильнику”... По правде сказать, обыкновенная глубокая яма, хотя положено копать так, чтобы не доставать грунтовые воды и застилать дно целлофаном. Найти высокое место... Но это дело, сами понимаете, повсеместно нарушалось: целлофана не было, место долго не искали. Они, если недобитые, а только раненые, пищат... Плачут... Высыпали их из самосвала в яму, а этот пуделек карабкается. Вылазит. Ни у кого патрона не осталось. Нечем добить... Ни одного патрона... Его назад в яму спихнули и так землей завалили. До сих пор жалко.

А кошек было намного меньше, чем собак. Может, они за людьми ушли? Или попрятались? Пуделек домашний... Балованный...

— Убивать лучше издалека, чтобы не встретиться глазами.

— Ты учись метко стрелять, чтобы не добивать.

— Это мы, люди, что-то понимаем, а они просто живут. “Прах ходящий”...

— Лошади... Их вели на убой... Они плакали...

— И я добавлю... Душа есть у всякой живой твари. С детства отец к охоте приучил. Косуля раненая... Лежит... Она хочет, чтобы ее пожалели, а ты добиваешь. В последнюю минуту у нее вполне осознанный, почти человеческий взгляд. Она тебя ненавидит. Или мольба: я тоже хочу жить! Хочу жить!

— Учись! Скажу я вам, добивать неприятнее, чем убивать. Охота — это спорт, вид спорта. Почему-то никто не ругает рыбаков, а охотников все ругают. Несправедливо!

— Охота и война — главные занятия для мужчины. Испокон веков.

— Я не мог признаться сыну... Ребенок. Где я был? Что делал? Он до сих пор думает, что папа там кого-то защищал. Стоял на боевом посту! По телевизору показывали: военная техника, солдаты. Много солдат. Сын спрашивает: “Папа, ты был, как солдат?”

— С нами поехал оператор с телевидения... Помните? С камерой. Плакал. Мужик... А плакал... Все хотел увидеть трехголового кабана...

— Ха-ха... Лиса видит: катится по лесу Колобок. “Колобок, куда ты катишься?” — “Я не Колобок, я ежик черныбыльский”. Ха-ха... Как говорится, мирный атом — в каждый дом!

— Человек, скажу я вам, умирает, как животное. Я видел... Много раз... В Афганистане... Меня ранило в живот, лежу на солнце. Жара невыносимая. Пить!! “Ну, — думаю, — сдохну, как скотина”. Скажу я вам, и кровь одинаково течет. Как и у них. И болит.

— Милиционер, что с нами был, того... Умом тронулся. В больнице лежал... Все сиамских кошек жалел, дорогие, мол, они на базаре. Красивые. Того парень...

— Идет корова с теленком. Не стреляли. И лошадей не стреляли. Они боялись волков, человека не боялись. Но лошадь лучше может себя защитить. Первыми погибли от волков коровы. По закону джунглей.

— Из Беларуси скот везли и продавали в Россию. А телки лейкозные. Но зато сбывали их подешевке.

— Больше всего жалко стариков... Они подходят к нашим машинам: “Погляди ты там, хлопчик, на мою хату”. Ключ в руки суют: “Забери костюм. Шапку”. Гроши дают... “Как там моя собака?” Собаку пристрелили, дом разграбили. А они никогда туда не вернуться. Как это сказать? Я ключи не брал. Не хотел обманывать. Другие брали: “Где самогонку сховал? В каком месте?” Дед и скажет... Находили целые бидоны, большие бидоны из-под молока.

— Попросили на свадьбу убить дикого кабана. Заказ! Печень в руках расплзается... Все равно заказывают... На свадьбу, на крестины.

— Стреляем и для науки. Один раз в квартал: два зайца, две лисы, две косули. Все зараженные. Но все равно и себе бьем, едим. Поначалу боялись, а теперь пообвыкли. Что-то есть надо, на Луну все не переселимся. На другую планету.

— Кто-то шапку из лисы купил на базаре — облысел. Армянин купил по дешевке автомат из “могильника” — умер. Пугали один одного.

— А у меня там ничего ни в душе, ни в голове не происходило... Мурки и Шаррики.. Эх. барыня-сударыня!. Стрелял. Работа.

— Я разговаривал с водителем, который вывозил дома оттуда. Зону грабят. Продают. Хотя это уже не школа, не дом и не детский садик, а номерные объекты дезактивации. Вывозят! Мы встретились с ним то ли в бане, то ли возле пивного ларька? Не помню точно. Так вот он рассказывал: подъезжают на КамАЗе, за три часа дом разбирают и их возле города дачники перехватывают. Рвут на части. Зону раскупили на дачи. Они деньги получают и еще их накормят и напоят.

— Среди нашего брата есть хищники... Охотники-хищники... А другие любят просто походить по лесу. Охотятся на мелкого зверя. На птицу.

— Скажу я вам... Столько людей пострадало, а никто за это не ответил. Посадили руководство атомной станции, и всё. В той системе... Сказать, кто был виноват — очень трудно. Если вам приказали сверху, что вы должны были делать? Одно – выполнять. Они что-то там испытывали. Читал в газетах, что военные плутоний нарабатывали... Для атомных бомб... Поэтому и громыхнуло... Если грубо, то вопрос стоит так: почему — Чернобыль? Почему — у нас, а не у французов или у немцев?

— Застряло в памяти... Такое дело... Жалко, что ни у кого не осталось тогда ни одного патрона, нечем было пристрелить. Того пуделька... Двадцать человек... Ни одного патрона к концу дня...

*Монолог о том, что мы не умеем
жить без Чехова и Толстого*

“О чем я молюсь? Спросите меня: о чем я молюсь? Я не в церкви молюсь. А одна... Утром или вечером... Когда все в доме спят...”

Я хочу любить! Я люблю! Я молюсь за свою любовь! А мне... *(Обрывает фразу. Вижу, что говорить не хочет.)* Вспоминать? Может, надо на всякий случай оттолкнуть от себя... Отодвинуть... Я таких книг не читала... В кино не видела... В кино я видела войну. Мои бабушка и дедушка вспоминают, что у них не было детства, была война. Их детство — война, а мое — Чернобыль. Я оттуда... Вот вы пишете, но ни одна книга не помогла мне, не объяснила. Ни театр, ни кино. Я разбираюсь в этом без них. Сама. Мы все переживаем сами, мы не знаем, что с этим делать. Умом я это понять не могу. Особенно растерялась моя мама, она преподает в школе русский язык и литературу, всегда учила меня жить по книжкам. И вдруг таких книжек нет... Мама растерялась... Без книжек жить она не умеет. Без Чехова и Толстого...

Вспоминать? Я хочу и не хочу вспоминать... *(То ли прислушивается к себе, то ли спорит сама с собой.)* Если ученые ничего не знают, если писатели ничего не знают, тогда мы им поможем своей жизнью и смертью. Так считает моя мама... А я хотела бы об этом не думать, я хочу быть счастливой. Почему я не могу быть счастливой?

Жили мы в Припяти, рядом с атомной станцией, я там родилась и выросла. В большом панельном доме, на пятом этаже. Окна — на станцию. Двадцать шестого апреля... Многие потом рассказывали, что они точно слышали взрыв... Не знаю, в нашей семье никто его не заметил. Утром я проснулась, как обычно — в школу. Услышала гул. Из окна увидела, как над крышей нашего дома завис вертолет. Ну и ну! Будет что рассказать в классе! Разве я знала... Что осталось всего два дня... Из нашей прежней жизни... Было еще два дня — последних два дня в нашем городе. Его уже нет. То, что осталось, уже не наш город. Запомнилось, как сосед с биноклем сидел на балконе, наблюдал за пожаром. По прямой, наверное, километра три. А мы... Девчонки и мальчишки... Мы днем на велосипедах сгоняли на станцию, у кого велосипедов не было, те нам завидовали. Никто не ругал. Никто! Ни родители, ни учителя. К обеду на берегу реки не стало рыбаков, они возвратились черные, так за месяц в Сочи не загорись. Ядерный загар! Дым над станцией стоял не черный, не желтый, а голубой. С голубизной. Но нас никто не ругал... Воспитание, наверное, такое, что опасность могла быть только военная: взрыв слева, взрыв справа... А тут — обыкновенный пожар, тушат его обыкновенные пожарники... Мальчишки хохмили: “Выстраивайтесь длинными рядами на кладбище. Кто выше — тот умрет первый”. Я — маленькая. Я не помню страха, но я помню много странных вещей. Ну, необычных... Подружка рассказывала, как они со своей мамой ночью закапывали во дворе деньги и золотые вещи, боялись забыть это место. Моей бабушке, когда ее провожали на пенсию, подарили тульский самовар, она почему-то больше всего беспокоилась об этом самоваре и дедушкиных медалях. И о старой швейной машинке “Зингер”. Где мы их спрячем? Скоро нас эвакуировали... Это слово “эвакуация” принес с работы папа: “Мы уезжаем в эвакуацию”. Как в военных книжках... Уже сели в автобус, папа вспоминает, что он что-то забыл. Бежит домой. Возвращается с двумя своими новыми рубашками... На вешалке... Это было странно... На папу непохоже... В автобусе все сидели молча, смотрели в окно. У солдат неземной вид, они ходили по улицам в белых маскировочных халатах и масках. “Что с нами будет?” — шли к ним люди. “Почему вы у нас спрашиваете, — злились они, — вон белые “Волги” стоят, там начальство”.

Уезжаем... А небо голубое-голубое. Куда мы едем? В сумках и сетках — пасхальные куличи, крашеные яйца. Если это война, то я ее по книжкам представляла иначе. Взрыв слева, взрыв справа... Бомбежка... Двигались мы медленно, мешал скот. По дорогам гнали коров, лошадей... Пахло пылью и молоком... Водители матерились, кричали на пастухов: “Что по дороге гоните, такую мать?! Пыль радиоактивную поднимаете! Шли бы по полю, по лугу”. Те в ответ тоже матом, оправдывались, что жалко топтать зеленое жито, траву.

Никто не верил, что назад мы уже не вернемся. Такого же никогда не было, чтобы люди не возвращались домой. Немного кружилась голова и першило в горле. Старые женщины не плакали, плакали молодые. Плакала моя мама...

Приехали в Минск... Но место в поезде мы купили у проводницы за тройную цену. Она всем принесла чай, а нам сказала: “Давайте свои кружки или стаканы”. До нас сразу не дошло... Стаканов, что ли, не хватает? Нет! Нас боятся... “Откуда?” — “Из Чернобыля”. И человек боком-боком от нашего купе, детей не пускают, чтобы бегали мимо. Приехали в Минск, к маминой подруге. Маме моей до сих пор стыдно, что мы в своей “грязной” одежде, обуви ночью ввалились в чужую квартиру. Но нас приняли, накормили. Жалели. А зашли соседи: “У вас гости? Откуда?” — “Из Чернобыля”. И они тоже боком-боком...

Через месяц родителям разрешили съездить и посмотреть квартиру. Забрали они теплое одеяло, мое осеннее пальто и полное собрание писем Чехова, мамино самое любимое. Кажется, семь томов. Бабушка... Наша бабушка... Она понять не могла, почему не взяли пару банок клубничного варенья, которое я любила, оно же в банках, закрыто крышками... Железными крышками... На одеяле мы обнаружили “пятно”... Мама стирала, чистила пылесосом, ничего не помогло. Сдали в химчистку... А оно все равно “светилось”... Это “пятно”... Пока не вырезали ножницами. Все знакомое, привычное: одеяло, пальто... А я не могла уже спать под этим одеялом... Надеть это пальто... У нас не было денег купить мне новое, а я не могла... Я ненавидела эти вещи! Это пальто! Не боялась, а поймите, ненавидела! Все это может меня убить! И мою маму убить! Чувство вражды... Не могла понять это умом... Везде говорили об аварии: дома, в школе, в автобусе, на улице. Сравнивали с Хиросимой. Но никто не верил. Как поверить, если непонятно? Как ты не стараешься, не силичишься понять, все равно непонятно. Я помню: мы уезжаем из нашего города — небо голубое-голубое...

Бабушка... На новом месте она не прижилась. Тосковала. Перед смертью просила: “Хочу щавеля!” Щавель несколько лет есть не разрешали, он больше всего набирает радиацию. Хоронить мы повезли ее в родную деревню Дубровники... Там уже была зона, огороженная проволокой. Стояли солдаты с автоматами. За проволоку пустили только взрослых... Папу, маму... Родственников... А мне не разрешили: “Детям нельзя”. Я поняла, что никогда не смогу навестить бабушку... Поняла... Где об этом можно прочитать? Где это когда-нибудь было? Мама призналась: “Ты знаешь, я ненавижу цветы и деревья”. Сказала так и испугалась самой себя, потому что она выросла в деревне и все это знала и любила... Раньше... Когда мы гуляли с ней за городом, она могла назвать каждый цветок и любую травинку. Мать-мачеха, зубровка... На кладбище... На траве... Постелили скатерть, поставили закуску, водку... А солдаты померили дозиметром и все выбросили. Закопали. Трава, цветы — все “щелкало”. Куда мы отвезли нашу бабушку?

Прошу о любви... Но я боюсь... Я боюсь любить... У меня есть жених, мы отнесли заявление в загс. Вы слышали что-нибудь о хиросимских “хибакуси”? Тех, кто выжил после Хиросимы... Они могут рассчитывать только на браки друг с другом. У нас об этом не пишут, об этом не говорят. А мы есть... Чернобыльские “хибакуси...” Он привел меня в дом, познакомил со своей мамой... Его хорошая мама... Работает на заводе экономистом. Общественница. Ходит на все антикоммунистические митинги, читает Солженицына. Вот эта хорошая мама, когда узнала, что я из чернобыльской семьи, из переселенцев, удивилась: “Милочка, разве вы сможете родить?” У нас — заявление в загсе... Он умоляет: “Я уйду из дома. Снимем квартиру”, — а у меня в ушах: “Милочка, для некоторых существует грех деторождения”. Грех любить...

А до него у меня был другой мальчик. Художник. Мы тоже хотели пожениться. Все было хорошо до одного случая. Я зашла к нему в мастерскую и услышала, как он кричал по телефону: “Как тебе повезло! Ты не представляешь, как тебе повезло!” Обычно такой

спокойный, даже флегматичный, ни одного восклицательного знака в речи. И вдруг!! Что оказывается? Его друг живет в студенческом общежитии. Заглянул в соседнюю комнату, а там девчонка висит. Зацепилась за форточку... И на чулке... Его друг снимал ее... Вызвал “Скорую”... А этот захлебывался, дрожал: “Ты вообразить себе не можешь, что он увидел! Что пережил! Он ее на руках нес... У нее белая пена на губах...” О мертвой девочке он не говорил, не пожалел ее. Ему бы только увидеть и запомнить... А потом нарисовать... Я тут же вспомнила, как он меня расспрашивал, какого цвета был пожар на станции, видела ли я расстрелянных кошек и собак, как они лежали на улицах? Как плакали люди? Видела ли я, как они умирают?

После того случая... Я не могла больше с ним быть... Отвечать на его вопросы..... (После молчания.) Не знаю, захотела бы я с вами еще раз встретиться? Мне кажется, вы рассматриваете меня, как и он. Просто наблюдаете. Запоминаете. Идет какой-то эксперимент над нами. Всем интересно. Не могу освободиться от этого чувства... А вы не знаете, за что падает этот грех? Грех деторождения... Я же ни в чем не виновата.

Разве я виновата в том, что хочу быть счастливой...»

Катя П.

*Монолог о том, что святой Франциск
проповедовал птицам*

“Это — моя тайна. Об этом никто больше не знает. Я говорил об этом только со своим другом...

Я — кинооператор. Ехал туда, помня, что нас учили: настоящим писателем становятся на войне и все такое прочее. Любимый писатель — Хэмингуэй, любимая книга — “Прощай, оружие!” Приехал. Люди копаются на огородах, на полях — трактора, сеялки. Что снимать, — непонятно. Нигде ничего не взрывается...

Первая съемка. В сельском клубе. На сцене поставили телевизор, собрали народ. Слушали Горбачева: все хорошо, все управляемо. В этой деревне, где мы снимали, шла дезактивация. Мыли крыши, завозили чистую землю. А как помыть крышу, если она у бабки протекает? Землю надо было срезать на штык лопаты, срезать весь плодородный слой. Дальше-то у нас желтый песочек. Вот бабка, выполняя указания сельсовета, лопатой землю отбрасывает, а навоз с нее сгребает. Жаль, я не снял этого... Куда ни приедешь: “А, киношники. Сейчас найдем вам героев”. Герои — старик с внуком, два дня гнали из-под самого Чернобыля колхозных коров. После съемки зоотехник завел меня к гигантской траншее, там бульдозером этих коров закапывали. Но в голову не пришло это снять. Я стал спиной к траншее и снял эпизод в лучших традициях отечественной кинодокументалистики: бульдозеристы читают газету “Правда”, заголовок — аршинными буквами: “Страна в беде не бросит”. Да еще повезло: гляжу — аист на поле садится. Символ! Какая бы беда не пришла, — мы победим! Жизнь продолжается...

Дороги сельские. Пыль. Я уже понимал, что это не просто пыль, а радиоактивная пыль. Кинокамеру прятал, чтобы не пылилась, все же оптика. Был сухой-сухой май. Сколько сами наглотались, не знаю. Через неделю воспалились лимфоузлы. Но пленку сэкономили, как патроны, потому что должен был сюда приехать первый секретарь ЦК Слюньков. В каком именно месте он появится, никто заранее не объявлял, но мы сами догадались. Вчера, например, ехали по дороге, пыль столбом, а сегодня кладут асфальт, да какой — в два-три слоя! Ну, ясно: вот где высокое начальство ждут! Потом я это начальство снимал, ходили они ровненько-ровненько по свежему асфальту. Ни сантиметра в сторону! У меня это тоже было в кадре, но в сюжет не вставил...

Никто ничего не понимал, это было самое страшное. Дозиметристы называют одни цифры, а в газетах читаем другие. Ага, тут начинает медленно что-то доходить. А-а-а...У

меня остался дома маленький ребенок, любимая жена... Каким же я должен быть глупцом, чтобы оказаться здесь! Ну, наградят медалью... А жена уйдет... Спасение — в юморе. Травили анекдоты. В брошенной деревне поселился бож, и четыре бабки там остались. Спрашивают: “Как ваш мужик-то?” — “Этот кобель еще в другую деревню бегают”. Если попробовать быть искренним до конца... Ты — уже здесь. И ты уже понимаешь — Чернобыль... Но стелется дорога... Бежит ручей, просто бежит ручей. А это случилось... Бабочки летают... Красивая женщина стоит у реки... А это случилось... Я что-то подобное чувствовал, когда умер близкий мне человек. Солнце... У кого-то за стеной музыка... Ласточки бьются под крышей... А он умер... Пошел дождь... А он умер... Понимаете? Я хочу поймать словом свои чувства, передать, как это все во мне было в то время. Попасть в другое измерение...

Увидел и начал снимать цветущую яблоню... гудят шмели, белый, свадебный цвет... Опять же — люди работают, сады цветут... Держу в руках камеру, но не могу понять... Что-то не так! Экспозиция нормальная, картинка красивая, а что-то не то. И вдруг пронзает: не слышу запаха. Сад цветет, а нет запаха! Это только потом я узнал, что существует такая реакция организма при высокой радиации, блокируются некоторые органы. Маме моей семьдесят четыре года, и она, вспоминая я, жалуется, что не слышит запахов. Ну, думаю, теперь это со мной случилось. Спрашиваю у своих в группе, а нас было трое: “Как пахнет яблоня?” — “Да, никак не пахнет”. Что-то с нами происходило... Сирень не пахла... Сирень! И у меня появилось чувство: все, что вокруг, неправда. Я — среди декораций... И что мое сознание это не в состоянии освоить, ему не на что опереться. Схемы нет!

Из детства... Соседка, бывшая партизанка, рассказывала, как во время войны их отряд выбирался из окружения. У нее на руках маленький ребенок, месячный, шли по болоту, кругом каратели... Ребенок плакал... Он мог их выдать, их обнаружили бы, весь отряд. И она его задушила. Говорила об этом отстраненно, как будто это не она, а другая какая-то женщина сделала, и ребенок был чужой. Почему она об этом вспомнила, я уже забыл. Помню отчетливо другое, свой ужас: что же это она такое сотворила? Как смогла? Мне казалось, что весь партизанский отряд выходил из окружения ради этого ребенка, чтобы его спасти. А тут, чтобы остались живы здоровые сильные мужчины, задушили дитя. В чем смысл жизни тогда? Мне не хотелось после этого жить. Мне, мальчишке, неловко было смотреть на эту женщину, потому что я узнал про нее такое... И, вообще, про человека что-то ужасное узнал. А каково ей видеть меня? *(Какое-то время молчит.)* Вот почему я не хочу вспоминать... О тех днях в зоне... Придумываю для себя разные объяснения. Мне не хочется открывать ту дверь... Я там хотел понять, где я настоящий и где ненастоящий. У меня уже были дети. Первый — сын. Когда у меня родился сын, я перестал бояться смерти. Смысл моей жизни открылся...

Ночью в гостинице... Просыпаюсь — монотонный шум за окном, непонятные синие сполохи. Отдергиваю шторы: по улице идут десятки уазиков с красными крестами и мигалками. В полной тишине. Испытал что-то наподобие шока. Всплыли в памяти кадры из фильма... Сразу переместился в детство... Послевоенные дети, мы любили военные фильмы. Ну, и такие кадры... И детский страх..... Из города ушли все свои, и ты остался один, и должен принимать решение. А что самое правильное? Притвориться, что ты не живой? Или как? А если что-то должен совершить, то что?

В Хойниках в центре города висела Доска почета. Лучшие люди района. Но поехал в зараженную зону и вывез детей из детского сада шофер-пьяница, а не тот, с Доски почета. Все стали сами собой. А вот еще — эвакуация. Первыми увозят детей. Погрузили в большие автобусы “Икарусы”. Я ловлю себя на том, что снимаю, как это видел в военных фильмах. И тут же замечаю, что не я один, но и люди, которые участвуют во всем этом

действии, ведут себя подобным образом. Они держатся так, как когда-то, помните, в любимом всеми нами фильме “Летят журавли”: редкая слеза на глазах, короткие слова прощания...Взмах руки... Выходило, что мы все пытались найти форму поведения, которая нам уже была знакома. Старались чему-то соответствовать. Девочка машет маме рукой, что, мол, все в порядке, она мужественная. Мы победим!. Мы... Мы – такие...

Я подумал, что приеду в Минск, а там тоже эвакуация. Как я буду прощаться со своими — женой, сыном? Представлял себе в том числе и этот жест: мы победим! Мы — ратники. Мой отец, сколько я помню, носил военные одежды, хотя не был военным. Думать о деньгах — мещанство, о своей жизни — непатриотично. Нормальное состояние — голодное. Они, наши родители, пережили разруху, и мы должны ее пережить. Иначе настоящим человеком не станешь. Нас учили воевать и выживать в любых условиях. Мне самому после срочной службы в армии гражданская жизнь показалась пресной. Ночью ходили компанией по улицам в поисках острых ощущений. В детстве читал великолепную книгу “Чистильщики”, автора забыл, там ловили диверсантов, шпионов. Азарт! Охота! Так мы устроены. Если каждый день работа и хорошая еда, — невыносимо, некомфортно!

Жили мы в общежитии какого-то пэтуэ вместе с ликвидаторами. Молодые ребята. Водки выдали чемодан – выводить радиацию. Вдруг выясняется, что в этом же общежитии расположился отряд медслужбы. Одни девчонки. “Ну, сейчас гульнем!” — говорят мужики. Пошли двое и тут же возвращаются во-о-т! с такими глазами... Зовут нас... Картинка: идут по коридору девчонки... Под гимнастерку выдают штаны и кальсоны с завязочками, они у них по полу тянутся, болтаются, никто не стесняется. Все старое, бэу (бывшее в употреблении), не по росту. Висит, как на вешалках. Кто в тапочках, кто в сапогах расхлябанных. А поверх гимнастерки еще прорезиненная спецодежда натянута, каким-то химическим составом пропитанная... За-а-пах... Некоторые и на ночь не снимают. Жутко смотреть... И никакие они не медсестры, взяли их с института, с военной кафедры. Пообещали, что на два дня, а когда мы приехали туда, они уже месяц там были. Рассказывали, что их возили на реактор, они там насмотрелись на ожоги, но про ожоги я только от них слышал. Вот и сейчас их вижу — бродят по общежитию, как во сне...

В газетах писали, что, к счастью, ветер дул не в ту сторону... Не на город... Не на Киев... Еще никто не знал... Не догадывался, что он дул на Беларусь... На меня и на моего Юрика. Мы с ним в этот день гуляли в лесу, щипали заячью капусту. Господи, как же меня никто не предупредил!

Вернулся из экспедиции в Минск... Еду в троллейбусе на работу. Доносятся обрывки разговора: снимали фильм в Чернобыле, и один оператор прямо там умер. Сгорел. Ну, думаю: “Кто же такой?” Дальше слушаю: молодой, двое детей. Имя называют Витя Гуревич. Есть у нас такой оператор, совсем молодой парень. Двое детей? Что ж он скрывал? Подъезжаем к киностудии, кто-то уточняет: не Гуревич, а Гурин, и зовут Сергей. Господи, да это же я! Смешно сейчас, но тогда я шел от метро к киностудии и боялся, что открою дверь и... Нелепейшая мысль: “А где они фотографию мою взяли? В отделе кадров?” Откуда этот слух родился? Несовпадение масштабов происходящего с количеством жертв. Например, Курская битва. Тысячи погибших... Это понятно. А тут — в первые дни вроде бы всего семь пожарников... Потом — еще несколько человек... А дальше слишком абстрактные определения для нашего сознания: “через несколько поколений”, “вечность”, “ничто”. Начинались слухи: летают трехголовые птицы, куры заклеивают лис, лысые ежики...

Ну, а дальше... Дальше надо снова кому-то в зону ехать. Один оператор принес справку, что у него язва желудка, второй — в отпуск смотался... Вызывают меня: “Надо!” — “Так я же только вернулся”. — “Понимаешь, ты уже там был. Тебе все равно. И потом:

у тебя уже есть дети. А они — молодые”. Елки-палки, я, может, тоже хочу, чтобы у меня было пятеро-шестеро детей!! Ну, начинают давить, мол, скоро тарификация, у тебя козырь появится. Зарплату повысят... Грустная и смешная история. Загнал на край сознания...

Как-то снимал людей, которые были в концлагере. Обычно они избегают встречаться. Что-то есть противоестественное в том, чтобы собираться и вспоминать войну. Вспоминать, как их убивали и как они убивали. Люди, познавшие или пережившие вместе унижения... Эти люди бегут друг от друга. От себя бегут. Бегут от того, что они там узнали о человеке... Что там из него вынырнуло. Из-под кожи. Вот... Вот почему... Что-то там... В Чернобыле... Я тоже узнал, почувствовал, о чем не хочется говорить. О том, например, что все наши гуманистические представления относительно... В экстремальной ситуации человек по сути совсем не тот человек, о котором пишут книги. Такого человека, какой он в книгах, я не нашел, он мне не встретился. Все наоборот. Человек — не герой. Все мы — продавцы апокалипсиса. Большие и маленькие. Мелькают в памяти обрывки... Картинки... Председатель колхоза хочет на двух машинах вывезти свою семью с вещами, мебелью, а парторг просит одну машину для себя. Требуем справедливости. А уже несколько дней, я свидетель, не могут вывезти детей, ясельную группу. Не хватает транспорта. А тут двух машин мало, чтобы упаковать все домашнее барахло вплоть до трехлитровых банок с вареньями и соленьями. Я видел, как их назавтра грузили. Тоже не снял... *(Неожиданно засмеялся)* Купили там в магазине колбасу, консервы, а есть страшно. Возили эти сетки с собой. Тоже было жалко выбросить. *(И уже серьезно)*. Механизм зла будет работать и при апокалипсисе. Я это понял. Также будут сплетничать, заискивать перед начальством, спасать свой телевизор и каракулевую шубу. И перед концом света человек останется тот же, какой он сейчас. Всегда.

Мне как-то неловко, что я не пробил своей киностудии никаких льгот. Одному нашему парню нужна была квартира, иду в профком: “Помогите, мы полгода просидели в зоне. Положены льготы”. — “Хорошо, — сказали, — несите справочки. Справочки нужны с печатями”. А мы там приезжали в райком, а по коридорам ходит одна тетка Настя со шваброй. Все разбежались. Есть у нас режиссер, у него стопка справок: где был, что снимал. Герой!

У меня в памяти большой, длинный фильм, который я не снял. Много серий... *(Молчит.)* Все мы — продавцы апокалипсиса...

Заходим с солдатами в хату. Живет одна бабка.

— Ну, бабка, поедем.

— Поедем, детки.

— Тогда собирайся, бабка.

Ждем на улице. Курим. И вот эта бабка выходит: у нее на руках — икона, котик и узелок. Это все, что она берет с собой.

— Бабка, кота нельзя. Не положено. У него шерстка радиоактивная.

— Нет, детки, без котика не поеду. Как я его оставлю? Одного оставлю. Это — моя семья.

Вот с этой бабки... И с той цветущей яблони... С них все началось... Я снимаю теперь только зверей... Я вам говорил: смысл моей жизни открыт...

Однажды показал свои чернобыльские сюжеты детям. Меня упрекали: зачем? Нельзя. Не надо. И так они живут в этом страхе, среди этих разговоров, у них изменения в крови, нарушена иммунная система. Надеялся, что придет пять-десять человек. Набил полный зал. Вопросы задавали самые разные, но один прямо врезался мне в память. Мальчик, запинаясь и краснея, видно, из тихих, неразговорчивых, спросил: “А почему было нельзя помочь животным, которые там остались?” Ну, почему? У меня у самого такой вопрос не появлялся. И я не смог ему ответить... Искусство наше только о страдании и любви

человека, а не всего живого. Только человека! Мы не спускаемся к ним: животным, растениям... В другой мир... А ведь человек может все уничтожить. Всех убить. Теперь это уже не фантазия... Мне рассказали, что в первые месяцы после аварии, когда обсуждалась идея переселения людей, появился проект вместе с людьми переселить и животных. Но как? Как переселить всех? Может быть, как-то еще можно перегнать тех, кто на земле, а тех, кто в земле — жучков, червячков? А тех, кто наверху? В небе? Как эвакуировать воробья или голубя? Как поступить с ними? У нас нет средств передать им нужную информацию.

Хочу снять фильм... Будет называться “Заложники”... О животных... Помните, песню “Плыл по океану рыжий остров”. Тонет корабль, люди сели в шлюпки. А лошади не знали, что в шлюпках нет места для лошадей...

Современная притча... Действие происходит на далекой планете. Космонавт в скафандре. Слышит через наушники шум. Видит, что на него надвигается что-то огромное. Необъятное. Динозавр?! Еще не понимая, кто это, он стреляет. Через мгновение — снова что-то к нему приближается. Он и его уничтожает. Еще через миг — стадо. И он устраивает бойню. А, оказывается, начался пожар, и животные спасались, бежали по тропе, на которой стоял космонавт. Человек! А со мной... Я вам скажу... Со мной там произошла необычная вещь. Я другими глазами начал смотреть на животных... На деревья... На птиц... Езжу в зону... Все эти годы... Из брошенного, разоренного человеческого дома выскакивает дикий кабан... Выходит лосиха... Вот это я снял. Это — ищу... Я хочу сделать новый фильм. И увидеть все глазами зверя... “О чем ты снимаешь?” — говорят мне. — Посмотри вокруг... В Чечне — война.” А Святой Франциск проповедовал птицам. С птицами говорил, как с равными. А что если это птицы говорили с ним на птичьем языке, а не он снизошел до них. Ему был понятен их тайный язык.

Помните... У Достоевского... Как человек хлестал лошадь по кротким глазам. Безумный человек! Не по крупу, а по кротким глазам...”

Сергей Гурин, кинооператор

Монолог без названия — крик”

Люди добрые... Не трогайте нас! Отстаньте! ... Вы поговорили и поехали, а нам тут жить...

Вот лежат медицинские карточки... Каждый день я беру их в руки. Читаю...

Аня Будаев — 1985 года рождения — 380 бэр.

Витя Гринкевич — 1986 года рождения — 785 бэр.

Настя Шабловская — 1986 года рождения — 570 бэр.

Алеша Пленин — 1985 года рождения — 570 бэр.

Андрей Котченко — 1987 года рождения — 450 бэр...

Привела мама одну такую девочку ко мне сегодня на прием.

— Что болит?

— У меня болит все, как у моей бабушки — сердце, спина, кружится голова.

С детства они знают слово “алопеция”, потому что многие ходят лысенькие. Без волос. Нет бровей, ресниц. К этому все привыкли. Но в нашей деревне только начальная школа, в пятый класс их возят автобусом за десять километров. И они плачут — не хотят ехать. Там дети будут над ними смеяться.

Сами видели... У меня полный коридор больных. Ждут. Я каждый день такое слышу, что все ваши ужастики по телевизору барахло. Так и передайте начальству в столице. Барахло!

Модерн... Постмодерн... Ночью подняли по срочному вызову. Приезжаю... Мать стоит на коленях возле кровати – ребенок умирает. Я слышу ее причитания: “Я хотела, сынок, если это случится, то чтобы летом. Летом тепло, цветочки, земля мягкая. А сейчас зима... Подожди хотя бы до весны...” Вы так напишете?

Я не хочу торговать их несчастьем. Философствовать. Для этого мне надо отойти в сторону. А я не могу... Я каждый день слышу, что они говорят... Как жалуются и плачут... Люди добрые... Хотите знать правду? Садитесь возле меня и записывайте... Так никто же такую книгу читать не станет...

Лучше не трогайте нас... Нам тут жить...”

*Аркадий Павлович Богданкевич,
сельский фельдшер*

Монолог на два голоса — мужской и женский

Учителя Нина Константиновна и Николай Прохорович Жарковы. Он преподает уроки труда, она — филолог.

Она:

— Я так часто думаю о смерти, что не хожу на нее смотреть. А вы когда-нибудь слышали детские разговоры о смерти?

Вот у меня... Уже в седьмом классе спорят и обсуждают: это страшно или не страшно? Если маленьких детей недавно интересовало: откуда они? Откуда дети берутся? То сейчас их волнует, что будет после атомной войны? Они перестали любить классику, я читаю наизусть Пушкина — у них холодные, отстраненные глаза... Пустота... Вокруг них уже другой мир... Читают фантастику, это их увлекает, там, где человек отрывается от земли, орудует космическим временем, разными мирами. Они не могут бояться смерти так, как ее боятся взрослые люди, я, например, она волнует их, как нечто фантастическое... Переселение куда-то...

Размышляю... Думаю над этим... Смерть вокруг заставляет много думать. Я преподаю русскую литературу детям, которые не похожи на тех детей, что были десять лет назад. У этих на глазах все время что-то или кого-то хоронят. Зарывают в землю... Знакомых людей... Дома и деревья... Все хоронят... На линейке эти дети падают в обморок, когда постоят пятнадцать—двадцать минут, у них кровь течет из носа. Их ничем не удивить и ничем не порадуешь. Всегда сонливые, усталые. Лица бледные, серые. Не играют и не дурачатся. А подерутся, нечаянно побьют окно — учителя даже рады. Не ругают, потому что они на детей не похожи. И так медленно растут. Просишь на уроке что-нибудь повторить — ребенок не может, доходит до того, что скажешь предложение, чтобы повторил вслеп — не запоминает. “Ну где же ты? Где?” — тормошишь его. Думаю... Много думаю... Как будто водой рисую на стекле, только я знаю, что я рисую, никто не видит, никто не догадывается... Никто не представляет...

Наша жизнь вертится вокруг одного... Вокруг Чернобыля... Где тогда был, как далеко от реактора жил? Что видел? Кто умер? А кто уехал? Куда? В первые месяцы, помню, опять загудели рестораны, зашумели вечеринки... “Живем один раз...” “Помирать, так с музыкой...” Наехали солдаты, офицеры... Чернобыль теперь не оставляет нас... Неожиданно умерла молодая беременная женщина. Без диагноза, даже патологоанатом не поставил диагноза. Маленькая девочка повесилась... Пятиклассница... Ни с того, ни с сего. Родители с ума сходят. На все один диагноз — Чернобыль, чтобы не случилось все говорят — Чернобыль. Нас упрекают: “Вы болеете, потому что боитесь. Из страха.

Радиофобия”. Но почему маленькие дети болеют и умирают? Они страха не знают, еще не понимают.

Я помню те дни... Жгло горло, тяжесть, какая-то тяжесть во всем теле. “Вы мнительная, — сказала врач. — Все сейчас стали мнительны, потому что Чернобыль случился”. — “Какая мнительность? Все болит. У меня нет сил”. Стеснялись с мужем признаваться друг другу, но у нас начали отниматься ноги. Все вокруг жаловались, наши друзья, все люди, что идешь по дороге и, кажется, тут бы лег. Лег и заснул. Ученики ложились на парты, во время уроков засыпали. И ужасно все стали невеселые, мрачные, за целый день ни одного доброго лица не встретишь, чтобы кто-то улыбнулся. С восьми утра до девяти вечера дети находились в школе, строго запрещалось играть на улице, бегать. Им выдали одежду: девочкам — юбки и кофты, мальчикам — костюмы; но они в этой одежде шли домой, где они там в ней были, мы не знали. По инструкции мамы должны были дома каждый день эту одежду стирать, чтобы в школу дети являлись во всем чистом. Во-первых, дали только одну, например, кофточку и одну юбку, а смены не дали, а, во-вторых, мамы загружены домашним хозяйством — куры, корова, поросенок, да и не понимают они, что эти вещи надо стирать каждый день. Грязь для них — это чернила, земля, жирные пятна, а не воздействие каких-то короткоживущих изотопов. Когда я пыталась что-нибудь объяснить родителям своих учеников, по-моему, они понимали меня не больше, чем если бы вдруг к ним заявился шаман из африканского племени. “А что это такое — радиация? Не слышно и не видно... А-а... У меня вон денег от полочки до полочки не хватает. Последних три дня всегда на молоке и картошке сидим. А-а...” — и мать махнет рукой. А молоко нельзя... И картошку нельзя. В магазин завезли китайскую тушенку и гречку, а за что их купить? Гробовые... Дают гробовые... Компенсация за то, что здесь живем... копейки... Хватает на две банки консервов... Инструкции рассчитаны на грамотного человека, на определенную бытовую культуру. Но ее нет! Нет у нас того народа, на которого рассчитаны эти инструкции. Кроме того, не очень просто каждому объяснить, чем отличаются бэры от рентгенов... Или теорию малых доз...

С моей точки зрения... Я бы говорила о нашем фатализме, этакий легкий фатализм. Например, с огородов в первый год ничего нельзя было употреблять, все равно ели, заготавливали впрок. Еще так здорово все уродило! Ты попробуй скажи, что огурцы есть нельзя и помидоры... Что значит — нельзя? По вкусу нормальные... И он их ест, и живот у него не болит... И в темноте никто не “светится”... Соседи наши положили в тот год новый пол из местного леса, померили — фон в сто раз выше допустимого. Никто тот пол не разобрал, они так и жили. Все, мол, как-то образуется, как-то оно будет, но образуется само по себе, без них, без их участия. Первое время кой-какие продукты носили к дозиметристам, проверяли — в десятки раз выше нормы, но потом бросили. “Не слышно, не видно. А-а, придумают эти ученые!” Все шло своим чередом: вспахали, посеяли, собрали... Случилось немыслимое, а люди жили, как жили. И отказ от огурцов со своего огорода был важнее Чернобыля. Детей все лето держали в школе, солдаты помыли ее стиральным порошком, сняли вокруг слой земли... А осенью? Осенью послали учеников убирать бураки. И студентов на поле привезли, пэтэушников. Всех согнали. Чернобыль — это не так страшно, как оставить в поле не выкопанную картошку...

Кто виноват? Ну, кто виноват, кроме нас самих!

Раньше мы не замечали этот мир вокруг себя, он был, как небо, как воздух, как будто кто-то его дал нам навечно, и он от нас не зависит. Будет всегда. Раньше я любила лечь в лесу на траву и любоваться небом, мне было так хорошо, что я забывала, как меня зовут. А сейчас? Лес красивый, полно черники, но ее никто не собирает. В осеннем лесу редко услышишь человеческий голос. Страх в ощущениях, на подсознательном уровне... У нас остались только телевизор и книги... Воображение... Дети растут в домах... Без леса и

реки... Смотрят из окна. И это совсем другие дети. А я прихожу к ним: “Унылая пора. Очей очарованье...” Все с тем же Пушкиным, который казался мне вечным. Иногда появляется кощунственная мысль: а вдруг вся наша культура — сундук со старыми рукописями. Все то, что я люблю...

Он:

— Появился другой враг... Враг предстал перед нами в другом образе...

А у нас было военное воспитание. Военное мышление. Нас ориентировали на отражение и ликвидацию атомного нападения. Мы должны были противостоять химическим, биологическим и атомным войнам. А не выводить из организма радионуклиды... Подсчитывать... Следить за цезием и стронцием... С войной сравнивать нельзя, не точно, а все сравнивают. Я ребенком пережил ленинградскую блокаду. Сравнивать это нельзя. Там мы жили, как на фронте, под бесконечными обстрелами. И голод, несколько лет голод, когда человек опускался до звериных инстинктов. До зверя в себе. А тут, пожалуйста, вышел — и в огороде все растет! И на поле ничего не изменилось, и в лесу. Это несравнимо. Но я другое хотел сказать... Потерял нить... Ускользнула... А-а... Когда начинается обстрел, не дай Бог! Ты можешь умереть не когда-то, а сейчас, сию минуту. Зимой — голод. Жгли мебель, мы все деревянное в своей квартире сожгли, все книги, по-моему, даже какими-то старыми тряпками топили. Человек идет по улице и сел, на следующий день идешь, он сидит, то есть он замерз, он сидит так неделю или до весны сидит. До тепла. Ни у кого нет сил его изо льда вырубить, в редких случаях, если кто-нибудь на улице падал, к нему подходили, помогали. Мимо. Все ползут мимо. Я помню, что люди не ходили, а ползали, так они медленно ходили. Это ни с чем не сравнить!

С нами, когда взорвался реактор, еще жила мама, моя мама, она повторяла: “Самое страшное, сынок, мы с тобой пережили. Мы пережили блокаду. Ничего страшнее не может быть.” Она так думала...

Мы готовились к войне, атомной войне, строили ядерные убежища. От атома хотели спрятаться, как от осколков снаряда. А он всюду... В хлебе, в соли... Дышим радиацией, едим радиацию... То, что может не быть хлеба и соли и можно съесть все, вплоть до того, что сварить в воде кожаный ремень, ради запаха, наестся запахом — я мог понять. А это нет... Все отравлено... Сейчас важно уяснить, как же нам жить? В первые месяцы был страх, особенно врачи, учителя, короче, интеллигенция, более грамотные люди, они бросали все и уезжали. Хотя их запугивали, не пускали. Военная дисциплина... Партбилет на стол... А я хочу понять... Кто виноват? Чтобы ответить на вопрос, как нам здесь жить, надо знать: кто виноват? Кто же? Ученые, персонал станции? Или мы сами, как мы смотрим на мир. Не можем остановиться в своем желании иметь... Потреблять... Виноватых нашли — директор, дежурные операторы. Наука. Но почему, ответьте мне, мы не боремся с автомобилем, как творением ума человеческого, а с реактором боремся? Требуем закрыть все атомные станции, а атомщиков отдать под суд?! Проклинаем! Я боготворю человеческое знание. И все то, что создано человеком. Знание... Само знание не бывает преступным... Ученые сегодня тоже жертвы Чернобыля. Я хочу жить после Чернобыля, а не умирать после Чернобыля. Хочу понять, за что я могу зацепиться в своей вере. Что даст мне силу?...

Все у нас об этом думают... Реакции сейчас у людей разные, все-таки десять лет прошло, а они меряют войной. Война четыре года длилась... Уже, считайте — две войны... Я перечислю вам, какие есть реакции: “Все уже позади”, “Как-нибудь обойдется”, “Десять лет прошло. Уже не страшно”, “Мы все умрем! Все скоро умрем!” “Хочу уехать за границу”. “Нам должны помочь”, “А, плевать! Надо жить”. Кажется, все перебрал? Вот это мы каждый день слышим... Повторяется... С моей точки зрения, мы — материал для

научных исследований. Международная лаборатория... В центре Европы... Нас, белорусов, десять миллионов, больше двух миллионов живет на зараженной земле. Естественная лаборатория... Записывай данные, экспериментировать. И едут к нам отовсюду, со всего мира. Защищают диссертации, пишут монографии. Из Москвы и Петербурга... Из Японии, Германии, Австрии... Едут, потому что боятся будущего ... *(Длинный перерыв в разговоре.)*

Что я подумал? Я опять сравнил... Я подумал, что о Чернобыле могу говорить, а о блокаде не могу. Получил письмо из Ленинграда. Извините, но слово Петербург в моем сознании не прижилось, потому что умирал я в Ленинграде... И вот... В письме — приглашение на встречу “Дети блокадного Ленинграда”. Я поехал... Но не смог там слово из себя выдавить. Просто рассказать о страхе? Мало... Просто о страхе... А что он сделал со мной, этот страх? Я до сих пор не знаю... Дома о блокаде мы никогда не вспоминали, мама не хотела, чтобы мы вспоминали блокаду. А о Чернобыле мы говорим... Нет... *(Останавливается.)* Между собой мы не говорим, этот разговор возникает, когда кто-нибудь к нам приезжает: иностранцы, журналисты, родственники, которые здесь не живут. Почему мы не говорим о Чернобыле? Нет у нас этой темы ... В школе... С учениками... И дома... Она заблокирована. Закрыта. Об этом с ними говорят в Австрии, Франции, Германии, куда они ездят на лечение. Спрашиваю детей, о чем у них хотят узнать, чем там интересуются? А они часто не помнят ни города, ни деревню, ни фамилии людей, которые их принимали. Перечисляют подарки, что вкусное ели. Кому-то подарили магнитофон, а кому-то — нет. Приезжают в одеждах, которые сами не заработали и не заработали их родители. Вот как будто они где-то на выставке побывали. В большом магазине...Дорогом супермаркете... Все время ждут, что их еще раз туда повезут. Покажут, одарят. Они к этому привыкают. Привыкли. Это уже способ их жизни, представление о ней. После этого большого магазина, который называется заграницей, после этой дорогой выставки надо идти к ним в класс. На урок. Я иду и вижу, что это уже наблюдатели... Наблюдают, а не живут. Я должен им помочь... Я должен им объяснить, что мир это не супермаркет. Это что-то другое. Более трудное и более прекрасное. Я веду их в свою мастерскую, там стоят мои деревянные скульптуры. Они им нравятся. Говорю: “Это все можно сотворить из обыкновенного куска дерева. Попробуй сам”. Пробудись! Мне это помогло выйти из блокады, я выходил годами...

Мир разделился: есть мы — чернобыльцы и есть вы, все другие люди. Заметили? У нас здесь не акцентирует: я — белорус, я — украинец, я — русский... Все называют себя чернобыльцами. “Мы — из Чернобыля”, “я — чернобыльский человек”. Как будто мы отдельный какой-то народ.... Новая нация...

*Монолог о том, как совершенно
неведомая вещь вползает, влезает в тебя*

“Муравьи... Маленькие муравьи ползут по стволу...

Вокруг гремит военная техника. Солдаты. Крики, ругань. Мат. Трещат вертолеты. А они ползут... Я возвращался из зоны, и от всего увиденного за день ясной в памяти оставалась одна эта картина ... Этот момент... Мы остановились в лесу, я стал покурить возле березы. Стал близко, оперся. Прямо перед моим лицом муравьи ползли по стволу, не слыша нас, не обращая никакого внимания... Упорно преследуя свой маршрут...Мы исчезнем, а они и не заметят. Что-то такое промелькнуло в мыслях. В обрывках мыслей. Столько было впечатлений, что думать я не мог. Я смотрел на них... Я... Я никогда раньше их так рядом не замечал... На близком расстоянии...

Сначала все говорили “катастрофа”, потом “ядерная война”. Я читал о Хиросиме и Нагасаки, видел документальные кадры. Страшно, но понятно: атомная война, радиус

взрыва... Это я даже мог себе представить. Но то, что случилось с нами ... На это меня не хватало... Не хватало моих знаний, не хватало всех книг, которые я за жизнь прочитал. Приезжал из командировки и с недоумением смотрел на книжные полки в своем кабинете... Читал... А можно было и не читать... Какая-то совершенно неведомая вещь разрушала весь мой прежний мир. Вот она вползает, влезает в тебя... Помимо твоей воли... Помню разговор с одним ученым: “Это на тысячи лет, — объяснял он. — Распад урана — это двести тридцать восемь полураспадов. Переведем на время: один миллиард лет. А у тория — это четырнадцать миллиардов лет”. Пятьдесят... Сто... Двести лет... Но дальше? Дальше — стопор, шок!. Я уже не понимал, что такое — время? Где я?

Писать об этом сейчас, когда всего десять лет прошло... Миг...Писать? Думаю, рискованно! Не надежно. Все равно будем придумывать что-нибудь похожее на нашу жизнь. Снимать кальку. Я пробовал... Ничего не получилось... После Чернобыля осталась мифология о Чернобыле. Газеты и журналы соревнуются, кто напишет страшнее, особенно любит страхи человек, который там не был. Все читали о грибах с человеческую голову, но никто их не находил. О птицах с двумя клювами... Поэтому надо не писать, а записывать. Документировать. Дайте мне фантастический роман о Чернобыле... Нет его! И не будет! Я вас уверяю! Не будет...

У меня отдельный блокнот... Вел с первых дней... Записывал разговоры, слухи, анекдоты. Это самое интересное и достоверное. Точный отпечаток. Что осталось от Древней Греции? Мифы Древней Греции...

Я отдам вам этот блокнот... У меня он завяляется среди бумаг, ну, может быть, детям, когда они вырастут, покажу. А все-таки это история...

Из разговоров:

“По радио уже третий месяц: обстановка стабилизируется... Обстановка стабилизируется... Обстановка стаб...”

“Мгновенно воскресла забытая сталинская лексика: “агенты западных спецслужб”, “заклятые враги социализма”, “шпионские вылазки”, “диверсионная акция”, “удар в спину”, “подрыв нерушимого союза советских народов”. Все вокруг твердят о засланных шпионах и диверсантах, а не о йодной профилактике. Любая неофициальная информация воспринимается, как чужая идеология.

Вчера из моего репортажа редактор вычеркнул рассказ матери одного из пожарников, тушивших в ту ночь... ядерный пожар. Он умер от острой лучевой болезни. Похоронив сына в Москве, родители вернулись в свою деревню, которую вскоре отселили. Но осенью они тайно, через лес пробрались к себе на усадьбу и собрали мешок помидор и огурцов. Мать довольная: “Закрутили двадцать банок”. Доверие земле... Вечному крестьянскому опыту... Даже смерть сына не перевернула привычный мир...

“Радио “Свобода” слушаешь?” — вызвал редактор. Я промолчал. — “Мне в газете не нужны паникеры. Ты о героях напиши... Солдаты на крышу реактора полезли...”

Герой... Герои... Кто они сегодня? Для меня это врач, который, несмотря на приказы сверху, говорит людям правду. И журналист, и учёный. Но, как сказал на планёрке редактор: “Запомните! У нас нет ни врачей, ни учителей, ни учёных, ни журналистов, у нас у всех сейчас одна профессия — советский человек.”

Верил ли он сам в свои слова? Неужели ему не страшно? Моя вера подтачивается каждый день.”

“Приехали инструкторы из цека. Их маршрут: на машине из гостиницы — в обком партии, назад — тоже на машине. Обстановку изучают по подшивкам местных газет.

Полные саквояжи минских бутербродов. Чай заваривают на минеральной воде. Тоже привезенной. Рассказывала об этом дежурная гостиницы, где они жили. Люди не верят газетам, телевидению и радио, ищут информацию в поведении начальства. Она наиболее достоверная.

Что делать с ребенком? Хочется схватить в охапку и бежать. Но у меня партбилет в кармане. Не могу!”

“Самая популярная сказка зоны: лучше всего помогает от стронция и цезия — водка “Столичная”.

Но в деревенских магазинах неожиданно появились дефицитные товары. Слышал, как выступал секретарь обкома: “Мы создадим вам райскую жизнь. Только оставайтесь и работайте. Завалим колбасой и гречкой. У вас будет все то, что есть в лучших спецмагазинах”. То есть в их обкомовских буфетах. Отношение к народу такое: ему достаточно водки и колбасы.

Но черт возьми! Никогда не видел, чтобы в сельском магазине было три сорта колбасы. Сам купил там жене импортные колготки...”

“Дозиметры побыли в продаже месяц и исчезли. Об этом писать нельзя. Сколько и каких радионуклидов выпало — тоже нельзя. Нельзя и о том, что в деревнях остались одни мужчины. Женщин и детей вывезли. Целое лето мужчины сами стирали, доили коров, копали огороды. Конечно, пили. Дрались. Мир без женщин... Жаль, что я не сценарист. Сюжет для фильма... Где Спилберг? Мой любимый Алексей Герман? Написал об этом... Но и тут неумолимый редакторский красный вычерк: “Не забывайте, у нас враги. У нас много врагов за океаном”. И поэтому у нас есть только хорошее, а плохого нет. И непонятного не может быть.

Но где-то специальные составы подаются, кто-то видел начальство с чемоданами...”

“Возле милицейского поста меня остановила старая бабка: “Погляди ты там на мою хату. Пора бульбу копать, а солдаты не пускают”. Их переселили. Обманули, что на три дня. Иначе бы они не поехали. Человек в вакууме, человек без ничего. Они пробираются в свои деревни через военные заслоны... Лесными стежками. По болотам... Ночью... За ними гоняются, ловят. На машинах и вертолетах. “Как при немцах”, — сравнивают старые люди. В войну...”

“Видел первого мародера. Молодой парень, одетый в две меховые куртки. Доказывал военному патрулю, что лечится таким способом от радикулита. Когда раскололи, признался: “Первый раз страшновато, а потом привычное дело. Выпил чарку — и пошел”. Переступив инстинкт самосохранения. В нормальном состоянии это невозможно. Так наш человек идет на подвиг. И также — на преступление”.

“Зашли в пустую хату — на белой скатерти лежит икона... “Для Бога”, — сказал кто-то...”

В другой — стол накрыт белой скатертью... “Для людей” — сказал кто-то...”

“Съездил в свою родную деревню через год. Собаки одичали. Нашел нашего Рекса, зову — не подходит. Не узнал? Или не хочет узнавать? Обиделся”.

“В первые недели и месяцы все притихли. Молчали. В прострации. Надо уезжать, до последнего дня: нет. Сознание отключилось. Не помню серьезных разговоров, помню

анекдоты: “теперь во всех магазинах радиотовары “, “импотенты делятся на радиоактивных и радиопассивных”. А потом анекдоты вдруг исчезли...”

“В больнице маленькая девочка рассказывает маме:
— Мальчик умер, а вчера угощал меня конфетами”.

“В очереди за сахаром:
— Ой, людцы, а сколько грибов в этом году. И грибов, и ягод, как насажено
— Они зараженные...
— Чудак человек... Кто заставляет тебя есть — насобирал, засушил и отвез на базар в Минск. Миллионером станешь”.

“Можно ли нам помочь? И как? Переселить народ в Австралию или Канаду? Якобы такие разговоры где-то на самых верхах циркулируют время от времени”.

“Для церквей выбирали место буквально с неба. Были явления церковным людям. Совершались таинства, предшествовавшие строительству. А атомную станцию строили, как завод или типовую свиноферму. Крышу залили асфальтом. Битумом. И она, когда горела, плавилась...”

“Читал? Под Чернобылем выловили беглого солдата. Выкопал землянку и год жил возле реактора. Питался тем, что ходил по брошенным домам, где сало найдет, где банку с маринованными огурцами. Ставил капканы на зверей. Бежал, потому что “деды” били “насмерть”. Спасался — в Чернобыле...”

“Мы — фаталисты. Мы ничего не предпринимаем, потому что верим: все будет так, как будет. Верим в судьбу. У нас такая история... На каждое поколение выпадала война... Кровь... Откуда нам быть другими? Мы — фаталисты...”

“Появились первые волкособаки, родившиеся у волчиц от собак, убежавших в лес. Они крупнее волков, не обращают внимания на флажки, не боятся света и человека, не идут на “вабу” (подражательный призывный клич охотников). И одичавшие кошки уже сбиваются в стаи и не боятся людей. Память о том, как подчинялись человеку, исчезла. Стирается граница между реальным и нереальным...”

“Вчера моему отцу исполнилось восемьдесят лет... Собралась за столом вся семья. Я смотрел на него и думал о том, сколько вместила его жизнь — сталинский ГУЛАГ, война, и вот теперь—Чернобыль. Все выпало на время его поколения. Одного поколения. А он любит рыбалку... Копаться в саду...В молодости, обижалась мать, был ходок: “Ни одной юбки в округе не пропустил”. И теперь, я замечал, как он опускает глаза, когда на встречу идет молодая, красивая женщина...”

Что мы знаем о человеке? О том, что он может... Насколько его хватает...”

Из слухов:

“За Чернобылем строят лагеря, в которых будут держать тех, кто попал под радиацию. Подержат, понаблюдадут и похоронят.

Из близлежащих к станции деревень мертвых уже вывозят автобусами и прямо на кладбище, тысячами закапывают в братские могилы. Как в ленинградскую блокаду...”

“Несколько человек якобы видели накануне взрыва непонятное свечение в небе над станцией. Кто-то даже его сфотографировал. На пленке обнаружилось, что это парит какое-то неземное тело...”

“В Минске помыли поезда и товарные составы. Будут всю столицу вывозить в Сибирь. Там уже ремонтируют бараки, оставшиеся от сталинских лагерей. Начнут с женщин и детей. А украинцев уже вывозят...”

“Рыбаки все чаще встречают рыб-амфибий, которые могут жить и в воде, и на земле. По земле они ходят на плавниках — лапах. Стали вылавливать щук без головы и плавников. Плавают одно брюхо...”

Что-то подобное скоро начнет происходить и с людьми. Беларусы превратятся в гуманоидов...”

“Это была не авария, а землетрясение. В подземной коре что-то произошло. Геологический взрыв. Участвовали геофизические и космофизические силы. Военным об этом было известно заранее, могли предупредить, но у них все строго засекречено.”

“У лесных зверей — лучевая болезнь. Они бродят грустные, у них грустные глаза. Охотникам страшно и жалко в них стрелять. И звери перестают бояться человека. Лисы и волки заходят в деревни и ластиятся к детям.”

“От чернобыльцев рождаются дети, но вместо крови у них течет неизвестная желтая жидкость. Есть ученые, которые доказывают: обезьяна потому стала такой умной, что в радиации жила. Дети, родившиеся через три-четыре поколения, все будут Эйнштейнами. Это космический эксперимент над нами...”

Анатолий Шиманский, журналист

*Монолог о картезианской философии и о том,
как ешь вместе с другим человеком
зараженный бутерброд, чтобы не было стыдно*

“Я жил среди книг.... Двадцать лет читал лекции в университете...”

Академический ученый.... Это человек, который выбрал себе любимое время в истории, и он там живет. Занят этим полностью, погружен в свое пространство. В идеале... В идеале, конечно.... Потому что философия в то время у нас была марксистко-ленинская и темы для диссертаций предлагались: роль марксизма-ленинизма в развитии сельского хозяйства или в освоении целинных земель. Роль вождя мирового пролетариата... В общем, тут не до картезианских размышлений. Но мне повезло... Моя научная студенческая работа попала на конкурс в Москву, и оттуда позвонили: “Не трогайте этого парня. Пусть пишет.” А писал я о французском религиозном философе Мальбранше, взявшемся толковать Библию с позиции рационального разума. Восемнадцатый век – эпоха Просвещения. Вера в разум. В то, что мы способны объяснить мир. Как я сейчас понимаю... Мне повезло. Я не попал в зубодробильную машину... Бетономешалку... Чудо! Перед этим меня неоднократно предупреждали: для студенческой научной работы Мальбранш – это, может быть, и интересно. А вот для диссертации придется подумать над темой. Это уже серьезно. Мы, мол, оставляем вас с

аспирантуре на кафедре марксистко-ленинской философии... А вы в прошлое эмигрируете... Сами понимаете...

Началась горбачевская перестройка... Время, которое мы долго ждали. Первое, что я заметил – сразу стали меняться лица людей, откуда-то вдруг появились другие лица. Люди даже по-другому стали ходить, что-то в пластике жизнь подкорректировала, они больше улыбались друг другу. Другая энергия чувствовалась во всем. Что-то... Да, что-то совершенно изменилось. Я и теперь удивлен, как быстро это произошло. И меня... Меня тоже выдернуло из картезианской жизни. Вместо философских книг я теперь читал свежие газеты и журналы, ждал с нетерпением каждый номер перестроечного “Огонька”. По утрам выстраивались очереди возле киосков “Союзпечать”, так никогда ни “до” ни “после” газет не читали. Так никогда им больше не верили. Шла лавина информации... Было опубликовано политическое завещание Ленина, которое полвека хранилось в спецархивах. На книжных прилавках появился Солженицын, за ним Шаламов... Бухарин... Еще недавно за хранение этих книг арестовывали. Давали срок. Вернули из ссылки академика Сахарова. Впервые по телевизору показывали заседания Верховного Совета СССР. Вся страна, затаив дыхание, сидела у экранов... Мы говорили и говорили... Говорили вслух о том, о чем недавно еще шептались на кухнях. Сколько поколений у нас проговорило на кухнях! Пропало там! Промечтало! Семьдесят с лишним лет ... Всю советскую историю... Теперь все ходили на митинги. На демонстрации. Что-то подписывали, против чего-то голосовали. Я помню, как выступал по телевизору какой-то историк... Он принес в студию карту сталинских лагерей... Вся Сибирь горела в красных флажках... Мы узнали правду о Куропатах... Шок! Онемение в обществе! Беларуские Куропаты – братская могила тридцать седьмого года. Там лежат вместе беларусы, русские, поляки, литовцы... Десятки тысяч... Энкавэдэшные рвы на два метра в глубину, людей клали в два-три слоя. Когда-то это место находилось далеко за Минском, а потом вошло в черту города. Стало городом. Трамваем можно доехать. В пятидесятые годы засадили его молодым леском, сосны подросли, и горожане, ни о чем не подозревая, устраивали там по выходным дням маевки. Зимой катались на лыжах. Начались раскопки... Власть... Коммунистическая власть лгала. Изворачивалась. Ночью милиция засыпала вырытые могилы, а днем их опять раскапывали. Видел документальные кадры: ряды очищенных от земли черепов... И в каждом дырочка в затылке...

Конечно, мы жили с ощущением, что участвуем в революции... В новой истории...

Я не ушел в сторону от нашей темы... Не волнуйтесь... Я хочу вспомнить, какими мы были, когда случился Чернобыль. Потому что в истории они останутся вместе – крушение социализма и чернобыльская катастрофа. Они совпали. Чернобыль ускорил развал Советского Союза. Взорвал империю.

А из меня он сделал политика...

Четвертого мая... На девятый день после аварии выступил Горбачев, это, конечно, была трусость. Растерянность. Как в первые дни войны... В сорок первом... В газетах писали о вражеских происках и западной истерии. Об антисоветском ажиотаже и провокационных слухах, которые к нам засылают наши враги. Из-за бугра. Вспоминаю себя в те дни... Страх долго не было, почти месяц все находились в состоянии ожидания, вот-вот нам объявят: под руководством коммунистической партии наши ученые... наши героические пожарники и солдаты... в очередной раз покорили стихию. Одержали невиданную победу. Загнали космический огонь в пробирку. Страх появился не сразу, его долгое время мы в себя не впускали. Абсолютно точно... Да... Да! Как я сейчас понимаю... Он никак не мог соединиться в нашем сознании с мирным атомом. Со школьных учебников, из прочитанных книг... В наших представлениях картина мира выглядела следующим образом: военный атом – зловещий гриб до неба, как в Хиросиме и

Нагасаки, люди, в одну секунду ставшие пеплом, а мирный атом – безобидная электрическая лампочка. У нас была детская картина мира. Жили по букварю. Не одни мы, а все человечество стало умнее после Чернобыля... Повзрослело. Вступило в другой возраст.

Разговоры в первые дни:

— Горит атомная станция. Но где-то далеко горит. На Украине.

— Я читал в газетах: туда пошла военная техника. Армия. Победим!

— В Беларуси нет ни одной атомной станции Мы спокойны.

Моя первая поездка в зону...

Я ехал и думал, что все там покрыто серым пеплом. Черной сажей. Картина Брюллова “Последний день Помпеи”. А там... Приезжаешь, а там – красота. Красотища! Цветущие луга, мягкая весенняя зелень лесов. Я как раз люблю эту пору... Все оживает... Растет и поет... Больше всего это меня поразило – сочетание красоты и страха. Страх перестал отделяться от красоты, а красота от страха. Все наоборот... Как я сейчас понимаю... Наоборот... Незнакомое чувство смерти...

Мы приехали группой... Никто нас не посылал. Группа белорусских депутатов от оппозиции. Времена! Времена-то какие! Коммунистическая власть отступала... Становилась слабой, неуверенной. Все шаталось. Но местное начальство встречало недружелюбно: “У вас есть разрешение? Имеете ли право будоражить людей? Задавать вопросы? Кто вам дал поручение?” Ссылались на инструкцию, полученную сверху: “Не поддаваться панике. Ждать указаний”. Мол, вы сейчас настроите, запугаете народ, а нам планы надо выполнять. По зерну и по мясу. Боялись не за здоровье людей, а за планы. Республиканские, союзные... Боялись высшего начальства. А те боялись тех, кто повыше, и так по цепочке до генсека. Один человек все решал, где-то там в поднебесной выси. Так была выстроена пирамида власти. Во главе – царь. На тот момент коммунистический царь. “Все тут зараженное. – Объясняем мы. – Все, что вы производите, нельзя будет употреблять в пищу.” – “Вы – провокаторы. Прекратите вражескую агитацию. Мы будем звонить... Докладывать...” И звонили. Куда надо докладывали...

Деревня Малиновка... Пятьдесят девять кюри на квадратный метр...

Зашли в школу:

— Ну, как живете?

— Все напуганы, конечно. Но нас успокоили: надо только крыши помыть, закрыть колодцы пленкой, дорожки заасфальтировать. И можно жить! Правда, вот почему-то кошки все время чешутся и у коней сопля до земли.

Завуч школы пригласила к себе домой. Пообедать. Дом новый, два месяца назад отпраздновали новоселье. По-беларуски – входины, означает это, что люди только-только вошли в дом. Рядом с домом добротный сарай, погреб. То, что когда-то называлось кулацким хозяйством, таких раскулачивали. Порадоваться и позавидовать.

— Но вам скоро придется отсюда уезжать.

— Ни за что! Тут столько трудов наших.

— Посмотрите на дозиметр...

— Ездят тут... Ученые, твою мать! Не дают людям спокойно жить!! – Хозяин махнул рукой и ушел на луг на конем. Не попрощался.

Деревня Чудяны... Сто пятьдесят кюри на квадратный метр...

Женщины копаются на огородах, дети бегают по улицам. В конце деревни мужики тешут бревна под новый сруб. Остановили возле них машину. Окружили нас. Попросили закурить.

— Как там в столице? Водку дают? У нас — перебои. Выручает то, что свою самогонку гоним. Горбачев сам не пьет и нам запрещает.

— А-а-а... Значит, депутаты... С табаком тут у нас тоже хреново.

— Мужики, - начинаем объяснять им, - а вам скоро придется отсюда уезжать. Вот дозиметр... Смотрите: радиация на этом месте, где мы сейчас стоим, в сто раз выше нормы.

— Ну, загнул... А-а-а... Кому нужен твой дозиметр! Ты поехал, а мы тут останемся. К едреной фене нам твой дозиметр!!

Я несколько раз смотрел фильм о гибели “Титаника”: он напоминал мне то, что я видел сам. Было на моих глазах... Сам пережил в первые чернобыльские дни... Все было, как на “Титанике”, абсолютно похоже вели себя люди. Одинаковая психология. Я узнавал... Даже сравнивал... Вот уже пробито днище корабля, огромная вода заливают нижние трюмы, опрокидывает бочки, ящики... Ползет... Пробивается сквозь препятствия... А наверху горят огни. Играет музыка. Подают шампанское. Продолжаются семейные споры, начинаются любовные романы. Вода хлещет... Идет по лестницам... В каюты...

Горят огни. Играет музыка. Подают шампанское...

Наша ментальность... Особый разговор... У нас на первом месте чувство. Это дает размах, дает высоту нашей жизни и в то же время губительно. А рациональный выбор всегда для нас ущербный. Свои поступки проверяем сердцем, а не разумом. Зайдешь в деревне во двор – уже гость. Уже радость. Переживают... Качают головой: “Эх, рыбы свежей нету, нечего дать” или “Молочка хотите? Сейчас кружку налью”. Не отпускают. В хату зовут. Некоторые боялись, а я соглашался. Заходил. Садился за стол. Ел зараженный бутерброд, потому что все едят. Выпивал чарку. Даже испытывал чувство гордости, что я вот такой – могу. Способен! Да... Да! Я говорил себе: раз я не в состоянии ничего изменить в жизни этого человека, то все, что я могу, это съесть вместе с ним зараженный бутерброд, чтобы не было стыдно. Разделить судьбу. У нас вот такое отношение к собственной жизни. А у меня жена и двое детей, я за них несу ответственность. У меня дозиметр в кармане... Как я сейчас понимаю... Это наш мир, это – мы. Десять лет назад я испытывал гордость, что я вот такой, а сегодня мне стыдно, что я вот такой. Но все равно сяду за стол и буду есть этот проклятый бутерброд. Я думал... Я думал о том, что мы за люди? Этот проклятый бутерброд не уходил из моей головы. Его сердцем надо есть, а не разумом. Кто-то хорошо написал, что в двадцатом... И теперь уже в двадцать первом веке мы живем так, как нас научила литература девятнадцатого века. Господи! Меня часто мучают сомнения... Я со многими это обсуждал... Кто же мы? Кто?

У меня был интересный разговор с женой, теперь уже вдовой одного погибшего вертолетчика. Умная женщина. Долго с ней сидели. Она тоже хотела понять... Понять и обрести смысл смерти своего мужа. Смириться с ней. И не могла. Я много раз читал в газетах, как работали вертолетчики над реактором. Сначала сбрасывали свинцовые плиты, но они бесследно исчезали в дыре, тогда кто-то вспомнил, что свинец при температуре семьсот градусов превращается в пар, а там было две тысячи градусов. После этого полетели вниз мешки с доломитом и песком. На высоте была ночь от поднятой пыли. Темнота. Столбы пыли. Чтобы точно “отбомбиться”, они открывали окна кабин и прицеливались глазом, какой крен дать: влево-вправо, вверх-вниз. Дозы сумасшедшие! Помню названия статей: “Герои в небе”, “Чернобыльские соколы”. Вот эта женщина... Она призналась мне в своих сомнениях: “Сейчас пишут, что мой муж – герой. Да, он – герой. Но что такое герой? Я знаю, что мой муж был честный и исполнительный офицер. Дисциплинированный. Вернулся из Чернобыля и через несколько месяцев заболел. В Кремле ему вручили награду, там он увидел своих товарищей, они тоже все были больны. Но радовались, что встретились. Приехал домой счастливый... С орденом... Я его тогда спросила: “А мог бы ты не так сильно пострадать? Сохранить здоровье?” - “Наверное, мог

бы, если бы больше думал. – Ответил он. – Нужен был хороший защитный костюм, специальные очки, маска. У нас ни первого, ни второго, ни третьего. Сами мы тоже не соблюдали правила личной безопасности. Мы не думали...” Мы все тогда мало думали... Как жаль, что мы раньше мало думали...” Я с ней согласен... С точки зрения нашей культуры думать о себе – эгоизм. Слабость духа. Всегда находится что-то большее, чем ты. Твоя жизнь.

Восемьдесят девятый год... Двадцать шестого апреля - третья годовщина. Прошло три года после катастрофы... Людей выселили из тридцатикилометровой зоны, но больше двух миллионов беларусов по-прежнему жили в зараженных местах. О них забыли. Белорусская оппозиция наметила на этот день демонстрацию, а власть в ответ объявила субботник. По городу развесили красные флаги, работали выездные буфеты с дефицитным по тем временам ассортиментом: сырокопченая колбаса, шоколадные конфеты, банки с растворимым кофе. Всюду шныряли милицейские машины. Работали ребята в штатском... Фотографировали... Но... Новый признак! На них никто уже не обращал внимания, их не боялись, как раньше. Люди начали собираться у парка Челюскинцев... Подходили и подходили. К десяти часам уже было двадцать-тридцать тысяч (пользуюсь милицейскими сводками, их потом сообщили по телевизору), и каждую минуту толпа увеличивалась. Мы сами такого не ожидали... Все – на подъеме... Кто может воспрепятствовать этому морю людей? Ровно в десять часов, как мы и планировали, колонна двинулась по Ленинскому проспекту в центр города, где должен был состояться митинг. На всем пути к нам присоединялись новые группы, они ждали колонну на параллельных улицах, в переулках. В подъездах. Пронесся слух: милиция и военные патрули заблокировали въездные дороги в город, задерживают автобусы и машины с демонстрантами из других мест, разворачивают их назад, но никто не поддавался панике. Люди оставляют транспорт и идут к нам навстречу пешком. Объявили об этом по мегафону. Над колонной прокатилось мощное “Ур-ра-а-а!” Балконы переполнены... Все – на подъеме... Балконы забиты людьми, они открывали окна настежь, взбирались на подоконники. Махали нам руками. Приветствовали платками, детскими флажками. Тут я заметил...И все вокруг об этом заговорили... Куда-то рассосалась милиция, мальчики в штатском со своими фотоаппаратами... Как я сейчас понимаю... Получили команду и ушли во дворы, сели и закрылись в машинах под брезентом. Власть затаилась... Выжидала... Власть испугалась...Люди шли и плакали, все держались за руки. Плакали потому, что они побеждали свой страх. Освобождались от страха...

Начался митинг... И хотя мы к нему долго готовились, обсуждали список выступающих, никто о списке не вспомнил. К наспех обустроенной трибуны сами подходили и без всяких бумажек говорили простые люди, которые приехали из черныбыльских мест. Образовалась живая очередь. Мы слушали свидетелей... Свидетели давали показания... Из известных выступил только академик Велихов, один из бывших руководителей штаба по ликвидации аварии, но его выступления я не запомнил. Запомнились другие...

Мать с двумя детьми... Девочка и мальчик...

Женщина взяла детей с собой на трибуну: “Они у меня давно не смеются. Не балуются. Не бегают во дворе. У них нет сил. Они, как старички”.

Женщину – ликвидатора...

Когда она закатала рукава платья и показала толпе свои руки, все увидели, что руки в язвах. В струпьях. “Я стирала одежды наших мужчин, которые работали вблизи реактора. – Рассказывала она. – Стирали в основном вручную, потому что стиральных машин завезли мало. Они быстро от перегрузок сломались”.

Молодого врача...

Он начал с того, что прочитал клятву Гиппократата... Говорил, как все данные о заболеваниях закрывают под шифром “секретно” и “сверхсекретно”. Медицину и науку втягивают в политику...

Это был чернобыльский трибунал.

Я признаюсь... Я не скрою: самый большой день в моей жизни. Мы были счастливы... Я признаюсь...

А назавтра нас, организаторов демонстрации, вызвали в милицию и судили за то, что многотысячная толпа перекрыла проспект, мешала движению общественного транспорта. Несли несанкционированные лозунги. Каждому из нас дали по пятнадцать суток по статье “злостное хулиганство”. Судье, вынесшему приговор, и милиционерам, сопровождавшим нас в изолятор, было стыдно. Им всем было стыдно. А мы смеялись... Да... Да! Потому что мы были счастливы...

Теперь перед нами встал вопрос: что мы можем? Что делать дальше?

В одной из чернобыльских деревень, узнав, что мы из Минска, женщина упала перед нами на колени: “Спасите моего ребенка! Заберите с собой!! Наши врачи не могут понять, что с ним. А он задыхается, синееет. Он умирает”. *(Молчит)*.

Я пришел в больницу... Мальчик. Семь лет. Рак щитовидной железы. Я хотел его отвлечь, начал шутить. А он отвернулся к стенке: “Только не надо рассказывать, что я не умру. Я знаю, что умру”.

В Академии наук... Кажется, там... Мне показали снимок легких человека, прожженных “горячими частицами”. Легкие были похожи на звездное небо. “Горячие частицы” - это мельчайшие микроскопические частицы, которые получились, когда горящий реактор засыпали свинцом и песком. Атомы свинца, песка и графита слеплялись и от ударов поднимались высоко в воздух. Разлетались на большие расстояния... На сотни километров... Через дыхательные пути они теперь попадают в организм человека. Чаще других погибают трактористы и шофера, - те, кто пашет, ездит по проселочным дорогам. Любой орган, в котором поселяются эти частицы, на снимках “светится”. Сотни дырочек, как в мелком решете. Человек умирает... Сгорает... И если человек смертен, то “горячие частицы” бессмертны. Человек умрет и за тысячу лет превратится в землю, в пыль, а “горячие частицы” будут жить. И эта пыль способна будет снова убивать... *(Молчит)*.

Я приезжал из поездок... Я был переполнен. Рассказывал... Моя жена, она по образованию лингвист, раньше никогда не интересовалась политикой, как и спортом, а тут она постоянно задавала мне все тот же вопрос: “Что мы можем? Что дальше делать?” И мы взялись за дело, которое с точки зрения здравого смысла было невозможно. Решиться на что-нибудь подобное человек способен в моменты потрясения, в моменты полного внутреннего раскрепощения. А тогда было такое время... Горбачевского время... Время надежд! Веры! Мы решили спасти детей. Открыть миру, в какой опасности живут белорусские дети. Просить помощи. Кричать. Бить во все колокола!! Власть молчит, она предала свой народ, мы молчать не будем. И... Быстро... Очень быстро... Собрался круг верных помощников и единомышленников. Паролем было: “Что читаешь? Солженицына, Платонова... К нам...” Работали по двенадцать часов в сутки. Надо придумать имя нашей организации... Вариантов названий перебрали десятки, остановились на самом простом — фонд “Детям Чернобыля”. Сейчас уже не объяснить, не представить наших сомнений... Споров... наших страхов... Таких фондов, как наш, уже не сосчитать, а десять лет назад мы начинали первыми. Первая гражданская инициатива... Никем сверху не санкционированная... Реакция у всех чиновников была одинаковая: “Фонд? Какой фонд? У нас для этого есть министерство здравоохранения”.

Как я сейчас понимаю... Чернобыль освобождал нас... Учились быть свободными...

У меня перед глазами... *(Смеется)* У меня это перед глазами всегда... Первые рефрижераторы с гуманитарной помощью въехали во двор нашего дома. По домашнему адресу. Я смотрел на них из окна своей квартиры и не представлял: как все это разгрузить, где хранить? Хорошо помню, что машины были из Молдавии. Семнадцать-двадцать тонн с соками, фруктовой смесью, детским питанием. Уже тогда просачивался слух: чтобы вывести радиацию, надо больше фруктов, вот эту мякоть употреблять в пищу. Обзвонил друзей – кто на даче, кто на работе. Начали разгружать вдвоем с женой, но постепенно, один за другим выходили из нашего дома люди (все-таки девятиэтажка), останавливались случайные прохожие: “Что за машины?” – “Помощь для чернобыльских детей”. Бросали свои дела, включались в работу. К вечеру машины разгрузили. Груз рассовали по подвалам и гаражам, договорились с какой-то школой. Смеялись потом над собой... А когда повезли эту помощь в зараженные районы... Стали раздавать... Обычно люди собирались в школе или в Доме культуры. В Ветковском районе... Вот что пришло мне сейчас на память... Один случай... Молодая семья... Они получили как и все, баночки детского питания, пакеты с соками. И мужчина сел и заплакал. Эти баночки, эти пакеты не могли спасти его детей, можно махнуть рукой – ерунда! Но он плакал, потому что, оказывается, их не забыли. О них кто-то помнит. Значит, есть надежда.

Отозвался весь мир... наших детей согласились принять на лечение в Италии, Франции, Германии... Авиакомпания “Люфтганза” перевезла их в Германию за свой счет. Среди немецких летчиков провели конкурс, долго их отбирали. Полетели лучшие летчики. Когда дети шли к самолетам, бросалось в глаза, что они все бледные-бледные. Тихие-тихие. Не обходилось без курьезов... *(Смеется)*. Отец одного мальчика ворвался ко мне в кабинет и потребовал вернуть документы сына: “У наших детей там будут брать кровь. Проводить над ними эксперименты”. Конечно, память о той страшной войне еще не умерла... Народ помнит... Но тут и другое: мы долго жили за проволокой. В социалистическом лагере. Боялись другого мира... Не знали его... Чернобыльские мамы и папы – это еще одна тема. Продолжение разговора о нашей ментальности... Советской ментальности. Пал... Развалился Советский Союз... А все еще долго ждали помощи от большой и могучей страны, которой уже не было. Мой диагноз... Хотите? Смесью тюрьмы и детского сада – вот что такое социализм. Советский социализм. Человек отдавал государству душу, совесть, сердце, а взамен получал паек. Тут уже кому как повезет – у кого большой паек, а у кого маленький. Одно одинаково – выдают его взамен души. Больше всего мы боялись, чтобы наш фонд не стал заниматься раздачей вот этого пайка. Чернобыльского пайка. А люди уже привыкли ждать и жаловаться: “Я – чернобылец. Мне положено, потому что я – чернобылец”. Как я сейчас понимаю... Чернобыль – это большое испытание и для нашего духа. Для нашей культуры.

В первый год отправили за границу пять тысяч детей, во второй уже – десять, в третий – пятнадцать...

А вы разговаривали с детьми о Чернобыле? Не со взрослыми, а с детьми? У них бывают неожиданные рассуждения. Мне, как философу, всегда интересно. Пример... Одна девочка мне рассказывала, как их класс послали осенью восемьдесят шестого года в поле... на уборку свеклы и моркови. Везде им попадались дохлые мыши, и они смеялись: вот вымрут мыши, жуки, черви, а потом начнут умирать зайцы, волки. За ними – мы. Люди умрут последними. Дальше они фантазировали, какой будет мир без зверей и птиц. Без мышей. Какое-то время останутся жить одни люди. Без никого. Даже мухи перестанут летать. Им было по двенадцать-пятнадцать лет. Так они представляли себе будущее.

Разговор с другой девочкой... Она поехала в пионерский лагерь и там подружилась с одним мальчиком. “Такой хороший мальчик, – вспоминала она, – все время мы проводили вместе”. А потом его друзья сказали ему, что она из Чернобыля – больше он к ней не

подошел ни разу. С этой девочкой мы даже переписывались. “Теперь, когда я думаю о своем будущем, - писала она, - я мечтаю, что кончу школу и уеду куда-нибудь далеко-далеко, где никто не будет знать, откуда я. Там меня кто-нибудь полюбит. И я все забуду...”

Записывайте, записывайте... Да... Да! Все сотрется из памяти, уйдет. Я жалею, что не записывал... Еще одна история... Приехали в зараженную деревню. Возле школы дети играют в мячик. Мячик закатился в клумбу с цветами, дети окружили ее, ходят вокруг, но достать мячик боятся. Сначала я даже не понял, в чем дело, теоретически я знал, но я же здесь не живу, у меня постоянная бдительность отсутствует, я из нормального мира приехал. И я шагнул к клумбе. А дети как закричат: “Нельзя! Нельзя! Дядя, нельзя!” За три года (а было это в восемьдесят девятом году) они привыкли к мысли, что нельзя сесть на траву, нельзя рвать цветы. Нельзя залезть на дерево. Когда мы привозили их за границу и просили: “Идите в лес, идите к реке. Купайтесь, загорайте”, надо было видеть, как неуверенно они входили в воду... Как гладили траву... Но потом... Потом... Сколько появлялось счастья! Можно опять нырять, лежать на песке... Все время ходили с букетами, плели венки из полевых цветов. О чем я думаю? О чем... Как я сейчас понимаю... Да, мы можем их вывезти и полечить, но как им вернуть прежний мир. Как им вернуть их прошлое. И будущее.

Тут вопрос... Нам надо ответить на вопрос: кто мы? Без этого ничего не произойдет и не изменится. Что для нас жизнь? И что для нас свобода? Умеем о свободе только мечтать. Могли быть свободными, но не стали свободными. Опять не получилось. Семьдесят лет строили коммунизм, сегодня строим капитализм. Раньше молились на Маркса, теперь на доллар. Мы затерялись в истории. Когда думаешь о Чернобыле, то возвращаешься сюда, в эту точку: кто мы? Что поняли о себе? О своем мире? В наших военных музеях, а их у нас больше, чем музеев искусств, хранятся старые автоматы, штыки, гранаты, а во дворе стоят танки и минометы. Школьников водят туда на экскурсии и показывают – это война. Война вот такая... А она уже другая... Двадцать шестого апреля тысяча девятьсот восемьдесят шестого года мы пережили еще одну войну. Она не кончилась...

А мы... Кто мы?”

*Геннадий Грушевой, депутат
беларуского Парламента,
председатель фонда “Детям
Чернобыля”*

*Монолог о том, что мы давно слезли с дерева
и не придумали такого,
чтобы оно сразу росло колесом*

“Присаживайтесь... Давайте поближе... Но я буду откровенна: не люблю журналистов, а они меня не жалуют.

— А это почему?

— Вы не в курсе? Не успели еще предупредить? Тогда понятно, почему вы здесь. В моем кабинете. А я – одиозная фигура. Так меня ваш брат журналист величает. Все вокруг кричат: на этой земле жить нельзя. А я отвечаю – можно. Надо научиться на ней жить. Иметь мужество. Давайте закроем загрязненные территории, обнесем проволокой (треть страны!), бросим и убежим. Земли у нас еще много. Нет! С одной стороны, наша цивилизация антибиологична, человек самый страшный враг природы, а, с другой стороны, он – творец. Преображает мир. Эйфелева башня, например, или космический

корабль... Только прогресс требует жертв, и чем дальше, тем больших жертв. Не меньших, чем война, это сейчас стало понятно. Загрязнение воздуха, отравление почвы, озоновые дыры... Климат земли меняется. И мы ужаснулись. Но знание само по себе не может быть виной или преступлением. Чернобыль... Кто виноват – реактор или человек? Без обсуждений – человек, он его плохо обслуживал, были допущены чудовищные ошибки. Сумма ошибок. Не станет углубляться в техническую сторону... Но это уже факт... Работали сотни комиссий и экспертов. Самая большая техногенная катастрофа в истории человечества, наши убытки фантастические, материальные еще как-то можно подсчитать. А не материальные? Чернобыль ударил по нашему воображению. По нашему будущему... Мы испугались будущего... Тогда не надо было слезить с дерева, или мы должны были придумать что-то такое, чтобы дерево сразу росло колесом. По количеству жертв не чернобыльская катастрофа, а автомобиль занимает первое место в мире. Почему никто не запрещает производство автомобилей? Ездить на велосипеде или на ослике безопаснее... На телеге...

Тут молчат... Молчат мои оппоненты...

Меня обвиняют... У меня спрашивают: “А как вы относитесь к тому, что дети тут пьют радиоактивное молоко? Едят радиоактивные ягоды?” Плохо я к этому отношусь. Очень плохо!! Но я считаю, что у детей есть папы и мамы, и есть у нас правительство, которое должно об этом думать. Я против одного... Я против того, чтобы люди, которые не знают или уже забыли таблицу Менделеева, учили, как жить. Запугивали нас. Наш народ и так всегда жил в страхе – революция, война. Этот кровавый упырь... Дьявол! Сталин... Теперь – Чернобыль... А потом удивляемся, почему у нас люди такие? Почему они не свободные, боятся свободы? Им же привычнее жить под царем. Под царем – батюшкой. Он может называться генсеком или президентом, какая разница. Никакой. Но я – не политик, я – ученый. Я всю жизнь думаю о земле, изучаю землю. Земля такая же загадочная материя, как и кровь. Вроде бы все о ней знаем, а какая-то тайна остается. Мы разделились – не на тех, кто за то, чтобы здесь жить, и тех, кто против, а на ученых и неученых. Если у вас случится приступ аппендицита и надо оперировать, к кому вы обратитесь? Конечно, к хирургу, а не к общественным энтузиастам. Вы будете слушать специалиста. Я – не политик. Я думаю... А что еще есть в Беларуси, кроме земли, воды, леса. Нефти много? Или алмазов? Ничего нет. Поэтому надо беречь то, что имеем. Восстанавливать. Да... Конечно... Нам сочувствуют, много людей в мире желает помочь, но не будем же мы без конца жить западными подачками. Рассчитывать на чужой кошелек. Все, кто хотел, уже уехали, остались лишь те, кто хочет жить, а не умирать после Чернобыля. Тут их родина.

— Что вы предлагаете? Как человеку здесь жить?

— Человек лечится... И грязная земля тоже лечится...

Надо работать. Думать. Пусть маленькими шажками, но куда-то карабкаться. Идти вперед. А мы... Как у нас? При нашей чудовищной славянской лени мы скорее поверим в чудо, чем в возможность что-то сотворить своими руками. Посмотрите на природу... У нее надо учиться... Природа работает, она самоочищается, помогает нам. Ведет себя разумнее, чем человек. Она стремится к первобытному равновесию. К вечности.

Вызывают меня в облисполком...

— Дело необычное... Вы поймите нас, Слава Константиновна, не знаем, кому верить. Десятки ученых твердят одно, вы – другое. Слышали ли вы что-нибудь о знаменитой колдунье Параске? Мы решили пригласить ее к нам, она берется в течение лета понизить гаммофон.

Вам смешно... А со мной серьезные люди разговаривали, у этой Параски уже были подписаны договора с некоторыми хозяйствами. Проплачены ей большие деньги. Это

увлечение мы пережили... Затмение умов... Общая истерика... Помните? Тысячи... Миллионы сидели у телевизоров, и колдуны, они называли себя экстрасенсами, Чумак, за ним Кашпировский “заряжали” воду. Мои коллеги, с научными степенями, наливали трехлитровые банки воды и ставили у экранов. Пили эту воду, умывались... Считалось, что она исцеляет. Колдуны выступали на стадионах, где собиралось такое количество зрителей, что Алле Пугачевой только мечтать. Народ туда шел, ехал, полз. С неимоверной верой! Излечимся по мановению волшебной палочки от всех болезней! А что? Новый большевистский проект... Публика полна энтузиазма... Головы забиты новой утопией... “Ну, – думаю, – теперь колдуны будут нас спасать от Чернобыля.”

Ко мне вопрос:

— Какое ваше мнение? Конечно, мы все атеисты, но вот говорят... И в газетах пишут... Мы организуем вам встречу?

Встретилась я с этой Параской... Откуда она взялась, не знаю. Наверное, с Украины. Она уже два года повсюду ездила и понижала гаммафон.

— Что вы собираетесь делать? – спросила я.

— У меня такие внутренние силы... Я чувствую, что могу понижать гаммафон.

— А что вам для этого нужно?

— Мне нужен вертолет.

Тут я уже разозлилась. И на Параску, и на наших чинов, которые слушали, как она им лапшу на уши вешала, раскрыв рты.

— Ну зачем, — говорю я, — сразу вертолет. Вот мы сейчас привезем и насыпем на пол зараженной земли. Хотя бы полметра. И давайте... Снимайте фон...

Так и поступили. Привезли земли... И она начала... Что-то шептала, плевала. Каких-то духов руками гнала. И что? Ну, что получилось. Ничего не получилось. Сидит Параска сейчас где-то на Украине в тюрьме. За мошенничество. Другая колдунья... Она обещала на ста гектарах ускорить распад стронция и цезия. Откуда они брались? Я думаю, их рождало наше желание чуда. Наши ожидания. Их фотографии, их интервью. Кто-то же давал им целые полосы в газетах, самое дорогое время на телевидении. Если вера в разум покидает человека, в его душе поселяется страх, как у дикаря. Вылазят чудовища...

Тут молчат... Молчат мои оппоненты...

Я помню только одного большого руководителя, который позвонил мне и попросил: “Давайте я приеду к вам в институт, и вы мне объясните: что такое кюри? Что такое микрорентген? Как этот микрорентген переходит, допустим, в импульс? Езжу по деревням, меня спрашивают, а я, как идиот. Как школьник.” Один такой встретился. Алексей Алексеевич Шахнов... Запишите его фамилию... А большинство руководителей ничего не хотело знать, никакой физики и математики. Все они кончали высшую партийную школу, там хорошо учили одному предмету – марксизму. Воодушевлять и поднимать массы. Мышление комиссаров... Оно не поменялось со времен конницы Буденного... Я вспоминаю афоризм сталинского любимого командарма: “А мне все равно, кого рубать. Мне шашкой махать нравится”.

А насчет рекомендаций... Как нам жить на этой земле? Боюсь, что вам будет скучно, как и всем. Не найдете сенсации. Фейерверка. Сколько раз я выступала перед журналистами, рассказывала одно, а читала на следующий день другое. Читатель должен был умереть от страха. Кто-то видел в зоне плантации мака и поселения наркоманов. А кто-то кошку с тремя хвостами... Знамение в день аварии на небесах...

Вот разработанные нашим институтом программы. Отпечатанные памятки для колхозов и для населения. Могут дать с собой... Пропагандируйте...

Памятка для колхозов... (*Чумак*)

Что мы предлагаем? Научиться управлять радиацией, как электричеством, направляя ее по цепочкам в обход человека. Для этого необходима перестройка нашего типа хозяйствования... Коррекции... Вместо молока и мяса наладить производство технических культур, которые не попадают в пищу. Тот же рапс. Из него можно жать масло, в том числе и моторное. Использовать, как топливо в двигателе. Можно выращивать семена и саженцы. Семена специально подвергают радиации в лабораторных условиях для сохранения чистоты сорта. Для них она безопасна. Это один путь. Есть второй... Если мы все-таки производим мясо... У нас нет способов очистить готовое зерно, находим выход – скармливаем скоту, пропускаем его через животных. Так называемая зоодеактивация. Перед убоем бычков на два-три месяца переводим на стойловое содержание, привозим им “чистые” корма. Они очищаются...

Думаю, достаточно... Не читать же мне вам лекцию? Мы говорим о научных идеях... Я бы даже назвала это философией выживания...

Памятка для частника...

Я приезжаю в деревню к бабушкам и дедушкам... Зачитываю... А они топают на меня ногами. Слушать отказываются, они хотят жить так, как жили их деды и прадеды. Праотцы. Хотят пить молоко... А молоко пить нельзя. Покупай сепаратор и жми из него творог, взбивай масло. Сыворотку выливать, сыворотку в землю. Хотят сушить грибы... Сначала вымочи их – насыпь на ночь в корыто, залей водой, а потом суши. А лучше, вообще, не есть. Вся Франция в шампиньонах, они же их не на улице выращивают. В теплицах. Где наши теплицы? Дома в Беларуси деревянные, испокон веков живут беларусы среди лесов, так вот дома лучше обложить кирпичом. Кирпич хорошо экранирует, то есть рассеивает ионизирующее излучение (в двадцать раз интенсивнее, чем дерево). Раз в пять лет требуется приусадебный участок известковать. Стронций и цезий лукавы. Ждут своего часа. Нельзя удобрять навозом из-под своей коровки, лучше купить минеральные удобрения...

— Для исполнения ваших планов нужна другая страна, другой человек и другой чиновник. Старым людям у нас с трудом пенсии хватает на хлеб и сахар, а вы советуете – минеральные удобрения покупать. Приобрести сепаратор...

— Могу ответить... Я сейчас защищаю науку. Я вам доказываю, что не наука виновата в Чернобыле, а человек. Не реактор, а человек. А политические вопросы не ко мне. Не по адресу...

Вот ... Надо же! Выскочило из головы, а даже пометила себе на листочке, чтобы не забыть. Рассказать... К нам приехал из Москвы молодой ученый, у него мечта участвовать в чернобыльском проекте. Юра Жученко... Он привез с собой беременную жену... На пятом месяце... Все разводят руками – почему? Зачем? Свои бегут, а чужие едут. А потому, что это настоящий ученый, он хочет доказать: грамотный человек может здесь жить. Грамотный и дисциплинированный, как раз те два качества, которые ценятся у нас меньше всего. Нам бы голой грудью на пулемет лечь. С факелом промчаться... А тут... Вымачивать грибы, сливать первую воду, когда картошка закипит... Пить регулярно витамины... Носить в лабораторию на проверку ягоды. Закапывать в землю золу... Я была в Германии и видела, как там каждый немец внимательно сортирует на улице мусор – в этот контейнер белое стекло от бутылок, сюда красное... Крышку из-под пакета от молока отдельно – туда, где пластмасса, сам пакет туда, где бумага. Батарейки от фотоаппарата еще куда-то. Отдельно биоотходы... Человек работает... Не представляю нашего человека за такой работой: белое стекло, красное – для него это было бы скукой и унижением. Мать-перемать. Ему бы сибирские реки повернуть в обратном направлении... Что-нибудь такое... “Размахнись плечо, разойдись рука...” А чтобы выжить, нам надо измениться.

Но это уже не мои вопросы... Ваши... Это вопросы культуры. Ментальности. Всей нашей жизни.

Тут молчат... Молчат мои оппоненты... *(Задумалась)*.

Хочется помечтать... О том, что в скором времени чернобыльскую станцию закроют. Снесут. А площадку под ней превратят в зеленую лужайку..."

*Слава Константиновна Фирсакова,
доктор сельскохозяйственных наук*

Монолог у закрытого колодца

По весенней распутице я с трудом добралась до старого хутора. Наши выдавший виды милицейский уазик окончательно заглох – к счастью уже возле усадьбы, обсаженной широкими дубами и кленами. Приехала я к известной в Полесье песеннице и сказочнице — Марие Федотовне Величко.

Во дворе встретила ее сыновей. Знакомимся: старший Матвей – учитель, младший Андрей – инженер. Весело вступают в разговор, как выясняется, все возбуждены предстоящим переездом.

— Гость – во двор, а хозяйка со двора. Забираем маму в город. Машину ждем... А вы какую книжку пишите?

— Про Чернобыль?

— Про Чернобыль сегодня вспоминать интересно... Я слежу, о чем пишут в газетах на эту тему. Книжек пока мало. Мне, как учителю, надо это знать, нас никто не учит, как говорить об этом с нашими детьми. Меня волнует не физика... Я преподаю литературу и меня волнуют вот такие вопросы... Почему академик Легасов, один из тех, кто руководил работами по ликвидации аварии, покончил жизнь самоубийством. Вернулся домой в Москву и застрелился. А главный инженер атомной станции сошел с ума... Бета-частица, альфа-частица... Цезий, стронций... Они распадаются, размываются, переносятся... А что с человеком?

— А я – за прогресс! За науку! Никто из нас уже не откажется от электрической лампочки... Страхом стали торговать...Продают чернобыльский страх, потому что у нас больше ничего нет, что бы мы могли продать на мировом рынке. Новый товар – продаем свои страдания.

— Переселили сотни деревень... Десятки тысяч людей... Великую крестьянскую Атлантиду... Она рассыпалась по бывшему Советскому Союзу, не собрать обратно. Не спасти. Целый мир мы потеряли... Такого мира больше не будет, он не повторится. Вот послушайте нашу маму...

Неожиданный разговор, начатый так серьезно, к моему сожалению, не продолжился. Ждала спешная работа. Я понимала: тут навсегда покидают родной дом.

Но тут появляется на пороге хозяйка. Обняла, как родную. Поцеловала.

— Донечка, я тут одна две зимы зимовала. Люди не прибивались... А звери забегали... Лиса один раз заскочила, увидела меня и удивилась. Зимой и день длинный и ночь, как жизнь, и спела бы тебе, и сказок наплела. Старому человеку скучно жить, и разговор – это его работа. Когда-то ко мне из столицы студенты приезжали, на магнитофон записывали. А было это давно... До Чернобыля...

Что тебе рассказать? Разве успею... На днях на воду ворожила и показало мне на дорогу... Вырывается из земельки наш корень. Деда, прадеды тут жили. В лесах тут появились и меняли один другого век за веком, а теперь время такое настало, что беда гонит со своей земли. Такой беды и в сказках нет, я не знаю. Во-о-о...

А, вспомню тебе, донечка, как мы в девках гадали... Хорошее вспомню... Весёлое... Как моя жизнь тут начиналась... У мамы с татой весело до семнадцати год, а там надо замуж собираться. Суженого-ряженого звать, а по-нашему гукать. Летом гадали на воду, а зимой на дым, куда дым с трубы повернет, в ту сторону и замуж возьмут. Я любила гадать на воде... На реке... Вода, она первая на земле была, она всё знает. Может подсказать. Пускали по воде свечи, лили воск. Свеча поплывет, то любовь близко, а потонет — на этот год в девках останешься. Девовать будешь. Где она, доля? Где моё счастье? По-всякому гадали... Брали зеркало и шли в баню, сидели там ночь, а если в зеркале кто появится, то надо сразу его на стол, а то чёрт выскочит. Чёрт любит через зеркало приходиться... Оттуда... Гадали по тени... Над стаканом воды сжигали бумаги и глядели на тень на стене. Покажется крест — к смерти, а купол церкви — к свадьбе. Кто плачет, а кто улыбается... Кому какая доля... На ночь снимали обувку и один ботинок под подушку клали. Придет ночью суженый будет разувать, а ты на него поглядишь и какой он с лица запомнишь. Ко мне кто-то другой приходил, не мой Андрей, кто-то высокий, белый с лица, а мой Андрей был невысокого роста, брови черные и все смеялся: “Эх, барыня-сударыня... Моя ты барыня...” (*Смеется*). Прожили мы с ним шестьдесят годков... Трех детей в свет пустили... Нет деда... На могилки сыновья отнесли... Перед смертью меня в последний раз поцеловал: “Эх, барыня-сударыня, одна останешься...” Что знаю? Долго живешь и жизнь забывается, и любовь забывается. Во-о-о... Дали Бог! Еще в девках засовывали под подушку гребешок. Волосы распустишь и так спишь. Придет суженый-ряженный во сне. Попросит воды напиться или коня напоить...

Вокруг колодца мак сыпали... Кружком... А под вечер соберемся и кричим в колодец: “Доля, у-у-у! Доля, го-о-о!” Эхо шло, и по звуку читали: кому — что. Я и сейчас хотела к колодцу пойти... Спросить свою долю... Хотя уже мало мне той доли осталось. Крошечки. Сухое зерно. А все колодцы у нас солдаты позакрывали. Забили досками. Мертвые колодцы... Закрытые... Осталась одна железная колонка возле колхозной конторы. Была в деревне знахарка, она и на долю гадала, так она к дочери в город уехала. Мешки... Два бульбных мешка лекарственных трав с собой повезла. Дали Бог! Во-о-о... Старые черепки, в которых настои варила... Белые холстины... Кому они нужны в том городе? В городе сидят и телевизор крутят или книжки читают. Это мы тут... Как птицы... По земле, по траве, по деревьям читали. Если земля весной долго открывается, не тает, то жди летом засухи. Светит луна вяло, темная, то скот не будет родиться. Улетели журавли рано — к морозам... (*Рассказывает и тихо покачивается в такт своим словам*).

У меня сыны хорошие, и невестки ласковые. И внуки. Но с кем ты в городе на улице заговоришь? — чужина. Пустое для сердца место. Что вспомнишь с чужими людьми? Я в лес любила ходить, мы с леса жили, там всегда в компании. При людях. Теперь в лес не пускают... Милиция стоит, сторожит радиацию...

Два года... Дали Бог! Два года сыны меня упрасивали: “Мама, собирайся в город”. И в конце концов уломали. И в конце концов... Такие хорошенные у нас места, кругом леса, озера. Озера чистые, с русалками. Старые люди рассказывали, что девочки, которые рано померли, русалочками живут. Одежду им на кустах оставляли — рубашки женские. На кустах и на веревочку в жите вешали. Они выйдут из воды и по житу бегают. А веришь ли ты мне? Когда-то люди во все верили... Слушали... Тогда телевизора не было, еще не придумали. (*Смеётся*). Во-о-о... Красивая у нас земля! Мы тут жили, а наши дети тут жить не будут. Не-е-е... Я люблю это время... Солнышко высоко на небо полезло, птицы возвратились. Зима надокучила. Вечером из хаты не выйти. Дикие кабаны по деревне гоняют, как по лесу. Бульбочку перебрала... Хотела лук посадить... Надо что-то робить, не будешь сидеть, сложа руки, и ждать смерти. Тогда она вовек не придет.

А, вспомню, донечка... Про домовика... Он у меня давно живет, точно не знаю – где, но выходит из-под печи. В черной одежде, в черном картузе, а пуговицы на костюме блестят. Тела нет, а он идет. Я одно время думала, что это мой хозяин ко мне навещается. Во-о-о... Так нет... Домовичок... Одна живу, не к кому заговорить, так я ночью ему день свой описываю: “Вышла раненько... До того сонейко зяет, что я стояла и дивилась на землю. Радовалась. Такое счастливое было мое сердце...» А вот надо ехать... Покидать свой край... В вербное воскресенье вербу я всегда рвала. Батюшки нет, так я ходила к реке и там сама светила. На ворота ставила. В хату вносила, красиво убирала. Понатыкаю в стены, двери, потолок, под крышу положу. Хожу и присказываю: “Чтобы ты, вербочка, спасла мою коровку. Чтобы жито уродило и были яблоки. Цыплята выводились и гуси неслись”. Надо так ходить и долго приговаривать.

Раньше мы весну весело встречали... Играли. Пели. Начинали с того дня, когда первый раз на луг хозяйки коров пускали. Надо ведьм прогнать... Чтобы ведьмы коров не портили, не сдаивали молоко, а то они бегут домой выдоенные. И в испуге. Ты запоминай, может оно еще все вернется, про то написано в церковных книгах. Когда у нас служил батюшка, он читал. Жизнь может кончиться, а потом начнется сначала. Слушай дальше... Мало кто уже помнит, мало кто тебе расскажет. Перед первым стадом... Надо расстелить на дороге белую скатерть, пускай оно по ней пробежит, а следом пастушки пойдут. Будут идти они со словами: “Злая ведьма, грызи теперь камень... Землю грызи... А вы, коровки, будете спокойно ходить по лугам и болотам. Никого не бояться – ни людей лихих, ни зверей лютых”. Весной не одна трава из земли ползет, а все ползет. Всякая погань. А хоронится она в темном месте, в доме по углам. В хлеву, где тепло. Уж во двор с озера приползет, утром пластается по росе. Человеку надо обороняться. Хорошо землю с муравейника возле калитки закопать, а самое надежное – зарыть старый замок у ворот. Закрывать всем гадам зубы. Губы. А земелька? Она не только плуга и бороны требует, ей тоже нужна защита. От злых духов. Поле свое надо обойти дважды, идти и наговаривать: “Сею – сею, посеваю... Жду хорошего урожая. И чтобы мыши зерна много не ели...”

Что тебе еще припомнить? Аисту, а по-нашему бусел-бусько, тоже весной надо поклониться. Сказать спасибо за то, что прилетел на старое место. Бусел от пожара боронит, детей малых приносит. Кличут его: “Клѐ-клѐ-клѐ... Бусько, к нам! К нам!” А молодые, которые недавно поженились, отдельно просят: “Клее-клѐ-клѐ... Чтоб нам любилось и кохалось. А детки росли гладенькие, как верба”.

А на Пасху все красили яйца... Красные, синие, желтые яйца. А у кого кто-то помер в хате, одно черное яйцо. Жалобное. На печаль. А красное – на любовь, синее, чтобы жить долго. Во-о-о! Как я... Живу и живу. Все уже знаю: и что будет весной, и что летом... Осенью и зимой... А зачем-то живу? Гляжу на свет... И не скажу, что не радуюсь. Донечка... А вот это тоже послушай... Положишь на Пасху красное яйцо в воду, оно полежит, ты тогда умывайся. Лицо станет красивое. Чистое. Захочешь, чтобы кто из твоих приснился, который умер, пойдешь на могилку и покатаешь яйцо по земельке: “Мамочка моя, приходи ко мне. Пожалеться хочу”. И расскажешь ей все. Свою жизнь. И если муж обижает, она даст совет. Перед тем, как катать яйцо, поддержи его в руках. Закрой глаза и подумай... Могилки не бойся, это, когда везут покойника, то страшно. Закрывают окна, двери, чтобы смерть не влетела. Она всегда в белом, вся в белом и с косой. Я сама не видела, но люди донесли... Кто с ней встречался... Надо не попасть ей на глаза. Смеется: “Ха-ха-а-а...”

Я иду на могилки, то два яйца несу: красное и черное. Одно в жалобной краске. Сяду возле мужа, там на памятнике его фотография, не молодая и не старая, хорошая фотография: “Пришла, Андрей. Давай поговорим”. Новости все передам. И кто-то меня позовет... Вот откуда-то голос пролетит: “Эх, барыня-сударыня...” Навестила Андрея,

иду к дочушке... Дочушка умерла в сорок лет, этот рак к ней залез, куда мы ее ни возили, ничего не помогло. Молодая легла в земельку... Красивая... На том свете тоже всякие требуются: и старые, и молодые. И красивые, и некрасивые. Даже маленькие. А кто этих туда зовет? Ну, что они там могут про этот свет рассказать? Я не понимаю... Я не понимаю, но и умные люди не понимают. Профессора в городе. Может батюшка в церкви знает. Встречу – спрошу. Во-о-о... С дочушкой я разговариваю так: “Донечка моя! Красочка моя! С какими пташечками прилетишь из дальнего края? Или с соловьями, или с кукушками. С какой стороны тебя ждать...” Так пою ей и жду. Вдруг появится... Даст мне знак... Но на могилах оставаться до ночи нельзя, в пять часов... После обеда... Надо уходить. Солнце должно еще высоко стоять, а как начнет катиться вниз... Вниз... Прощайся... Они одни там хотят побыть... Вот, как мы. Одинаково... У мертвых своя жизнь, как и у нас. Я не знаю, но догадываюсь. Думаю так. А то... Еще тебе добавлю... Когда умирает человек и долго мучится, а в хате много людей, то всем надо выйти во двор, чтобы он один остался. Даже маме с татой надо выйти и детям.

С рассвета хожу сегодня по двору, по огороду и вспоминаю свою жизнь. Сыны у меня тут хорошие выросли, как дубы. Счастье было, но мало, всю жизнь работала. Сколько мои руки одной бульбочки перебрали? Перенесли. Пахала, сеяла... *(Повторяет)*. Пахала, сеяла... И сейчас... Решето с семенами вынесу. Остались у меня семена – бобы, подсолнухи, бурачки... Побросаю их так, на голую земельку. Пусть живут. И цветочки по двору развею... Цветы – это по-нашему цветочки... А знаешь ли ты, как пахнут космеи осенней ночью? Особенно перед дождем они сильно пахнут. И душистый горошек... Но наступило такое время, что трогать семя напрасно, кинешь в землю, оно вырастет, силы наберет, но не для человека. Такое время... Бог дал нам знак... А в тот день, когда Чернобыль этот проклятый случился, мне снились пчелы, много-много пчел. Летят и летят куда-то. Рой за роем. А пчелы это на пожар. Земля загорится... Бог дал знак, что гостюет человек на земле, он не дома тут, а в гостях. В гостях мы тут... *(Заплакала)*.

— Мама, — позвал кто-то из сыновей. — Мама! Машина приехала...

Монолог о тоске по роли и сюжету

“Написали уже десятки книг... Сняли фильмы. Откомментировали. А событие все равно выше нас, любого комментария...

Однажды я услышал или прочел, что проблема Чернобыля стоит перед нами прежде всего, как проблема самопознания. С этим согласился, это совпало с моими чувствами. Я все время жду, что кто-то умный мне все объяснит... Разложит... Как объясняют, просвещают меня насчет Сталина, Ленина, большевизма. Или без конца долдонят: “Рынок! Рынок! Свободный рынок!” А мы... Люди, воспитанные в мире без Чернобыля, живем с Чернобылем.

Собственно, я — профессиональный ракетчик, специалист по ракетному топливу. Служил в Байконуре. Программы: “Космос”, “Интеркосмос” — это большой кусок моей жизни. Чудесное время! Даешь небо! Даешь Арктику! Даешь целину! Даешь космос! Вместе с Гагариным весь советский мир полетел в космос, оторвался от земли... Все мы! Я до сих пор влюблен в него! Прекрасный русский человек! С прекрасной улыбкой! Даже смерть его как-то отрежиссирована. Мечты о парении, полете, свободе... Желание куда-то вырваться... Это было чудесное время! По семейным обстоятельствам я перевелся в Беларусь, тут дослуживал. Когда я приехал... Погрузился в это чернобыльское пространство, оно откорректировало мои чувства. Невозможно что-нибудь подобное было бы вообразить, хотя я всегда имел дело с самой современной техникой, с космической техникой... Трудно пока произнести... Не поддается воображению... Нечто...

(Задумывается.) А секунду назад казалось, что поймал смысл... Секунду назад... Тянет философствовать. С кем не заговори о Чернобыле, всех тянет философствовать.

Но лучше я расскажу вам о своей работе. Чем мы только ни занимаемся! Строим церковь... Чернобыльскую церковь, в честь Иконы Божией Матери “Взыскание погибших”. Собираем пожертвования, навещаем больных и умирающих. Пишем летопись. Создаем музей. Одно время думал, что я не смогу, не с моим сердцем работать на таком месте. Дали первое поручение: “Вот деньги и раздели их на тридцать пять семей. На тридцать пять вдов, у кого мужья умерли”. Все они были ликвидаторы. Надо справедливо. А как? У одной вдовы — маленькая девочка, больная, у другой вдовы — двое детей, третья женщина сама больная, а та снимает квартиру, а еще у одной — четверо детей. Ночью я просыпался с мыслью: “Как мне никого не обделить?” Думал и считал, считал и думал. Представляете... И не смог... Мы раздали деньги всем поровну, по списку. Но мое детище — музей. Музей Чернобыля (*Молчит*) А иногда мне кажется, что здесь будет не музей, а похоронное бюро. Я служу в похоронной команде! Сегодня утром не успел пальто снять, открывается дверь, женщина с порога рыдает, не рыдает, а кричит: “Заберите его медаль и все грамоты! Заберите все льготы! Отдайте мужа!” Долго кричала. Оставила его медаль, оставила грамоты. Ну, будут они лежать в музее, под стеклом... Будут на них смотреть... Но крика, ее крика никто, кроме меня, не слышал, только я, когда буду раскладывать эти грамоты, буду помнить.

Сейчас умирает полковник Ярошук... Химик-дозиметрист. Здоровенный был мужик, лежит парализованный. Жена ворочает его, как подушку... Кормит из ложечки... У него и камни в почках, надо раздробить камни, а у нас нет денег, чтобы оплатить операцию. Мы — нищие, существуем на то, что кто подаст. А государство ведет себя как мошенник, оно бросило этих людей. Умрет — назовут его именем улицу, школу или воинскую часть, но это, когда он умрет... Полковник Ярошук... Ходил пешком по зоне и определял границы максимальных точек заражения, то есть человека в полном смысле использовали, как биоробота. И он это понимал, но он шел, начиная от самой атомной станции и по расходящемуся радиусу, по секторам. Пешком. С дозиметрическими приборами в руках. Нащупал “пятно” и движется вдоль границы этого “пятна”, чтобы точно нанести на карту...

А солдаты, которые работали на самой крыше реактора? Всего на ликвидацию последствий аварии было брошено двести десять воинских частей, около трехсот сорока тысяч военнослужащих. Самое пекло досталось тем, кто чистил крышу... Им выдавали свинцовые фартуки, но фон шел снизу, а там человек был неприкрыт. Они — в обыкновенных кирзовых сапогах... В день по полторы-две минуты на крыше... А потом их увольняли из армии, давали грамоту и премию — сто рублей. И они исчезали на бескрайних просторах нашей родины. На крыше гребли топливо и реакторный графит, осколки бетона и арматуры... Двадцать-тридцать секунд, чтобы нагрузить носилки, и столько же, чтобы сбросить “мусор” с крыши. Одни эти специальные носилки весили сорок килограммов. Так что представьте себе: свинцовый фартук, маски, эти носилки и бешеную скорость... Представляете? В музее в Киеве лежит муляж графита, величиной с фуражку, говорят, будь он настоящим, весил бы шестнадцать килограммов, такой он плотный, тяжелый. Радиоуправляемые манипуляторы часто отказывались выполнять команды или делали совершенно не то, так как их электронные схемы в высоких полях разрушались. Самыми надежными “роботами” были солдаты. Их окрестили “зелеными роботами” (по цвету военной формы). Через крышу разрушенного реактора прошло три тысячи шестьсот солдат. Спали на земле, они все рассказывают, как первое время в палатках бросали на землю солому. Брали ее тут же, со скирд возле реактора.

Молодые ребята... Они сейчас тоже умирают, но они понимают, что если бы не они... Это еще и люди особой культуры. Культуры подвига. Жертвы.

Был момент, когда существовала опасность ядерного взрыва, и потребовалось спустить из-под реактора грунтовую воду, чтобы туда не попал расплав урана и графита, вместе с водой они дали бы критическую массу. Взрыв — три-пять мегатонн. Не только бы Киев и Минск обезжизнили, а и в огромной части Европы нельзя было бы жить. Представляете?! Европейская катастрофа. Поставили задачу: кто нырнет в эту воду и откроет там задвижку спускного клапана? Обещали машину, квартиру, дачу и содержание родных до конца дней. Искали добровольцев. И они нашлись! Ребята ныряли, много раз ныряли и открыли эту задвижку, и им дали на команду семь тысяч рублей. А обещанных машинах и квартирах забыли. Да, не из-за них они ныряли! Не из-за материального, меньше всего из-за материального. Не так наш человек прост... Понятен... И на поверхности...*(Разволновался)*.

Этих людей уже нет... Только документы в нашем музее... Фамилии... Но если бы они не сделали этого? Наша готовность к самопожертвованию... В этом нам нет равных...

Я тут спорил с одним... Он мне доказывал, что это связано с тем, что у нас очень низкая цена на жизнь. Азиатский такой фатализм. Человек, который жертвует собой, не ощущает себя как уникальную, неповторимую личность, которой больше никогда не будет. Тоска по роли. Раньше он был человеком без текста, статистом. Не было у него сюжета, он служил фоном. А тут вдруг стал главным действующим лицом. Тоска по смыслу. Что такое наша пропаганда? Наша идеология? Вам предлагают умереть, но обрести смысл. Возвышают. Дают роль! Большая ценность смерти, потому что за смертью вечность. Он доказывал мне. Приводил примеры... Но я не согласен! Категорически! Да, мы воспитаны быть солдатами. Так нас учили. Всегда мобилизованы, всегда готовы на что-нибудь невозможное. Мой отец, когда я после школы хотел пойти в гражданский вуз, был потрясен: “Я — кадровый военный, а ты будешь носить пиджак? Отечество надо защищать!” Несколько месяцев со мной не разговаривал, пока я не подал документы в военное училище. Отец — участник войны, он уже умер. Ну, практически никакого материального состояния не имел, как и все его поколение. После него ничего не осталось: дома, машины, земли... Что я имею? Полевую офицерскую сумку, он ее получил перед финской кампанией, а в ней его боевые ордена. Еще в полиэтиленовом пакете у меня лежат триста писем отца с фронта, начиная с сорок первого года, мать их сохранила. Все, что осталось... Но я считаю, это - бесценный капитал!

Теперь вы понимаете, каким я вижу наш музей? Вон там в баночке земля чернобыльская... Горстка... Вон шахтерская каска... Тоже оттуда... Крестьянская утварь из зоны... Сюда нельзя дозиметристов пускать. Фонит! Но тут все должно быть всамделишным! Без муляжей! Нам должны поверить. А поверят только настоящему, потому что слишком много лжи вокруг Чернобыля. Было и есть. Атом, появилась такая поговорка, можно использовать не только в военных и мирных целях, но и в личных. Обросли фондами, коммерческими структурами...

Раз вы пишете такую книгу, должны посмотреть наш уникальный видеоматериал. По крохам собираем. Чернобыльской хроники, считайте, нет! Ее не дали снять, все засекретили. Если кому-то что-то удавалось запечатлеть, то соответствующие органы тут же забирали этот материал и возвращали размагниченные ленты. У нас нет хроники, как эвакуировали людей, вывозили скот... Трагедию снимать запрещалось, снимали — героизм! Чернобыльские альбомы все-таки сейчас изданы, но сколько раз кино-и телеоператорам разбивали камеры. Таскали по инстанциям... Чтобы честно рассказать о Чернобыле, нужно было мужество, оно и сейчас требуется. Поверьте мне! Но вы должны увидеть... Эти кадры... Черные, как графит, лица первых пожарников. А их глаза? Это уже

глаза людей, которые знают, что уходят от нас. На одном фрагменте — ноги женщины, которая утром после катастрофы шла обрабатывать огородик возле атомной станции. Шла по траве, на которой лежала роса... Ноги напоминают решето, все в дырочках до самых колен... Это надо увидеть, раз вы пишете такую книгу...

Я прихожу домой и не могу взять на руки своего маленького сына. Мне надо выпить пятьдесят—сто граммов водки, чтобы взять на руки ребенка...

Целый отдел в музее — вертолетчики... Полковник Водолажский... Герой России, похороненный на белорусской земле, в деревне Жуков Луг. Когда он получил запредельную дозу, должен был уйти, немедленно эвакуироваться, но остался и обучил еще тридцать три экипажа. Сам сделал сто двадцать вылетов, сбросил двести-триста тонн груза. Четыре—пять вылетов в течение суток, при высоте триста метров над реактором, температура в кабине — до шестидесяти градусов. А что творилось внизу, когда мешки с песком сбрасывались? Представляете... Пекло... Активность достигала тысячи восьмьсот рентген в час. Пилотам становилось плохо в воздухе. Чтобы метнуть прицельно, попасть в цель — огненное жерло, они высовывали головы из кабины... Смотрели вниз... Иного способа не было... На заседаниях правительственной комиссии... Просто, буднично докладывалось: “На это надо положить две-три жизни. А на это — одну жизнь”. Просто и буднично...

Полковник Водолажский умер. В карточке учета доз, набранных над реактором, врачи ему записали... семь бэр. На самом деле их было шестьсот!

А четыреста шахтеров, которые день и ночь долбили тоннель под реактором? Нужно было прорыть тоннель, чтобы залить туда жидкий азот и заморозить земельную подушку, так это обозначается на инженерном языке. Иначе бы реактор ушел в грунтовые воды... Шахтеры Москвы, Киева, Днепропетровска... Я нигде о них не читал. А они голые, при температуре за пятьдесят градусов катили перед собой вагонетки на четвереньках. Там... Все те же сотни рентген...

Сейчас они умирают... Но если бы они не сделали этого? Я считаю, что они — герои, а не жертвы войны, которой вроде бы и не было. Называют ее аварией, катастрофой. А была война... И наши чернобыльские памятники похожи на военные...

Есть вещи, которые у нас не принято обсуждать, славянская стыдливость. Вы же должны знать... Такую книгу пишете... У тех, кто работал на реакторе или в непосредственной близости к нему, как правило, поражается... сходный симптом у ракетчиков, это знакомые дела... как правило, поражается мочеполовая система. Мужское... Но об этом у нас вслух не говорят... Не принято... Я однажды сопровождал английского журналиста, он подготовил очень интересные вопросы. Как раз на эту тему, его интересовала человеческая сторона проблемы. Что после всего с человеком — дома, в быту, в интимном? Только ни одного откровенного разговора не получилось. Попросил он собрата, к примеру, вертолетчиков... Поговорить в мужской компании... Они приехали, некоторые уже пенсионеры в тридцать пять — сорок лет, одного привезли со сломанной ногой, у него старушечий перелом, то есть под воздействием радиации кости размягчаются. Его привезли... Англичанин задает им вопросы: как вы теперь в семье, со своими молодыми женами? Вертолетчики молчат, они пришли рассказывать, как совершали по пять вылетов в сутки. А тут... О женах? О таком... Давай он их по одному вытаскивать... Отвечают дружно: здоровье нормальное, государство ценит, а в семье любовь... Ни один... Ни один из них не открылся... Они ушли, а я, чувствую, он подавленный: “Теперь ты понимаешь, — говорит, — почему вам никто не верит? Вы обманываете самих себя”. А встреча эта происходила в кафе, обслуживали две хорошенькие официантки, они уже все убирают со столов, и он у них спрашивает: “А вы можете мне ответить на несколько вопросов?” И эти две девчонки ему все выложили. Он:

“Вы хотите выйти замуж?” — “Да, но только не здесь. Каждая из нас мечтает выйти замуж за иностранца, чтобы родить здорового ребенка”. Тогда он посмелее: “Ну, а у вас есть партнеры? Как они? Они вас удовлетворяют? Вы сами понимаете, что я имею в виду?” “Вот тут сидели с вами ребята, — смеются они — вертолетчики. Под два метра. Бряцали медалями. Они для президиумов хороши, но не для постели”. Представляете... Сфотографировал он этих девчонок, а мне повторил ту же фразу: “Теперь ты понимаешь, почему вам никто не верит? Вы обманываете самих себя”.

Поехали мы с ним в зону. Известна статистика: вокруг Чернобыля — восемьсот могильников. Он ждал каких-то фантастических инженерных сооружений, а это — обычные ямы. Лежит в них “рыжий лес”, вырубленный вокруг реактора на сто пятидесяти гектарах (в первые два дня после аварии сосны и елки стали красными, а затем рыжими). Лежат тысячи тонн металла и стали, мелкие трубы, спецодежда, бетонные конструкции... Он показал мне снимок из английского журнала. Панорамный. Сверху... Тысячи единиц автотракторной и авиационной техники... Пожарные машины и машины “Скорой помощи”... Самый крупный могильник возле реактора. Он хотел его снять — уже сейчас — спустя десять лет. Ему обещали за этот снимок большие деньги. И вот мы кружим с ним, кружим, и один начальник нас отсылает к другому — то карты нет, то разрешения. Мотались, пока до меня не дошло: нет этого могильника, он уже не существует в реальности, а только в отчетах, давно растащили по рынкам, на запчасти по колхозам и своим дворам. Разворовали, вывезли. Англичанин это понять не мог. Не поверил! Когда я сказал ему всю правду, он не поверил! И я теперь, читая даже самую смелую статью, не верю, всегда в подсознании крутится мысль: “А вдруг это тоже ложь? Или какие-то побасенки”. Помянуть трагедию стало общим местом... Расхожим штампом! Страшилкой! *(Заканчивает с отчаянием и надолго замолкает)*

Ташу все в музей... Стаскиваю... Но, бывает, думаю: “Бросить! Убежать!” Ну, как выдержать?!

Был у меня разговор с молодым священником...

Мы стояли у свежей могилы старшины Саши Гончарова... Из тех, кто был на крыше реактора... Снег. Ветер. Погода лютая. Священник служит панихиду. Читает молитву. С непокрытой головой. “Вы будто и не ощущали холода?” — спросил я после. “Нет, — ответил он, — в такие минуты я всесилен. Ни один церковный обряд не дает мне такую энергию, как панихида”. Я это запомнил — слова человека, который всегда возле смерти. Не раз спрашивал у иностранных журналистов, которые приезжают к нам, многие уже по нескольку раз, почему они едут, просят в зону? Глупо было бы думать, что из-за одних только денег или карьеры. “Нам нравится у вас, — признавались, — получаем здесь мощный энергетический заряд”. Представляете... Неожиданный ответ, правда? Для них, наверное, наш человек, его чувства, его мир, — что-то еще неизведанное. Загадочная русская душа... Сами мы тоже любим выпить и спорить об этом на кухне... Один из моих друзей однажды сказал: “Вот станем сытыми. Разучимся страдать. Кому мы будем интересны?” Я не могу забыть эти слова... Но я не уяснил, что другим в нас нравится: мы — сами? Или то, что о нас можно написать? Через нас — понять?

Что же мы все вертимся вокруг смерти?

Чернобыль... У нас другого мира уже не будет... Сначала, когда вырвали почву из-под ног, выплескивали эту боль откровенно, а сейчас пришло сознание, что другого мира нет и податься некуда. Чувство трагической оседлости на этой чернобыльской земле, совсем иное мироощущение. С войны возвращается “потерянное” поколение... Вспомним Ремарка? А с Чернобылем живет “растерянное” поколение... Мы растерялись... Неизменным осталось только человеческое страдание... Наш единственный капитал. Неразменный!

...Я прихожу домой... После всего... Жена слушает меня... А потом тихо говорит: “Я люблю тебя, но сына тебе не отдам. Никому его не отдам. Ни Чернобылю, ни Чечне... Никому!” В ней уже поселился этот страх...”

*Сергей Васильевич Соболев, заместитель
председателя правления Республиканской
ассоциации “Щит Чернобылю”*

Народный хор

Клавдия Григорьевна Барсук, жена ликвидатора, Тамара Васильевна Белоокая, врач, Екатерина Федоровна Боброва, переселенка из города Припяти, Андрей Буртыс, журналист, Иван Наумович Вергейчик, педиатр, Елена Ильинична Воронько, жительница городского поселка Брагин, Светлана Говор, жена ликвидатора, Наталья Максимовна Гончаренко, переселенка, Тамара Ильинична Дубиковская, жительница городского поселка Наровля, Альберт Николаевич Зарицкий, врач, Александра Ивановна Кравцова, врач, Элеонора Ивановна Ладутенко, радиолог, Ирина Юрьевна Лукашевич, акушерка, Антонина Максимовна Ларивончик, переселенка, Анатолий Иванович Полищук, гидрометеоролог, Мария Яковлевна Савельева, мать, Нина Ханцевич, жена ликвидатора.

“Давно не вижу счастливых беременных женщин... Счастливых мам...

Вот она только родила. Пришла в себя... Зовет: “Доктор, покажите мне! Принесите!” Трогает головку, лобик, тельце. Пальчики считает... На ногах, на ручках... Проверяет. Хочет удостовериться: “Доктор, у меня нормальный ребенок родился? Все хорошо?” Принесут его кормить. Боится: “Я недалеко от Чернобыля живу... Я под “черный дождь” попала...”

Сны рассказывают: то теленочка родила с восемью ножками, то щенка с головой ежика... Такие странные сны. Раньше таких снов у женщин не было. Я не слышала.

У меня тридцать лет акушерского стажа...”

“Я всю жизнь живу в слове... Со словом...”

“Преподаю в школе русский язык и литературу. Это, кажется, было в начале июня, шли экзамены. Вдруг директор школы собирает нас и объявляет: “Завтра всем прийти с лопатами”. Выяснилось: мы должны снять верхний зараженный слой земли вокруг школьных зданий, а потом приедут солдаты и заасфальтируют. Вопросы: “Какие выдадут защитные средства? Привезут ли специальные костюмы, респираторы?” Ответили, что нет. “Возьмите лопаты и будете копать”. Только двое молодых учителей отказались, а остальные пошли и копали. Подавленность и в то же время чувство исполненного долга, живет это в нас: быть там, где трудно, опасно, защищать родину. Разве я чему-то другому учила своих учеников, только этому: пойти, броситься в огонь, защищать, жертвовать. Литература, которую я преподавала, она не о жизни, она о войне. О смерти. Шолохов, Серафимович, Фурманов, Фадеев... Борис Полевой... Только двое молодых учителей отказались. Но они из нового поколения... Это уже другие люди...”

Рыли землю с утра до вечера. Когда возвращались домой, казалось странным, что работают городские магазины, женщины покупают чулки, духи. В нас уже жили военные ощущения. И было куда понятнее, когда вдруг появились очереди за хлебом, солью, спичками... Все кинулись сушить сухари... Мыли пол по пять-шесть раз в день, законопатили окно. Все время слушали радио. Это поведение показалось мне знакомым, хотя я родилась после войны. Пыталась анализировать свои чувства и поразила тому, насколько быстро перестроилась моя психика, каким-то непостижимым образом мне оказался знаком военный опыт. Могла себе представить, как брошу дом, как мы с детьми уедем, какие вещи возьмем, что напишу маме. Хотя вокруг текла обычная мирная жизнь, по телевизору показывали кинокомедии.

Нам память подсказывала... Мы всегда жили в ужасе, мы умеем жить в ужасе, это — наша среда обитания.

Тут нашему народу нет равных...”

“Я не была на войне... Но мне это напомнило...”

Солдаты заходили в деревни и эвакуировали людей. Деревенские улицы были забиты военной техникой: бронетранспортеры, грузовые машины под зеленым брезентом, даже танки. Люди покидали свои дома в присутствии солдат, действовало это угнетающе, особенно на тех, кто пережил войну. Сначала винули русских — они виноваты, их станция... Следом: “Коммунисты виноваты...” Сердце стучало от неземного страха...

Нас обманули. Пообещали, что мы через три дня вернемся. Оставили мы дом, баню, резной колодец, старый сад. Ночью перед отъездом я вышла в сад и увидела, как раскрылись цветы. А утром все упали. Мама не смогла пережить переселение. Через год она умерла. У меня два сна повторяются... Первый – я вижу наш пустой дом, а второй – возле нашей калитки, среди георгинов стоит моя мама... Живая... И улыбается...

Все время сравнивают с войной. Но ... войну можно понять.. О войне мне отец рассказывал, я книги читала.... А тут? Осталось от нашей деревни три кладбища: на одном люди лежат, оно старое, на втором – расстрелянные собаки и кошки, которых мы бросили, на третьем — наши дома.

Даже наши дома похоронили...”

“Каждый день... Я каждый день хожу по своим воспоминаниям...”

По тем же улицам, мимо тех же домов. Такой тихий у нас был городок. Никаких заводов, одна конфетная фабрика. Воскресенье... Лежу, загораю. Бежит мама: “Деточка, Чернобыль взорвался, люди по домам прячутся, а ты под солнцем”. Я посмеялась — до Чернобыля от Наровли сорок километров.

Вечером возле нашего дома остановились “Жигули”, заходит моя знакомая с мужем: она — в домашнем халате, он — в спортивном трико и в каких-то старых тапочках. Через лес, проселочными дорогами они удирали из Припяти... Бежали... На дорогах дежурила милиция, военные посты, никого не выпускали. Первое, что она мне закричала: “Нужно срочно искать молоко и водку! Срочно!” Кричала и кричала: “Только новую мебель купили, новый холодильник. Я себе шубу сшила. Все оставили, обвязали целлофаном... Ночь не спали... Что будет? Что будет?” Муж ее успокаивал. Он рассказывал, что над городом летают вертолеты, а по улицам ездят военные машины и поливают какой-то пеной. Мужчин забирают на полгода в армию, как на войну. Днями сидели у телевизора и ждали, когда Горбачев выступит. Власти молчали...

Только когда отгремели майские праздники, Горбачев сказал: не волнуйтесь, мол, товарищи, ситуация на контроле... Пожар, просто пожар. Ничего особенного... Люди там живут, работают...

Мы верили...”

“Такие картины... Боялась ночью спать... Закрывать глаза...”

Гнали скот... Весь скот из выселенных деревень гнали к нам в райцентр на приемные пункты. Обезумевшие коровы, овечки, поросята бегали по улицам... Кто хотел, тот ловил... С мясокомбината машины с тушами шли на станцию Калиновичи, оттуда грузили на Москву. Москва не принимала. И эти вагоны, уже могильники, возвращались назад к нам. Целые эшелоны. Тут их хоронили. Запах гнилого мяса преследовал по ночам... “Неужели так пахнет атомная война?” — думала я. Война должна пахнуть дымом...

В первые дни наших детей вывозили ночью, чтобы меньше людей видело. Прятали беду, скрывали. А народ все равно узнавал. Выносили на дорогу к нашим автобусам бидончики с молоком, пекли булочки.

Как в войну... С чем еще сравнить?”

“Совещание в облисполкоме... Военная обстановка...”

Все ждут выступления начальника гражданской обороны, потому что если кто-то и вспомнил что-то о радиации, то только какие-то обрывки из учебника физики за десятый класс. Он выходит на трибуну и начинает рассказывать то, что написано в книгах и учебниках об атомной войне: получив пятьдесят рентген, солдат должен выйти из боя, как строить укрытия, как пользоваться противогазом, о радиусе взрыва... Но тут не Хиросима и Нагасаки, тут все по-другому... Мы уже догадываемся...

В зараженную зону вылетели на вертолете. Экипировка по инструкции: нижнего белья нет, комбинезон из хэбе, как у повара, на нем защитная пленка, рукавицы, марлевая повязка. Обвешаны все приборами. Спускаемся с неба возле деревни, а там ребятишки купаются в песке, как воробьи. Во рту камушек, веточка. Маленькие — без штанов. С голыми попками... А у нас приказ: с народом не общаться, панику не поднимать...

И вот теперь живу с этим...”

“По телевизору вдруг замелькали передачи...”

Один из сюжетов: бабка подоила молоко, налила в банку, репортер подходит с военным дозиметром, водит по банке... Идет комментарий, что вот, смотрите, совершенная норма, а до реактора десять километров. Показывают реку Припять... Купаются, загорают... Вдалеке виден реактор и клубы дыма над ним... Комментарий: западные голоса сеют панику, распространяют заведомую клевету об аварии. И снова с этим дозиметром — то к тарелке ухи его прикладывают, то к шоколадке, то к пончикам у открытого киоска. Это был обман. Военные дозиметры, которые находились в то время на вооружении нашей армии, не рассчитаны на проверку продуктов, они только меряют фон.

Такое количество лжи, с которым связан в нашем сознании Чернобыль, было разве только в сорок первом... При Сталине...”

“Хотела родить от любви...”

Мы ждали первенца. Муж хотел мальчика, а я — девочку. Врачи уговаривали меня: “Надо решиться на аборт. Ваш муж долгое время находился в Чернобыле”. Он — шофер, и его в первые дни туда призвали. Возил песок и бетон. Но я никому не верила. Не хотела верить. Я читала в книгах, что любовь может все победить. Даже смерть.

Ребеночек родился мертвый. И без двух пальчиков. Девочка. Я плакала. “Ну, пусть бы у нее хотя бы пальчики были. Она же — девочка...”

“Никто не понимал, что произошло...”

Позвонила в военкомат, мы, медики, все военнообязанные, предложила свою помощь. Не помню фамилию, но звание было майор, ответил мне: “Нам нужны молодые”. Я пробовала убеждать: “Молодые врачи, во-первых, не готовы, а, во-вторых, они подвергаются большей опасности, молодой организм чувствительнее к воздействию радиации”. Ответ: “У нас приказ — брать молодых”.

Помню... У больных стали плохо заживать раны. Еще... Тот первый радиоактивный дождь, после которого пожелтели лужи. Стали желтые на солнце. Теперь этот цвет тревожит всегда. С одной стороны, сознание ни к чему подобному оказалось не готово, а с другой — мы ведь самые лучшие, самые необыкновенные, у нас самая великая страна. Мой муж, человек с высшим образованием, инженер, он серьезно меня уверял, что это террористический акт. Вражеская диверсия. Мы так думали... Мы так были воспитаны... Но я вспоминала, как ехала в поезде с одним хозяйственником, и он мне рассказывал о

строительстве Смоленской атомной станции: сколько цемента, досок, гвоздей, песка уплывало с объекта в близлежащие деревни. За деньги, за бутылку водки...

В деревнях... На заводах... Выступали работники райкомов партии, ездили, общались с народом. Но ни один из них не способен был ответить на вопросы, что такое дезактивация, как защитить детей, какие коэффициенты перехода радионуклидов в пищевые цепочки? Об альфа- бета- и гамма частицах, о радиобиологии, ионизирующих излучениях, не говоря об изотопах. Для них это были вещи из иного мира. Они читали лекции о героизме советских людей, символах военного мужества, происках западных спецслужб...

Взяла слово на партсобрании: где профессионалы? Физики? Радиологи? Мне пригрозили, что заберут партбилет..."

"Много было необъяснимых смертей... Неожиданных...

У моей сестры болело сердце... Когда она услышала о Чернобыле, почувствовала: "Вы это переживете, а я — нет". Она умерла через несколько месяцев... Врачи ничего не объяснили. А с ее диагнозом еще долго можно было жить...

Рассказывают... У старух появлялось молоко в грудях, как у рожениц. Медицинский термин этому явлению — релаксация. А для крестьян? Божья кара... Случилось такое с бабкой, которая жила одиноко. Без мужа и без детей. Сбожеволила. Ходила по деревне и качала что-нибудь на руках, возьмет полено или детский мячик обвяжет платком.... Люли-люли... Баюшки..."

"Я боюсь жить на этой земле..."

Дали дозиметр, а зачем он мне? Постираю белье, оно у меня белюсенькое — дозиметр звенит. Приготовлю еду, спеку пирог — звенит. Постелю постель — звенит. Зачем он мне? Я кормлю детей — и плачу. "Чего ты, мамка, плачешь?"

Двое детей—двое мальчиков. Все время с ними по больницам. По врачам. Старшенький: то ли девочка, то ли мальчик. Лысенький. Я — и к профессорам с ним, и к бабкам. Шептухам, знахаркам. Самый маленький в классе. Ему нельзя бегать, играть, если кто нечаянно ударит, потечет кровь, он может умереть. Болезнь крови, я ее даже не выговорю. Лежу с ним в больнице и думаю: "Умрет". Потом поняла, что так думать нельзя, а то смерть услышит. Плакала в туалете. Все мамы в палатах не плачут, а в туалетах, в ванной. Вернусь веселая:

— У тебя уже щечки порозовели. Выздоровливаешь.

— Мамочка, заведи меня из больницы. Я тут умру. Тут все умирают. Где мне плакать? В туалете? А там очередь... Там все такие, как я..."

"На радуницу... В день поминовения..."

Нас пускают на кладбище. На могилки... А заходить в свои дворы, милиция приказывает, нельзя. На вертолетах они над нами летают. Так мы хоть издали поглядим на наши хаты... Перекрестим их...

Привезу ветку сирени с родного места, и она год у меня стоит..."

"Расскажу вам, что такое наш человек... Советский..."

В "грязных" районах... В первые годы магазины завалили гречкой, китайской тушенкой, и люди радовались, похвалялись, что, мол, нас теперь отсюда не выгонишь. Нам тут хорошо! Загрязнялась почва неравномерно, в одном колхозе и "чистые", и "грязные" поля. Тем, кто работает на "грязных"? платят больше, и все просятся туда. На "чистые" ехать отказываются...

Недавно был у меня в гостях брат с Дальнего Востока. “Вы, — говорит, — тут как “черные ящики”... Люди — “черные ящики”... “Черные ящики” есть на каждом самолете, они записывают вся информация о полете. Когда самолет терпит аварию – ищут “черные ящики”.

Мы думаем, что живем, как все... Ходим, работаем... Влюбляемся... Нет! Мы записываем информацию для будущего...”

“Я — детский врач...

У детей все иначе, чем у взрослых. У них, например, нет понятия, что рак — это смерть. Этот образ у них не возникает. Они все о себе знают: диагноз, название всех процедур, лекарств. Знают больше, чем их мамы. А их игры? Бегают по палатам друг за другом и кричат: “Я — радиация! Я — радиация!”. Мне кажется, что когда они умирают, у них такие удивленные лица... Они в недоумении...

Лежат с такими удивленными лицами...”

“Врачи меня предупредили, что мой муж умрет... У него рак крови...

Он заболел, когда вернулся из чернобыльской зоны. Через два месяца. Его с завода туда послали. Пришел с ночной смены:

— Утром уезжаю...

— Что ты там будешь делать?

— Работать в колхозе.

Сгребали сено в пятнадцатикилометровой зоне. Убирали свеклу. Копали картошку.

Вернулся. Поехали к его родителям. Помогал отцу штукатурить печь. И там упал. Вызвали “скорую”, отвезли в больницу — смертельная доза лейкоцитов. Отправили в Москву.

Приехал оттуда с одной мыслью: “Я умру”. Стал больше молчать. Убеждала. Просила. Словам моим не верит. Тогда я родила ему дочь, чтобы поверил. Я сны свои не разгадываю... То меня ведут на эшафот, то я вся в белом... Сонник не читаю... Проснусь утром, посмотрю на него: как же я останусь одна? . Хотя бы девочка подросла и его запомнила. Она маленькая, недавно стала ходить. Бежит к нему: “Па-а-а...” Гоню эти мысли...

Если бы я знала... Закрыла бы все двери, стала бы на пороге. Заперла бы на десять замков...”

“Уже два года живем с моим мальчиком в больнице...

Маленькие девочки в больничных палатах играют в “куклы”. Куклы у них закрывают глаза... Так куклы умирают...

— Почему куклы умирают?

— Потому что это наши дети, а наши дети жить не будут. Они родятся и умрут.

Моему Артемке семь лет, а на вид ему дают пять.

Закроет глаза, и я думаю, что уснул. Заплачу: он же не видит.

А он — отзывается:

— Мама, я уже умираю?

Заснет и почти не дышит. Я стану перед ним на колени. Перед кроватью.

— Артемка, открой глаза... Скажи что-нибудь...

“Ты еще тепленький...” — думаю про себя.

Откроет глаза. Опять заснет. И так тихо. Как умер.

— Артемка, открой глазки...

Я не даю ему умереть...”

“Недавно праздновали Новый год... Накрыли хороший стол. Все свое: копчености, сало, мясо, огурчики маринованные, только хлеб из магазина. Даже водка своя, самодельная. Свое, как у нас смеются, чернобыльское. С цезием, стронцием вприкуску. А где что взять? Магазины в деревнях с пустыми прилавками, а если что и появится, то с нашими зарплатами и пенсиями не подступишься.

Пришли к нам гости. Наши хорошие соседи. Молодые. Один учитель, второй — колхозный механик с женой. Выпили. Закусили. И начались песни. Не сговариваясь, запели революционные песни. Песни о войне. “Утро красит нежным светом стены древнего Кремля” — мою любимую. И получился хороший вечер. Такой, как раньше.

Написала про это сыну. Он у нас учится в столице. Студент. Получаю ответ: “Мама, я представил себе эту картину — чернобыльская земля. Наша хата. Блестит новогодняя елка... А люди за столом поют революционные и военные песни, будто нет у них позади ни ГУЛАГА, ни Чернобыля...”

Мне стало страшно не за себя, а за сына. Ему некуда вернуться...”

Глава третья

Восхищение печалью

*Монолог о том, чего мы не знали:
смерть может быть такой красивой*

“В первые дни главным вопросом: кто виноват? Нам нужен был виновник...

Потом, когда мы больше узнали, стали думать, что делать? Как спастись? Теперь, смирившись с мыслью, что это не на год и не на два, а на много поколений, стали в мыслях возвращаться назад, переворачивать страничку за страничкой...

Это случилось в ночь с пятницы на субботу... Утром никто ничего не подозревал. Отправила в школу сына, муж ушел в парикмахерскую. Готовлю обед. Муж скоро вернулся... Вернулся он со словами: “На атомной какой-то пожар. Приказ: не выключать радио”. Я забыла сказать, что мы жили в Припяти, недалеко от реактора. До сих пор перед глазами — ярко-малиновое зарево, реактор как-то изнутри светился. Невероятный цвет. Это был не обыкновенный пожар, а какое-то свечение. Красиво. Если забыть об остальном, то очень красиво. Ничего подобного я в кино не видела, даже никакого сравнения. Вечером люди высыпали на балконы, у кого не было, — шли к друзьям, знакомым. У нас девятый этаж, прекрасная видимость. По прямой километра три. Выносили детей, поднимали на руках: “Посмотри! Запомни!” И это люди, которые на реакторе работали... Инженеры, рабочие... Были и учителя физики... Стояли в черной пыли... Разговаривали... Дышали... Любовались... Некоторые за десятки километров приезжали на машинах, велосипедах, чтобы посмотреть. Мы не знали, что смерть может быть такой красивой. Но я бы не сказала, что у нее отсутствовал запах. Не весенний и не осенний запах, а что-то совсем другое, и не запах земли... Нет... Першило в горле, в глазах — слезы сами по себе. Я не спала всю ночь и слышала, как топали наверху соседи, тоже без сна. Что-то они там перетаскивали, стучали, может быть, вещи паковали. Заклеивали окна. Глушила головную боль цитрамоном. Утром, когда рассвело, огляделась вокруг, это я не сейчас придумала, не потом, а тогда почувствовала: что-то не так, что-то поменялось. Насовсем. В восемь часов утра по улицам уже ходили военные в противогазах. Когда мы увидели на улицах города солдат и военную технику, мы не испугались, а, наоборот, успокоились. Раз армия пришла на помощь, все будет нормально. У нас понятия не было, что мирный атом тоже убивает... Что весь город мог не проснуться в ту ночь... Под окнами кто-то смеялся, играла музыка.

После обеда по радио начали объявлять, чтобы готовились к эвакуации: увезут на три дня, помоют, проверят. Как сейчас, слышу голос диктора: “эвакуация в ближайшие села”, “домашних животных не брать”, “собираться возле подъездов”. Детям сказали обязательно взять с собой учебники. Муж все-таки положил в портфель документы и наши свадебные фотографии. А я единственное, что прихватила, это газовый платочек на случай плохой погоды...

С первых дней почувствовали, что мы — чернобыльцы, теперь уже отверженные. Нас боятся. Автобус, в котором мы ехали, остановился на ночь в какой-то деревне. Люди спали на полу в школе, в клубе. Негде приткнуться. И одна женщина пригласила нас к себе: “Идемте, я постелю на кровати. Жалко вашего мальчика”. А другая, которая стояла рядом, оттаскивала ее от нас: “Ты с ума сошла! Они — заразные”. Когда мы уже переселились в Могилев, и сын пошел в школу, в первый же день он влетел в дом с плачем... Его посадили вместе с девочкой, а та не хочет, потому что он радиационный, и если с ним сидеть, то можно умереть. Сын учился в четвертом классе, и так получилось,

что он один, чернобыльский, был в этом классе. Они все его боялись, называли “светлячком”... “Чернобыльским ежиком”... Я испугалась, что у него так быстро кончилось детство.

Мы уезжали из Припяти, а навстречу нам шли военные колонны. Бронетехника. Тут стало страшно. Непонятно и страшно. Но меня не покидало ощущение, что все это происходит не со мной, а с кем-то. Странное ощущение. Сама плакала, искала еду, ночлег, обнимала и успокаивала сына, а внутри — даже не мысль, постоянное чувство: я — зритель. Я смотрю через стекло... Вижу кого-то другого... Только в Киеве нам выдали первые деньги, а купить на них ничего нельзя: сотни тысяч людей подняли с места, все скуплено, съедено. У многих — инфаркты, инсульты, прямо там — на вокзалах, в автобусах. Меня спасла моя мама. За свою долгую жизнь она не раз лишалась дома, нажитого имущества. Первый раз ее репрессировали в тридцатые годы, забрали все: корову, лошадь, хату. Второй раз — пожар, только меня, маленькую, из огня выхватила: “Надо пережить, — утешала она. — Мы ведь живы”.

Вспомнила... Сидим в автобусе. Плачем. Мужчина на первом сиденье громко ругает жену: “Какая же ты дура! Все хоть какие-то вещи взяли, а мы с тобой трехлитровыми банками загрузились”. Жена его решила, что раз они едут на автобусе, то по дороге передаст своей матери пустые банки для маринадов. Возле них лежали огромные пузатые сетки, мы всю дорогу о них спотыкались. Так они с этими банками и приехали в Киев.

...Я пою в церковном хоре. Евангелие читаю. Хожу в церковь, потому что только там говорят о вечной жизни. Утешают человека. Больше нигде этих слов не услышишь, а так хочется услышать. Когда мы ехали в эвакуацию, и если по дороге встречалась церковь, то все шли туда. Нельзя было пробиться. Атеисты и коммунисты, — все шли.

Мне часто снится сон, как мы идем с сыном по солнечной Припяти. Сейчас — это уже город-призрак. Идем и разглядываем розы, в Припяти было много роз, большие клумбы с розами. Сон... Вся та наша жизнь уже сон. Я была тогда такая молодая. Сын маленький... Любила...

Прошло время, все стало воспоминанием. Я опять как будто зритель...”

*Надежда Петровна Выговская,
переселенка из города Припяти*

Монолог о том, как легко стать землей

“Я вел дневник...”

И старался запомнить те дни... Было много новых ощущений. Ну и страх, конечно... Вырвались в неизведанное, как на Марс... Я родом из Курска, в шестьдесят девятом году недалеко от нас построили атомную станцию. В городе Курчатове. Из Курска туда ездили за продуктами. За колбасой. Атомщиков обеспечивали по высшей категории. Я запомнил большой пруд, в нем удил рыбу. Вблизи реактора... После Чернобыля я это часто вспоминал... Теперь такое уже невозможно...

Значит, так: мне вручают повестку, и я, как человек дисциплинированный, в тот же день являюсь в военкомат. Военком листает мое “дело”: “Ты, — говорит, — ни разу у нас на сборах не был. А тут химики нужны. Не хочешь в лагерь под Минск на двадцать пять дней?” Я подумал: “Почему бы мне не отдохнуть от семьи, от работы? Помарширую по свежему воздуху”. Двадцать второго июня тысяча девятьсот восемьдесят шестого года с вещами, котелком и зубной щеткой в одиннадцать часов я прибыл на сборный пункт. Удивило, что нас слишком много для мирного времени. Мелькнули какие-то воспоминания. Из военных фильмов. И день-то какой выпал: двадцать второе июня... Начало войны... То объявят строиться, то разойтись, и так до вечера. В автобусы

погрузились, когда темнеть начало. Команда: “Кто спиртное взял, выпивайте. Ночью сядем в поезд, а утром будем в части. Чтобы вышли свежие, как огурчики, и без лишнего багажа”. Понятное дело. Гудели всю ночь.

Утром нашли в лесу свою часть. Снова построили и вызывают по алфавиту. Получение спецодежды. Дали один комплект, второй, третий, ну, думаю, серьезные дела. Еще выдают шинель, шапку, матрац, подушку, — все зимнее. А на улице — лето и обещали, что отпустят через двадцать пять дней. “Да вы что, ребята, — смеется капитан, который нас вез. — Двадцать пять дней?! На полгода в Чернобыль загремите”. Недоумение. Агрессия. Тут нас давай уговаривать: кто за двадцать километров попадет — двойной оклад, кто за десять — тройной, кто к самому реактору — множь на шесть. Один начинает считать, что он за шесть месяцев на своей машине домой приедет, другой хотел бы убежать, но военная дисциплина. Что такое радиация? Никто не слышал. А я как раз перед этим прошел курсы по гражданской обороне, нам выдавали информацию тридцатилетней давности: пятьдесят рентген — смертельная доза. Учили, как падать, чтобы ударная волна над тобой прошла, не задела. Облучение, тепловой нагрев... А о том, что радиоактивное заражение местности — самый поражающий фактор, — ни слова. И те кадровые офицеры, которые везли нас в Чернобыль, не больно соображали, одно знали: водки надо побольше, от радиации помогает. Шесть дней стояли под Минском, шесть дней пили. Я коллекционировал этикетки спиртных бутылок. Сначала водку пили, потом, смотрю, пошли какие-то странные напитки: нитхинол и разные другие стеклоочистители. Как химику, мне это было интересно. После нитхинола — ноги ватные, а голова трезвая, даешь себе команду “Встать!”. А сам падаешь.

Значит так: я — инженер-химик, кандидат наук, призвали меня с должности заведующего лабораторией крупного производственного объединения. Как меня использовали? Дали в руки лопату, практически это был мой единственный инструмент. Тут же родился афоризм: на атом — с лопатой. Защитные средства: респираторы, противогазы, но никто ими не пользовался, потому что жара до тридцати градусов, напялишь — умрешь сразу. Расписались, как за дополнительную амуницию, и забыли. Еще один штрих. Как мы ехали... Из автобусов пересели в поезд, посадочных мест в вагоне — сорок пять, а нас — семьдесят. Спали по очереди. Это сейчас вспомнилось... Ну, вот, что такое — Чернобыль? Боевая техника и солдаты. Моечные посты. Военная обстановка. Разместили в палатках, по десять человек. У кого-то остались дома дети, у кого-то жена рожает, у кого-то нет квартиры. Никто не ныл. Надо, значит надо. Родина призвала, родина велела. Такой у нас народ...

Вокруг палаток гигантские горы пустых консервных банок. Монбланы!! Где-то хранившийся на военных складах неприкосновенный запас. Судя по этикеткам, хранился двадцать-тридцать лет... На случай войны. Банки из-под тушенки, перловой каши... Из-под кильки... Стаи кошек... Их, как мух... Деревни выселены, людей нет. От ветра калитка скрипнет, мгновенно оборачиваешься: ждешь человека. Вместо человека — кошка выходит...

Снимали зараженный верхний слой земли, грузили в автомашины и вывозили в могильники. Я считал, что могильник — какое-то сложное инженерное сооружение, а это обычный курган. Землю мы поднимали и сворачивали большими рулонами... Как ковер... Зеленый дерн с травой, цветами, корнями... Пауками, червяками... Работа для сумасшедших. Нельзя же ободрать всю землю, снять с нее все живое. Если бы не пили по-черному каждую ночь, сомневаюсь, что можно выдержать. Психика не устояла бы. Сотни метров ободранной земли, бесплодной. Дома, сараи, деревья, шоссе, дороги, детские садики, колодцы, — оставались, как голые... Среди песка, в песке. Утром надо побриться, боишься глянуть в зеркало, увидеть свое лицо. Потому что мысли появлялись всякие...

Всякие мысли... Трудно представить, чтобы туда вернулись люди, опять началась жизнь. Но мы меняли шифер, мыли крыши. То, что работа бесполезная, понимали все. Тысячи людей. Но каждое утро вставали и снова ее делали. Абсурд! Неграмотный дед встретит: “Кидайте, сынки, дурную работу. Садитесь за стол. Пообедайте с нами”. Ветер дует. Тучи плывут. Реактор не закрыт... Сняли слой, через неделю вернулись, можно наново начинать. А снимать уже нечего. Песок сыплется... Смысл понял один раз, когда с вертолетов разбрызгивали специальный раствор, чтобы получилась полимерная пленочка, не позволяющая легкоподвижному грунту перемещаться. Это мне было понятно. Но мы копали, копали...

Люди эвакуированы, но в некоторых деревнях оставались старики. Ну, вот... И зайти в обычную хату и сесть пообедать... Сам ритуал... Пусть всего полчаса нормальной человеческой жизни... Хотя есть там ничего нельзя. Запрещалось. Но так хотелось посидеть за столом... В старой хате...

После нас оставались только курганы. Потом вроде бы их должны обкладывать бетонными плитами, огородить колючей проволокой. Там оставляли самосвалы, уазики, краны, на которых работали, так как металл имеет свойство радиацию накапливать, поглощать. Рассказывают, что все это потом куда-то исчезло. Разворовали. Я верю, потому что у нас может быть все. Один раз тревога: дозиметристы проверили и оказалось, что столовая построена на месте, где радиация выше, чем там, куда мы ездили работать. А мы уже жили тут два месяца. Такой у нас народ... Столбы и на них доски набиты на уровне груди – это называлось столовой. Стоя ели. Мылись из бочки... Туалет — длинная траншея в чистом поле... В руках — лопата... А рядом – реактор...

Через два месяца мы уже начали что-то понимать. Давай спрашивать: “Мы же не смертники. Побыли два месяца, хватит. Пора нас поменять”. Генерал-майор Антошкин проводил с нами беседу, откровенничал: “Нам невыгодно вас менять. Мы вам дали один комплект одежды. Второй, третий. Вы навыки приобрели. Менять вас — дорогое дело, хлопотное”. И упор на то, что мы — герои. Раз в неделю тем, кто хорошо землю копал, перед строем вручали похвальную грамоту. Лучший похоронщик Советского Союза. Разве не безумие?

Пустые деревни... Живут куры и кошки. Зайдешь в сарай, полно яиц. Жарили. Солдаты — brave ребята. Курицу словят. Костер. Бутыль самогона. Каждый день в палатке выпивали хором трехлитровую бутылку самогона. Кто-то в шахматы сражается, кто-то на гитаре бренчит. Человек ко всему привыкает. Один напьется — и в кровать, другому кричать охота. Драться. Двое сели пьяные за руль. Разбились. Автогеном их вырезали, доставали из расплющенного железа. Я спасался тем, что писал домой длинные письма и вел дневник. Засек меня начальник политотдела, стал за мной охотиться: где храню, что пишу? Подговорил соседа шпионить за мной. Тот предупредил: “Что строчишь?” — “Кандидатскую защитил. Докторскую пишу”. Смеется: “Я так полковнику и передам. А ты это дело спрячь”. Хорошие были ребята. Я уже говорил, ни одного нытика. Труса. Поверьте: нас никто никогда не победит. Никогда! Офицеры не вылезали из палаток. Валялись в домашних тапочках. Пили. Плевать! Мы копали. Пусть получают на погоны новые звездочки. Плевать! Такой у нас народ...

Дозиметристы — боги. Все к ним проталкиваются: “Ну, сынок, какая у меня радиация?” Один предприимчивый солдат сообразил: взял обыкновенную палку, намотал на нее проволоку. Постучался в одну хату и по стене этой палкой водит. Бабка за ним: “Сынок, что там у меня?” — “Военная тайна, бабка”. — “А ты мне скажи, сынок. Я тебе стакан самогонки налью”. — “Ну, давай!” Выпил. “Все нормально у тебя, бабка”. И пошел дальше...

В середине срока нам наконец выдали всем дозиметры, такие маленькие коробочки, внутри кристалл. Некоторые стали соображать: надо его утром отвезти к могильнику и оставить, а к концу дня забрать. Чем больше радиации, тем скорее отпуск дадут. Либо больше заплатят. Кто на сапог, там лямочка есть, повесил, чтобы ближе к земле. Театр абсурда! Абсурд! Эти датчики были не заряжены, для того, чтобы они начали отсчет, их надо было зарядить первичной дозой радиации. То есть эти финтифлюшки, цапки эти дали для отвода глаз. Психотерапия. На самом деле оказалось кремниевое устройство, на складах лет пятьдесят валялось. В военный билет в конце срока каждому вписали одинаковую цифру: среднюю дозу радиации умножили на число дней пребывания. Замерили среднюю дозу в палатках, где мы жили.

То ли анекдот, то ли быль. Звонит солдат любимой девушке. Она волнуется: “Что ты там делаешь?” Он решил прихвастнуть: “Только что из-под реактора вылез, помыл руки”. И тут — гудки. Разговор оборвался. Кэгэбэ слушает...

Два часа — на отдых. Ляжешь под кустик, а созрела уже вишня, такая крупная, сладкая, оботрешь и в рот. Шелковица... Я первый раз видел шелковицу...

Когда работы не было, водили маршировать. По зараженной земле... Абсурд! По вечерам фильмы смотрели. Индийские. Про любовь. До трех-четырёх часов утра. Кашевар проспит, каша сырая. Привозили газеты. Там писали, что мы — герои! Добровольцы! Наследники Павки Корчагина! Печатались фотографии. Встретить бы нам того фотографа...

Неподалеку стояли интернациональные части. Татары из Казани. Видел их самосуд. Гонят перед строем солдата, остановится или отбежит в сторону, бьют. Ногами. Лазил по хатам, чистил. Сумку барахла у него нашли. Отдельно расположились литовцы. Через месяц взбунтовались и потребовали, отправки домой.

Был однажды спецзаказ: срочно помыть дом в пустой деревне. Абсурд! “Зачем?” — “Завтра там будут играть свадьбу”. Облили из шлангов крышу, деревья, соскребли землю. Скосили картофельную ботву, весь огород, траву во дворе. Пустырь вокруг. Назавтра привезли жениха и невесту. Приехал автобус с гостями. Музыка... Настоящие, а не киношные жених и невеста. Они уже жили в другом месте, переселились, но их уговорили приехать сюда, чтобы заснять для истории. Работала пропаганда. Фабрика грез... Охраняла наши мифы: мы везде выживем, даже на мертвой земле...

Перед самым отъездом меня вызвал командир: “Что ты писал?” — “Письма молодой жене”, — ответил я. — “Ты там смотри...” — последовал приказ.

Что осталось в памяти о тех днях? Как мы копали. Копали... Где-то в дневнике записано, что я там понял. В первые же дни... Я понял, как легко стать землей...”

*Иван Николаевич Жмыхов,
инженер-химик*

Монолог о символах и тайнах великой страны

“Вспоминаю, как о войне...”

Уже к концу мая, где-то через месяц после аварии, к нам начали поступать на проверку продукты из тридцатикилометровой зоны. Институт работал круглосуточно. Как военный. В республике только у нас на тот момент имелись профессионалы и специальная аппаратура. Привозили внутренности домашних и диких животных. Проверяли молоко. После первых проб стало ясно, что к нам поступает не мясо, а радиоактивные отходы. Вахтовым методом в зоне пасли стада. Пастухи приезжали и уезжали, доярок привозили только на дойку. Выполняли планы молокозаводы. Проверили. Не молоко, а

радиоактивные отходы. Сухой молочный порошок и банки сгущенного и концентрированного молока Рогачевского молокозавода мы долго использовали на лекциях, как эталонный источник. А в это время их продавали в магазинах... Во всех продуктовых ларьках... Когда люди читали на этикетках, что молоко из Рогачева и не брали его, оно затоваривалось, вдруг появились банки без этикеток. Думаю, причина не в том, что не хватало бумаги — людей обманывали. Обманывало государство. Вся информация становилась тайной за семью печатями, чтобы “не вызвать паники”. И это в первые недели... Именно в то время, когда коротко живущие элементы давали жесткое излучение, и все “светилось”. Мы постоянно писали служебные записки... Постоянно... Но сказать открыто о результатах... Лишиться научной степени, а то и партбилета. *(Начинает нервничать)*. Но не в страхе... Не в страхе причина, хотя и в нем, конечно... А мы были люди своего времени, своей советской страны. Верили в нее, все дело — в вере. В нашей вере... *(От волнения закуривает.)* Поверьте, не из-за страха... Не из-за одного страха... Я отвечаю честно. Чтобы я уважал себя, мне надо быть сейчас честным. Я хочу...

Первая поездка в зону: в лесу фон в пять-шесть раз выше, чем в поле, на дороге. Везде высокие дозы. Работают трактора... Крестьяне копают свои огороды... В нескольких деревнях измерили щитовидку взрослым и детям: в сто, в двести-триста раз выше допустимой дозы. Была у нас в группе женщина. Радиолог. С ней случилась истерика, когда она увидела детей, которые сидели в песке и играли. Пускали в лужах кораблики. Открыты магазины и, как обычно, у нас в деревнях, мануфактура и продукты по соседству: костюмы, платья, а рядом колбаса, маргарин. Лежат свободно, даже не накрытые целлофаном. Берем колбасу, яйца... Делаем рентгеновский снимок: не продукты, а радиоактивные отходы. Сидит молодая женщина на скамейке у дома, кормит ребенка грудью... Проверили грудное молоко — радиоактивное. Чернобыльская мадонна...

Мы спрашивали — как быть, что делать? Нам отвечали: “Проводите замеры. Смотрите телевизор”. По телевизору Горбачев успокаивал: “Приняты неотложные меры”... Я верил... Инженер с двадцатилетним стажем, хорошо знакомый с законами физики. Знал же я, что из этих мест надо уйти всему живому. Хотя бы на время. Но мы добросовестно проводили замеры и смотрели телевизор. Мы привыкли верить. Я — из послевоенного поколения, которое выросло в этой вере. Откуда вера? Мы победили в такой страшной войне. Перед нами тогда весь мир преклонялся. Это же было! В Кордильерах на скалах было высечено имя — Сталин!! Что это? Символ! Символ великой страны.

Вот ответ на ваш вопрос: почему мы знали и молчали? Почему не вышли на площадь, не кричали? Мы докладывали... Я вам говорил, писали служебные записки. А молчали и беспрекословно подчинялись приказам, потому что партийная дисциплина, я — коммунист. Не помню, чтобы кто-нибудь из наших сотрудников испугался за себя лично и отказался от командировки в зону. Не из-за страха положить партбилет, а из-за веры. Прежде всего вера, что мы живем красиво и справедливо, и человек у нас выше всего, мера всех вещей. Крушение этой веры потом для многих кончалось инфарктом или самоубийством. Пулей в сердце, как у академика Легасова... Потому что, когда теряешь веру, остаешься без веры, ты уже не участник, а соучастник, у тебя нет оправдания. Я так его понимаю.

Некий знак... На каждой атомной станции в бывшем Союзе в сейфе лежал план ликвидации аварии. Типовой план. Секретный. Без такого плана нельзя было получить разрешение на пуск станции. За много лет до аварии его разработали именно на примере чернобыльской станции: что делать и как? Кто за что отвечает? Где находится? До

мельчайших подробностей... И вдруг там, на этой станции происходит катастрофа... Что это — совпадение? Мистика? Если бы я был верующим... Когда хочешь найти смысл, чувствуешь себя религиозным человеком. А я — инженер. Я — человек другой веры. У меня другие символы...

Что теперь мне делать со своей верой? Что теперь...”

*Марат Филиппович Коханов, бывший
главный инженер Института ядерной
энергетики Академии наук Беларуси.*

*Монолог о том, что в жизни страшное
происходит тихо и естественно*

“С самого начала...

Где-то что-то случилось. Я даже название не расслышала, где-то далеко от нашего Могилева... Прибежал из школы брат: всем детям раздают какие-то таблетки. Видно, действительно что-то случилось. Ай-я-яй! И все. Первого мая мы замечательно провели день, конечно, на природе. Вернулись домой поздно вечером, в моей комнате окно распахнуто ветром... Это вспомнилось позже...

Работала я в инспекции по охране природы. Там ждали каких-либо указаний, но они не поступали... Ждали... В штате инспекции профессионалов почти не было, особенно среди руководства: полковники в отставке, бывшие партработники, пенсионеры или неугодные. В другом месте проштрафился, его к нам. Сидит, шуршит бумажками. Зашумели, заговорили они после выступления в Москве нашего белорусского писателя Алеся Адамовича, который стал бить во все колокола. Как они его ненавидели! Что-то ирреальное. Здесь живут их дети, их внуки, не они — а писатель кричит миру: спасите!! Казалось бы должен сработать инстинкт самосохранения. На партсобраниях, в курилках — все о писаках. Что лезут не в свое дело? Распустились! Существует инструкция! Субординация! Что он понимает? Он же не физик! Есть цека, есть генеральный секретарь! Я тогда, может быть, впервые поняла, что такое — тридцать седьмой год. Как это было...

В то время мое представление об атомной станции было совершенно идиллическое. В школе, в институте нас учили, что это сказочные “фабрики энергии из ничего”, где люди в белых халатах сидят и нажимают кнопки. Чернобыль взорвался на фоне неподготовленного сознания, абсолютной веры в технику. Вдобавок никакой информации. Горы бумаг с грифом “совершенно секретно”: “засекретить сведения об аварии”, “засекретить сведения о результатах лечения”, “засекретить сведения о степени радиоактивного поражения персонала, участвовавшего в ликвидации...” Гуляли слухи: кто-то в газетах прочел, кто-то где-то слышал, кому-то сказали... Из библиотек исчезла вся смехотворная (как потом оказалось) макулатура, изданная по гражданской обороне. Кто-то слушал западные голоса, только они в то время передавали, какие таблетки пить, как их правильно употреблять. Но реакция чаще всего была такая: враги злорадствуют, а у нас все хорошо. Девятого мая ветераны пойдут на парад... Будет играть духовой оркестр. Даже те, кто тушил реактор, как потом выяснилось, тоже жили среди слухов. Кажется, опасно руками брать графит... Кажется...

Откуда-то появилась в городе сумасшедшая. Ходила по базару и говорила: “Я видела эту радиацию. Она синяя-синяя, переливается...” Люди перестали покупать на рынке молоко, творог. Стоит бабка с молоком, никто его у нее не берет. “Не бойтесь, — уговаривает, — я корову в поле не вывожу, я траву ей сама ношу”. Выедешь за город, какие-то чучела вдоль дороги маячат: пасется корова, целлофаном обвязанная, и рядом

бабка, тоже вся в целлофане. Хоть плачь, хоть смейся. И нас уже стали посылать на проверки. Меня направили в лесхоз. Лесникам поставки древесины не уменьшили, как был план, так и остался. На складе включили прибор, а он черт-те что показывает. Возле досок вроде бы нормально, а рядом с заготовленными метлами зашкаливает. “Откуда метлы?” — “Из Краснополя (как потом выяснилось, самый зараженный район в нашей Могилевской области). Последняя партия осталась. Все отправили”. Как ты их по разным городам разыщешь?

Что-то я еще боялась забыть? Приметное... А! Вспомнила. Чернобыль... И вдруг новое, непривычное чувство, что у каждого из нас есть своя жизнь, до этого она как бы не нужна была. А тут люди стали задумываться: что они едят, чем кормят детей. Что опасно для здоровья, а что нет? Переезжать в другое место или не переезжать? Каждому надо было принять решение. А привыкли жить — как? Всей деревней, общиной. Заводом, колхозом. Мы были советские люди. Я, например, была советским человеком. Очень!! Училась в институте, каждое лето ездила с комотрядом. Было такое молодежное движение — студенческие коммунистические отряды. Мы там работали, а деньги перечисляли какой-нибудь латиноамериканской компартии. Наш отряд, в частности, Уругваю...

Мы поменялись. Все поменялось. Очень большие усилия нужны, чтобы понять. Оторваться от привычного... Я — биолог. Моя дипломная работа — поведение ос. Два месяца сидела на необитаемом острове. У меня было там свое осиное гнездо. Они приняли меня в свою семью после того, как неделю присматривались. Ближе, чем на три метра никого не подпускали, а меня на десять сантиметров уже через неделю. Я подкармливала их со спички вареньем прямо на гнезде. “Не разрушай муравейник, это хорошая форма чужой жизни”, — любимая поговорка нашего преподавателя. Осиное гнездо связано со всем лесом, и я постепенно тоже становлюсь частью ландшафта. Подбегает мышонок и садится на край моих кроссовок, дикий, лесной, но он уже воспринимает меня, как часть пейзажа, вчера сидела, сегодня сижу, завтра буду сидеть...

После Чернобыля... На выставке детских рисунков: ходит по черному весеннему полю аист... И подпись: “Аисту никто ничего не сказал”. Это — мои чувства тогда. И была работа. Ежедневная работа... Мы ездили по области, отбирали пробы воды, пробы земли — и отвозили в Минск. Девочки наши ворчали: “Торячие пирожки возим”. Ни защиты, ни спецодежды. Сидишь на переднем сиденье, а за спиной образцы — “светятся”. Составляли акты для захоронения радиоактивного грунта. Хоронили землю в земле... Новое человеческое занятие... Никто его понять не мог... По инструкции захоронение положено производить с геологической разведкой, чтобы глубина залегания грунтовых вод была не ближе четырех-шести метров, а глубина захоронения — небольшая, стены и дно котлована выстелить полиэтиленовой пленкой. Но это в инструкции, а в жизни, естественно, по-другому. Как всегда. Никакой геологоразведки. Ткнул пальцем: “Тут копай”. Экскаваторщик копает. “Так на какую глубину копали?” — “А черт его знает! Вода появилась, я бросил”. Бухали прямо в грунтовые воды...

Вот говорят: святой народ, преступное правительство... Я потом вам скажу, что об этом думаю... О народе нашем и о себе...

Самая большая командировка у меня была в Краснопольский район, я уже говорила, самый-самый. Чтобы предотвратить смывание радионуклидов с полей в реки, следовало опять же действовать по инструкции: пропахать двойные бороздки, пропуск — и еще раз двойные бороздки, и дальше в таких же интервалах. Мне надо проехать вдоль всех малых рек. Проверить. До райцентра добираюсь рейсовым автобусом, а дальше, естественно, требуется машина. Иду к председателю райисполкома. Председатель сидит в своем кабинете, обхватил голову руками: план никто не снимал, структуры севооборота никто не менял, как сеяли горох, так и сеют, хотя знают, что горох больше всего берет

радиацию, как и все бобовые. А там местами сорок кюри и выше. Ему не до меня. В детских садах разбежались повара и медсестры. Дети голодные. Сделать операцию аппендицита, надо везти человека на “скорой” в соседний район, шестьдесят километров по дороге, как стиральная доска. Все хирурги уехали. Какая машина?! Какие двойные бороздки? Ему не до меня. Тогда я ткнулась к военным. Молодые ребята, они отработали там по полгода. Сейчас отчаянно болеют. Дали в мое распоряжение бэтээр с экипажем, даже нет, не бэтээр, а бээрдэмку, как они ее звали (БРДМ) — разведывательная машина с пулеметом. Я очень жалела, что не сфотографировалась на ней. На броне. Опять же — романтика. Прапорщик, который командовал на этой машине, все время связывался с базой: “Сокол! Сокол! Продолжаем работу”. Едем... Дороги наши, леса наши, а мы — на боевой машине. Стоят у заборов женщины. Стоят и плачут. Последний раз они видели эту технику во время Отечественной войны. И у них страх, что началась война.

По инструкции у тракторов для пропашки этих борозд кабина должна быть защищена, герметизирована. Я видела такой трактор, кабина, действительно, герметична. Трактор стоял, а тракторист лежал на траве, отдыхал. “Вы с ума сошли? Разве вас не предупредили?” — “Так я же голову телогрейкой накрыл”, — отвечает. Люди не понимали. Их все время пугали, готовили к атомной войне. А не к Чернобылю...

Места там красивые необычайно. Лес сохранился не саженым, а настоящий. Древний. Петлистые речушки, в них вода цвета чая и прозрачная-прозрачная. Зеленая трава. Люди перекликаются в лесу... Для них это естественно, как выйти утром в свой сад... А ты уже знаешь, что все это отравлено – грибы, ягоды. Белочки в орешнике бегают...

Встретилась нам бабка:

— Детки, а молочко от своей коровки можно пить?

Мы глаза в землю, у нас приказ — данные собирать, но с населением тесно не общаться.

Первым нашелся прапорщик:

— Бабуля, а сколько вам годков?

— Да уже за восемьдесят, а может, и больше. Документы в войну сгорели.

— Ну, тогда пейте.

Деревенских людей больше всех жалко, они безвинно пострадали, как дети. Потому что Чернобыль не крестьянин придумал, у него с природой свои отношения — доверчивые, не захватнические, как и сто лет назад, и тысячу. Как в божественном замысле... И они не понимали, что произошло, они хотели верить ученым, любому грамотному человеку, как священнику. А им твердили: “Все хорошо. Ничего страшного. Только мойте руки перед едой”. Поняла, не сразу, а через несколько лет, что мы все участвовали... В преступлении... *(Молчит.)*

Вы не можете представить, в каких количествах на машинах из зоны вывозилось все, что туда направлялось в виде помощи, льгот ее жителям: кофе, тушенка, ветчина, апельсины. Ящиками, фургонами. Тогда же таких продуктов нигде не было. Живились местные продавцы, каждый проверяющий, все это мелкое и среднее чиновничество. Человек оказался хуже, чем я думала. И я сама... Тоже хуже... Я теперь это о себе знаю... *(Задумывается.)* Я, конечно, признаюсь... Для меня самой это важно... Ну, опять же пример... В одном колхозе, допустим, пять деревень. Три “чистые”, две “грязные”, от одной до другой — два-три километра. Двум платят “гробовые”, трем — нет. В “чистой” деревне строят животноводческий комплекс. Мол, завезем чистые корма. А где их взять? Ветер несет пыль с одного поля на другое. Одна земля. Чтобы построить комплекс, нужны бумаги. Комиссия их подписывает, я — в этой комиссии, хотя каждый знает, что подписывать нельзя. Преступление! В конце концов, находила я себе оправдание,

проблема чистых кормов не дело инспектора по охране природы. Я – человек маленький. Что я могу?

Каждый находил какое-то оправдание. Объяснение. Я проводила такой опыт с собой... И вообще я поняла — в жизни страшное происходит тихо и естественно...”

*Зоя Даниловна Брук,
инспектор охраны природы*

*Монолог о том, что русский человек
всегда хочет во что-нибудь верить*

“А вы разве не замечали, что между собой мы даже не говорим об этом? Через десятки лет, через столетия — это будут мифологические годы. Заселят эти места сказками и мифами... Легендами...”

Я боюсь дождя — вот что такое Чернобыль. Боюсь снега. Леса. Облаков боюсь. Ветра... Да! Откуда дует? Что несет? Это не абстракция, не умозаключение, а личное чувство. Чернобыль... Он в моем доме... В самом дорогом для меня существе, в моем сыне, который родился весной восемьдесят шестого... Он болен. Животные, даже тараканы, они знают, сколько и когда рожать. Люди так не могут, творец не дал им дара предчувствия. Недавно в газетах опубликовали, что в девяносто третьем году только у нас, в Беларуси, женщины сделали двести тысяч аборт. Основная причина — Чернобыль. Мы уже везде живем с этим страхом... Природа как бы свернулась, ожидая. Выжидая. “Горе мне! Куда девалось время?” — воскликнул бы Заратустра.

Я много размышлял. Искал смысл... Ответ... Чернобыль — это катастрофа русской ментальности. Вы об этом не задумывались? Конечно, я согласен, когда пишут, что это не реактор взорвался, а вся прежняя система ценностей. Но в этом объяснении мне чего-то не хватает...

Я бы говорил о том, о чем первым сказал Чаадаев — о нашей враждебности прогрессу. О нашей антитехнологичности, о нашей антиинструментальности. Вглядитесь в Европу. Начиная с эпохи Возрождения, она живет под знаком инструментального отношения к миру. Разумного, рационального. Это уважение к мастеровому человеку, к инструменту в его руках. Есть замечательный рассказ у Лескова — “Железный характер”. Что это такое? Русский характер — авось да небось. Лейтмотив русской темы. Немецкий характер — ставка на инструмент, на машину. У нас... У нас? С одной стороны — попытка преодолеть, обуздать хаос, с другой — наша родная стихийность. Поезжайте куда угодно, ну, например, в Кижы, и что вы услышите, о чем с гордостью воскликнет любой экскурсовод? Что этот храм построен топором да еще без единого гвоздя! Вместо того, чтобы построить хорошую дорогу, подкуем блоху. Колеса телеги утопают в грязи, зато держим жар-птицу в руках. Второе... Я думаю... Да! Это расплата за быструю индустриализацию после революции. После Октября... За скачок. Опять же на Западе — прядильный, мануфактурный век... Машина и человек двигались, менялись вместе. Формировалось технологическое сознание, мышление. А у нас? Что у нашего мужика в его собственном дворе, кроме рук? До сих пор! Топор, коса, нож — и все. На этом весь его мир держится. Ну, еще лопата. Как русский человек разговаривает с машиной? Только матом. Или кувалдой, пинком. Он ее не любит, машину, ненавидит, презирает на самом деле, он до конца не понимает, что в его руках, какая это сила. Я где-то читал, что рабочий персонал атомных станций часто называл реактор — кастрюлей, самоваром, керогазом. Конфоркой. Здесь уже есть гордыня: на солнце пожарим яичницу! Среди тех, кто работал на Чернобыльской станции много деревенских людей. Днем они на реакторе, а вечером —

на своих огородах или у родителей в соседней деревне, где картошку еще сажают лопатой, навоз разбрасывают вилами... Выкапывают урожай тоже вручную... Их сознание существовало в этих двух перепадах, в двух временах — каменном и атомном. В двух эпохах. Человек постоянно как маятник качался. Представьте себе железную дорогу, проложенную блистательными инженерами-путейцами, мчится поезд, но на месте машинистов — вчерашние извозчики. Кучера. Это судьба России путешествовать в двух культурах. Между атомом и лопатой. А технологическая дисциплина? Для нашего народа она — часть насилия, колодки, цепи. Народ стихийный, вольный. Всегда мечтал не о свободе — о вольнице. Для нас дисциплина — это репрессивный инструмент. Что-то есть особенное в нашем невежестве, что-то близкое к невежеству восточному...

Я — историк... Раньше много занимался лингвистикой, философией языка. Не только мы думаем языком, но и язык думает нами. В восемнадцать лет, а может, и чуть раньше, когда стал читать самиздат и открыл для себя Шаламова, Солженицына, я вдруг понял, что все мое детство, детство моей улицы, а рос я в интеллигентной семье (прадед священник, отец профессор петербургского университета), пронизано лагерным сознанием. И весь словарь моего детства — язык зэков. Для нас, подростков, это было вполне естественно: отца называли пахан, мать — махана. “На хитрую жопу есть х... с винтом” — это я в девять лет усвоил. Да! Ни одного цивильного слова. Даже игры, поговорки, загадки были зэчные. Потому что зэки — это не отдельный мир, который существовал где-то в тюрьмах, далеко. Это все было рядом. Как писала Ахматова “полстраны сажало, полстраны сидело”. Думаю, что вот это наше лагерное сознание неминуемо должно было столкнуться с культурой. С цивилизацией, с синхрофазотроном...

Ну и, конечно, мы были воспитаны в особом советском язычестве: человек — властелин, венец творения. И его право делать с миром все, что он захочет. Мичуринская формула: “Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее — наша задача”. Попытка привить народу те качества, те свойства, которых у него нет. Мечта о мировой революции — это мечта о том, чтобы человека переделать и весь мир вокруг. Все переделать. Да! Знаменитый большевистский лозунг: “Загоним железной рукой человечество в счастье!”. Психология насильника. Пещерный материализм. Вызов истории и вызов природе. И это не кончается... Рушится одна утопия, на смену ей приходит другая. Сейчас все вдруг заговорили о Боге. О Боге и рынке одновременно. Почему его не искали в ГУЛАГЕ, в камерах тридцать седьмого, на партсобраниях сорок восьмого, когда громили космополитизм, при Хрущеве, когда рушили храмы? Современный подтекст русского богоискательства лукав и лжив. Бомбят мирные дома в Чечне, уничтожают маленький и гордый народ... А в церкви стоят со свечками... Мы умеем только с мечом. Автомат Калашникова у нас вместо слова. Обгоревших русских танкистов сгребают в Грозном лопатами и вилами... То, что от них осталось... И тут же президент и его генералы молятся... Страна смотрит на это по телевизору...

Что нам нужно? Ответить на вопрос: способна ли русская нация на такой глобальный пересмотр всей своей истории, как оказались на это способны после Второй мировой войны японцы? Немцы? Хватит ли у нас интеллектуального мужества? Об этом молчат. Говорят о рынке, о ваучерах, чеках... Мы в очередной раз выживаем, вся энергия уходит на это. А душа брошена... Человек опять одинока... Тогда зачем это все? Ваша книга? Мои бессонные ночи? Если жизнь наша, как чирк спичкой? Здесь может быть несколько ответов. Примитивный фатализм. И могут быть великие ответы. Русский человек всегда хочет во что-нибудь верить: в железную дорогу, в лягушку (тургеневский Базаров), в византийство, в атом... А теперь вот — в рынок...

Булгаков в “Кабале святош”: “Всю жизнь грешила. Актрисой была”. Сознание греховности искусства. Безнравственности его природы. Заглядывание в чужую жизнь. Но

оно, как сыворотка зараженного, может стать прививкой чужого опыта. Чернобыль — это тема Достоевского. Попытка оправдания человека. А, может быть, все очень просто: войти в мир на цыпочках и остановиться у порога?!

Удивиться этому божественному миру... И так жить...”

Александр Ревальский, историк

*Монолог о том, как маленькая жизнь
беззащитна в великое время*

“Не спрашивайте... Не буду... Не буду об этом... *(Отрешенно молчит)*.

Нет, я могу с вами поговорить, чтобы понять... Если вы поможете... Только не надо меня жалеть, не надо утешать. Прошу вас!! Не надо! Не... Без смысла так страдать нельзя, столько передумать нельзя. Невозможно! Невозможно!! *(Срывается на крик)*. Мы опять в резервации, опять живем в лагере... В чернобыльском лагере... Кричат на митингах, несут лозунги. В газетах пишут... Чернобыль развалил империю, он излечил нас от коммунизма... От подвигов, похожих на самоубийство... От страшных идей... Я уже понимаю... Подвиг — это слово, которое придумало государство... Для таких, как я... Но у меня ничего больше нет, ничего другого, я выросла среди таких слов и таких людей. Все исчезло, эта жизнь исчезла. За что удержаться? Чем спастись? Без смысла так страдать нельзя. *(Молчит)*. Одно я знаю, что никогда уже не буду счастливой...

Он приехал оттуда... Несколько лет жил, как в бреду... Рассказывал и рассказывал. Я запоминала...

Посреди деревни — красная лужа. Гуси и утки ее обходят.

Мальчишки-солдаты, разутые-раздетые. Лежат в траве. Загорают. “Вставайте, черти, а то — погибнете!” Они: га-га!

Из деревень многие уезжали на своих машинах. Машины заражённые. Команда: “Выгружайся!”, а машину сбрасывают в специальную яму. Люди стоят, плачут. А ночью её тайно выкапывают...

“Нина, как хорошо, что у нас с тобой двое детей...”

Врачи мне сказали: сердце увеличено в полтора раза, почки увеличены в полтора раза, печень увеличена в полтора раза.

Однажды ночью спросил: “Ты не боишься меня?” Он стал уже бояться близости.

Сама я не расспрашивала. Понимала его, душой слушала... Я хотела у вас спросить... Я хотела сказать... Часто кажется... Мне в другой раз так не могу, что я знать этого не хочу. Ненавижу вспоминать! Ненавижу! *(Снова срывается на крик)*. Когда-то... Когда-то я завидовала героям. Тем, кто участвовал в великих событиях, был на переломе. На перевале. Так мы тогда говорили, так пели. Песни красивые были. *(Запевает)*. “Орленок... Орленок...” Теперь и слова забыла... Лети выше крыльев... Кажется, так? Какие! Какие красивые были слова у наших песен. Я мечтала! Жалела, что не родилась в семнадцатом или сорок первом... А теперь думаю по-другому: я не хочу жить историей, в историческое время. Моя маленькая жизнь сразу тогда беззащитная. Великие события растаптывают ее, не заметив. Не остановившись... *(Задумывается)*. После нас останется только история... Чернобыль останется... А где моя жизнь? Моя любовь?

Рассказывал и рассказывал. Я запоминала...

Голуби, воробьи... Аисты... Аист бежит-бежит по полю, хочет взлететь, а взлететь не может. А воробей по земле прыгает-прыгает, но не поднимается, выше забора не поднимается.

Люди ушли, в домах остались жить их фотографии...

Едут по брошенной деревне и видят картину — как в сказке: сидят на крыльце старик со старухой, а вокруг них бегают ежики. И их так много, как цыплят. Без людей в деревне тихо, будто в лесу, ежики перестали бояться, приходят и просят молока. И лисы, рассказывали им, прибегают, и лоси. Кто-то из ребят не выдержал: “Я же — охотник!” “Что ты! Что ты!! — Замахали руками старики. — Зверей трогать нельзя! Мы с ними породнились. Теперь — одна семья.”

Он знал, что умрет... Умирает... И дал себе слово — жить только дружбой и любовью. Работала я в двух местах, его пенсии нам не хватало, но он попросил: “Давай продадим машину, она не новая, все равно что-то же за нее нам дадут. Побудь дома. Я больше посмотрю на тебя”. Звал друзей... Приезжали жили подолгу у нас его родители... Что-то он понял... Что-то он там понял о жизни, чего раньше не понимал. Слова у него уже были другие...

“Нина, как хорошо, что у нас с тобой двое детей. Девочка и мальчик...”

Задам вопрос:

— Ты думал о нас с детьми? О чем ты там думал?

— Я видел мальчика, он родился через два месяца после взрыва. Дали имя — Антон. А все звали Атомчик.

— Ты думал...

— Там всех жалко. Даже мошку жалко и воробья. Пусть все живут. Пусть мухи летают, осы жалят, тараканы ползают...

— Ты...

— Дети рисуют Чернобыль... Деревья на картинах растут вверх корнями. Вода в реках красная или желтая. Нарисуют и сами плачут.

А его друг... Его друг, он мне рассказывал, что там было безумно интересно, весело. Стихи читали, пели под гитару. Туда приехали лучшие инженеры, ученые. Московская и ленинградская элита. Философствовали... Пугачева перед ними выступала... В поле... “Если вы не уснете, я буду петь вам, мальчики, до утра.” Она называла их героями... Его друг... Он умер первый... Танцевал на свадьбе у дочери, анекдотами всех смешил. Взял бокал, чтобы сказать тост, и упал... И... Наши мужчины... Они умирают, как на войне, но среди мирной жизни. Не хочу! Не хочу вспоминать... *(Закрывает глаза и тихо качается)*. Не хочу говорить... Он умер и было так страшно, такой черный лес...

“Нина, как хорошо, что у нас с тобой двое детей. Девочка и мальчик. Они останутся...”

(Продолжает).

Что я хочу понять? Сама не знаю... *(Незаметно улыбнулась)*. Его друг сделал мне предложение... Еще когда мы учились, в студенчестве он за мной ухаживал, потом женился на моей подруге, но скоро развелся. Что-то у них не получилось. Он пришел с букетом цветов: “Будешь жить королевой”. У него магазин, у него шикарная квартира в городе, у него дом за городом. Я отказала... Он обиделся: “Пять лет прошло... Никак героя своего не забудешь!? Ха-ха... Живешь с памятником...” *(Срывается на крик)*. Выгнала! Выгнала!! “Дура! Живи на свою учительскую зарплату, на свои сто долларов”. Живу... *(Успокоившись)*. Чернобыль наполнил мою жизнь, и моя душа расширилась... Ей больно... Заветный ключик... Начинаешь после боли говорить, хорошо говоришь. Я так говорила... Таким языком только тогда, когда любила. И сейчас... Если бы я не верила, что он на небе, как бы я это пережила?

Он рассказывал... Я запоминала... (*Говорит, как в забыты.*)
Тучи пыли... Трактора в поле. Женщины с вилами. Дозиметр щелкает...
Людей нет, и время движется иначе... День длинный-длинный, как в детстве...
Листья нельзя было жечь... Листья хоронили...
Без смысла так страдать нельзя. (*Плачет*). Без знакомых красивых слов. Даже без медали, которую ему дали. Лежит дома в шкафу... Оставил нам....
Но одно я знаю, что никогда уже не буду счастливой...”

*Нина Прохоровна Литвина,
жена ликвидатора*

Монолог о физике, в которую все мы были когда-то влюблены

“Я тот человек, который вам нужен... Вы не ошиблись...”

С юности я имел привычку все записывать. Например, когда Сталин умер — что происходило на улицах, о чем сообщали в газетах. И Чернобыль я записывал с первого дня, знал, что пройдет время и многое забудется, безвозвратно исчезнет. Так это и случилось. Мои друзья, они были в центре событий, физики-ядерщики, забыли, что тогда чувствовали, о чем говорили со мной. А у меня все записано...

В тот день... Я, заведующий лабораторией Института ядерной энергетики Академии наук Беларуси, приехал на работу, институт наш за городом, в лесу. Чудесная погода! Весна. Открыл окно. Воздух чист, свеж. Удивился: почему-то сегодня не залетают синички, которых я прикормил за зиму, вывешивая за окном кусочки колбасы. Нашли поживу повкуснее?

А в это время на нашем институтском реакторе паника: дозиметрические приборы показывали рост активности, на воздухоочистительных фильтрах она поднялась в двести раз. Мощность дозы возле проходной — около трех миллирентген в час. Это очень серьезно. Такая мощность допускается как предельная в радиационно опасных помещениях при работе не более шести часов. Первое предположение — в активной зоне разгерметизировалась оболочка одного из тепловыделяющих элементов. Проверили — норма. А, может, перевозили контейнер из радиохимической лаборатории и так тряхнули по дороге, что повредили внутреннюю оболочку, загрязнили территорию? Попробуй теперь отмой пятно на асфальте! Что же случилось? А тут еще по внутреннему радио объявили: сотрудникам не рекомендуется выходить из здания. Между корпусами стало пустынно. Ни одного человека. Жутковато. Необычно.

Дозиметристы проверили мой кабинет: “светит” стол, “светит” одежда, стены... Я встаю, у меня нет желания даже садиться на стул. Вымыл голову над раковиной. Посмотрел на дозиметр — эффект налицо. Неужели это все-таки у нас, ЧП в нашем институте! Утечка? Как теперь дезактивировать автобусы, которые развозят нас по городу? Сотрудников? Придется поломать голову... Я очень гордился нашим реактором, я изучил его до миллиметра...

Звоним на Игналинскую атомную, она рядом. У них приборы тоже орут. Тоже паника. Звоним на Чернобыль... На станции не отвечает ни один телефон... К обеду выясняется. Над всем Минском радиоактивное облако. Мы определили — активность йодная. Авария на каком-то реакторе...

Первая реакция: позвонить домой жене, предупредить. Но все наши телефоны в институте прослушивают. О, этот вечный, десятилетиями вдалбливаемый страх! Но они же там ничего не знают... Дочь после занятий в консерватории гуляет с подружками по

городу. Ест мороженое. Позвонить?! Но могут быть неприятности. Не допустят к секретным работам... Все равно не выдерживаю, поднимаю трубку:

— Слушай меня внимательно.

— О чем ты? — Громко переспросила жена.

— Тише. Закрой форточки, все продукты — в полиэтиленовые пакеты. Надень резиновые перчатки и протри мокрой тряпкой все, что можно. Тряпку — тоже в пакет и спрячь подальше. Сохнувшее на балконе белье — опять в стирку. Хлеб не покупай. И ни в коем случае никаких пирожных на улице...

— Что у вас произошло?

— Тише. Разведи две капли йода в стакане воды. Вымой голову...

— Что... — Но я не даю жене договорить, кладу трубку. Она должна понять, сама работник нашего института. А если гэбист слушал, то, наверное, записывал на бумажку для себя и своей семьи спасительные рекомендации.

В пятнадцать часов тридцать минут выяснили — авария на чернобыльском реакторе...

Вечером возвращаемся в Минск на служебном автобусе. Полчаса, которые едем, молчим или переговариваемся о постороннем. Боимся заговорить вслух друг с другом о том, что случилось. У каждого — партбилет в кармане...

Перед дверью квартиры лежала мокрая тряпка. Значит, жена все поняла. Захожу, в прихожей сбрасываю с себя костюм, рубашку, раздеваюсь до трусов. Неожиданно подступает ярость... К черту эту секретность! Этот страх! Беру городской телефонный справочник... Телефонные книжки дочери, жены... Начинаю всем подряд звонить, что я, сотрудник Института ядерной энергетики, над Минском радиоактивное облако... И дальше перечисляю, что надо предпринимать: вымыть голову хозяйственным мылом, закрыть форточки... Протирать каждые три-четыре часа мокрой тряпкой пол. Белье с балкона — опять в стирку... Выпить йод. Как его правильно принимать... Реакция людей: спасибо. Ни расспросов, ни испуга. Я думаю, что они мне не верили или не в силах были охватить грандиозность события. Никто не испугался. Реакция удивительная. Поразительная!

Вечером звонит мой друг. Физик-ядерщик, доктор наук... Как беспечно! С какой верой мы жили! Только теперь это понимаешь... Он звонит и говорит между прочим, что хочет поехать на майские праздники к родителям жены на Гомельщину. Оттуда же рукой подать до Чернобыля? Едет с маленькими детьми. “Замечательное решение! — Закричал я. — Ты с ума сошел!” Это о профессионализме. И о нашей вере. Я орал. Он, наверное, не помнит, что я спас его детей... *(После передышки.)*

Мы... Я говорю о всех нас... Мы Чернобыль не забыли, мы его не поняли. Что дикари могли понять в молнии?

В книге эссе Алеся Адамовича... Его разговор с Андреем Сахаровым об атомной бомбе... “А вы знаете, как хорошо пахнет озоном после ядерного взрыва?” — убеждал академик, “отец” водородной бомбы. В этих словах романтика. Моя... Моего поколения... Извините, по лицу вижу реакцию... Вам кажется это восторгом перед вселенским кошмаром... А не перед человеческим гением... Но это нынче ядерная энергетика унижена, опозорена. Мое поколение... В сорок пятом, когда взорвали атомную бомбу, мне было семнадцать лет. Я любил фантастику, мечтал полететь на другие планеты, верил, что ядерная энергия поднимет нас в космос. Поступил в Московский энергетический институт и там узнал, что есть сверхсекретный факультет — физико-энергетический. Пятидесятые—шестидесятые годы... Физики-ядерщики... Элита... Все в восторге перед будущим... Гуманитарии оттеснены... В трех копейках, говорил наш школьный учитель, столько энергии, что может работать электростанция. Дух захватывало! Я зачитывался американцем Смиттом, он писал, как изобрели атомную бомбу, проводили испытания,

подробности взрыва. У нас все держалось в секрете. Я читал... Воображал... Вышел фильм о советских атомщиках “Девять дней одного года”. Был он очень популярен. Высокие зарплаты, секретность прибавляли романтизма. Культ физики! Время физики! Даже когда уже в Чернобыле рвануло... Как медленно мы расставались с этим культом... Вызвали ученых... Они прилетели на реактор спецрейсом, но многие даже не взяли с собой бритвенные приборы, думали, что летят на несколько часов. Всего на несколько часов. Хотя им сообщили, что на атомной станции взрыв. Но они верили в свою физику, они все были из поколения этой веры. Время физики в Чернобыле кончилось...

Вы уже иначе смотрите на мир... У моего любимого философа Константина Леонтьева недавно вычитал мысль о том, что результаты физико-химического разврата заставят когда-нибудь космический разум вмешаться в наши земные дела. А мы, воспитанные в сталинские времена, мы не могли в своих мыслях допустить существования каких-то сверхъестественных сил. Параллельных миров... Библию я прочел потом... И женился на одной и той же женщине два раза. Ушел и вернулся. Еще раз встретились... Кто мне объяснит это чудо? Жизнь удивительная штука! Загадочная! Теперь я верю... Во что я верю? Что трехмерный мир уже тесен для современного человека... Почему сегодня такой интерес к иной реальности? К новым знаниям... Человек отрывается от земли... Он орудует другими категориями времени, не одной землей, а разными мирами. Апокалипсис... Ядерная зима... В западном искусстве все это уже описали... Нарисовали... Сняли... Они готовились к будущему... Взрыв большого количества ядерного оружия приведет к громадным пожарам. Атмосфера насытится дымом. Солнечные лучи не смогут пробиваться к земле, а там цепная реакция пошла — холодно, холоднее, холоднее. Эту мирскую версию о “конце света” внедряют со времен промышленной революции восемнадцатого века. Но атомные бомбы не исчезнут даже тогда, когда уничтожат последнюю боеголовку. Останутся знания...

Вы молчите... А я с вами все время спорю... У нас спор между поколениями... Вы замечаете? История атома — это не только военный секрет, тайна, проклятие. Это — наша молодость, наше время... Наша религия... Но теперь? Теперь мне тоже кажется, что миром правит кто-то другой, что мы со своими пушками и космическими кораблями — как дети. Но я в этом еще не утвердился... Не тверд... Удивительная штука жизнь! Я любил физику и думал: ничем, кроме физики, заниматься никогда не буду, а теперь хочу писать. К примеру, о том, что науку человек не устраивает, теплый человек, он ей мешает. Маленький человек со своими маленькими проблемами. Или: как несколько физиков могут переменить весь мир. О новой диктатуре. Диктатуре физики и математики... Мне открылась еще одна жизнь...

...Перед операцией... Я уже знал, что у меня рак... Я думал, что мне осталось жить дни, считанные дни, и страшно не хотелось умирать. Вдруг я увидел каждый листок, яркие цветы, яркое небо, ярчайше-серый асфальт, трещины на нем, а в них муравьи снуют. Нет, думаю, их надо обходить. Жалко их. Зачем, чтобы они умирали? От запаха леса у меня кружилась голова... Запах воспринимался сильнее цвета. Легкие березы... Тяжелые ели... И все это я не увижу? На секунду, на минуту больше прожить! Зачем я столько времени, часов, дней просидел у телевизора, среди вороха газет? Главное — жизнь и смерть. Ничего другого не существует. Не бросишь на чашу весов...

Я понял, что смысл имеет только живое время... Наше живое время...”

*Валентин Алексеевич Борисевич, бывший
заведующий лабораторией Института ядерной
энергетики академии наук Беларуси*

*Монолог о том, что дальше Колымы,
Освенцима и Холокоста*

“Мне надо кому-то высказаться... Чувства переполняют меня...

В первые дни... Ощущения были смешанные... Помню два самых сильных чувства — чувство страха и чувство обиды. Все произошло и никакой информации: власть молчит, медики ничего не говорят. Никаких ответов. В районе ждали указаний из области, в области — из Минска, а в Минске — из Москвы. Длинная-длинная цепочка... А на самом деле мы оказались беззащитными. Вот это было самое главное чувство в те дни. Где-то далеко... Горбачев... И еще несколько человек... Два-три человека решали нашу судьбу. Решали за всех. Судьбу миллионов людей. Так же, как и всего несколько человек могли нас убить... Не маньяки и не преступники с террористическим планом в голове, а обычные дежурные операторы на атомной станции. Наверное, неплохие ребята. Когда я это поняла, я испытала сильное потрясение. Я открыла для себя что-то такое... Я поняла, что Чернобыль дальше Колымы и Освенцима... И Холокоста... Ясно ли я выражаюсь? Человек с топором и луком или человек с гранатометом и газовыми камерами не мог убить всех. Но — человек с атомом... Тут... Вся земля в опасности...

Я — не философ, не стану философствовать. Поделюсь тем, что помню...

Паника первых дней: кто-то рванул в аптеки и закупил йода, кто-то перестал ходить на рынок, покупать там молоко, мясо, особенно говядину. В нашей семье в это время старались не экономить, брали дорогую колбасу, надеясь, что она из хорошего мяса. Но скоро узнали, что именно в дорогую колбасу подмешивали зараженное мясо, дескать, раз она дорогая, ее покупают понемногу, употребляют меньше. Мы оказались беззащитными. Но это все уже вам, конечно, известно. Хочу рассказать о другом. О том, что мы были генерацией советской.

Мои друзья — врачи, учителя. Местная интеллигенция. У нас был свой кружок. Собрались у меня дома. Пьем кофе. Сидят две закадычные подруги, одна из них врач. У обеих маленькие дети.

Первая:

— Завтра еду к родителям. Увезу детей. Вдруг заболеют, потом никогда себе не прощу.

Вторая:

— В газетах пишут, что через несколько дней обстановка станет нормальной. Там — наши войска. Вертолеты, бронетехника. По радио сообщали...

Первая:

— Тебе тоже советую: забери детей! Увези! Спрячь! Случилось... Что-то страшнее войны... Мы даже не можем себе представить — что?

Неожиданно они перешли на высокие тона и кончилось ссорой. Взаимными обвинениями:

— Где твой материнский инстинкт? Фанатичка!

— Ты — предательница! Что бы с нами было, если бы каждый поступал так, как ты? Победили бы мы в войну?

Спорили две молодые красивые женщины, безумно любящие своих детей. Что-то повторялось... Знакомая партитура...

И у всех, кто там был, мое, в частности, ощущение: она вносит тревогу. Лишает нас равновесия. Доверия ко всему тому, чему мы привыкли доверять. Надо дожидаться, пока скажут. Объявят. Она — врач, знала больше: “Собственных детей не способны защитить! Вам никто не угрожает? А вы все равно боитесь!”

Как мы ее в те минуты презирали, даже ненавидели, она испортила нам вечер. Я ясно выражаюсь? Не только власти обманывали нас, но мы сами не хотели знать правду. Где-то там... На глубине подсознания... Конечно, сейчас мы не хотим в этом себе признаться, нам больше нравится ругать Горбачева... Ругать коммунистов... Это они виноваты, а мы — хорошие. Мы — жертвы.

На следующий день она уехала, а мы нарядили своих детей и повели на первомайскую демонстрацию. Могли идти, а могли и не идти. У нас был выбор. Нас никто не заставлял, не требовал. Но мы посчитали это своим долгом. Как же! В такое время, в такой день... Все должны быть вместе... Бежали на улицу, в толпу...

На трибуне стояли все секретари райкома партии, рядом с первым секретарем — его маленькая дочка, она стояла так, чтобы ее видели. На ней — плащ и шапочка, хотя светило солнце, а на нем — военная плащ-палатка. Но они стояли... Это я помню... “Загрязнена” не только наша земля, но и наше сознание. И тоже на много лет.

Я изменилась за эти годы больше, чем за всю свою прежнюю жизнь — сорок лет. Мы в зоне заперты... Отселение прекратилось. И мы живем как в ГУЛАГЕ... Чернобыльском ГУЛАГЕ... Я работаю в детской библиотеке. Дети ждут разговора: Чернобыль везде, он вокруг, у нас выбора нет — надо научиться с ним жить. Особенно старшекласники, у них вопросы. А как? Где об этом узнать? Прочесть? Нет книг. Фильмов. Даже сказок нет. И мифов. Я учу любовью, я хочу победить страх любовью. Стою перед детьми: люблю нашу деревню, люблю нашу речку, наши леса... Самые-самые... Самые! Лучше их для меня нет. Я не обманываю. Я учу любовью. Ясно ли я выражаюсь?

Мне мешает учительский опыт... Я всегда говорю и пишу немного выпренно, с немодным сегодня пафосом. Но я отвечаю на ваш вопрос: почему мы бессильны? Я бессильна... Есть культура до Чернобыля и нет культуры после Чернобыля. Живем среди идей войны, краха социализма и неопределенного будущего. Нехватка новых представлений, целей, мыслей. Где наши писатели, философы? Я уже не говорю о том, что наша интеллигенция, больше всех ждавшая и подготавливавшая свободу, сегодня отброшена в сторону. Нищая и униженная. Мы оказались не востребованы. Не нужны. Я не могу купить даже необходимых книг, а книги — моя жизнь. Мне... Нам... Как никогда нужны новые книги, потому что вокруг новая жизнь. Но мы в ней чужие. Не в силах с этим смириться. Все время во мне вопрос — почему? Кто будет делать нашу работу? Телевизор детей не научит, учить детей должен учитель. Но это — отдельная тема...

Я вспомнила... Ради правды тех дней и наших чувств. Чтобы не забыть, как менялись мы... И наша жизнь...”

*Людмила Дмитриевна Полянская,
сельская учительница*

*Монолог о свободе и мечте об
обыкновенной смерти*

“Это была свобода... Там я чувствовал себя свободным человеком...

Вы удивлены? Я вижу... Вы удивлены... Понять это может только тот, кто был на войне. Они выпьют, воевавшие мужики, и вспоминают, я их слушал, до сих пор тоскуют. По той свободе, по тому взлету. Ни шагу назад! — сталинский приказ. Заградотряды. Ясное дело... Уже история... Но ты стреляешь, выживаешь, получаешь положенные сто грамм, махорку... Тысячу раз можешь умереть, разлететься на куски, но если постараться, перехитришь, — черта, дьявола, старшину, комбата, того, кто в чужой каске и с чужим штыком, заговоришь самого Всевышнего, — ты можешь выжить! Я был

на реакторе... Там как в окопе на переднем крае. Страх и свобода! Живешь на полную катушку... В обычной жизни этого не понять. Не проникнуться. Помните, нас все время готовили: будет война. А сознание оказалось не готовым. Я был не готов... В тот день... Собирались пойти вместе с женой вечером в кино... Пришли на завод двое военных. Вызвали меня: “Солярку от бензина отличишь?” Спрашиваю: “Куда пошлете?” — “Куда-куда? Добровольцем в Чернобыль”. Моя военная профессия — специалист по ракетному топливу. Секретная специальность. Забрали прямо с завода, в одной майке и футболке, домой не дали заскочить. Просил: “Жену надо предупредить”. — “Мы сами сообщим”. В автобусе нас собралось человек пятнадцать, офицеры запаса. Мужики мне понравились. Надо — поехали, надо — работаем... Погнали на реактор — лезли на крышу реактора...

Возле выселенных деревень стояли вышки, солдаты на вышках с оружием. Оружие с патронами. Шлагбаумы. Таблички: “Обочина заражена. Въезд и остановка строго запрещены”. Серо-белые деревья, облитые дезактивационной жидкостью. Белой. Как снег. Мозги сразу набекрень! В первые дни боялись сесть на землю, на траву, не ходили, а бегали, чуть машина пройдет — натягивали респираторы. После смены сидели в палатках. Ха-ха! Через пару месяцев... Это уже что-то нормальное, — это уже твоя жизнь. Рвали сливы, бреднем рыбу ловили, там щуки ого-го! И лещи. Лещей сушили к пиву. Вы об этом уже, наверное, слышали? В футбол играли. Купались! Ха-ха... *(Снова смеется.)* Верили в судьбу, в глубине души мы все фаталисты, а не аптекари. Не рационалисты. Менталитет славянский... Я верил в свою звезду! Ха-ха! Инвалид второй группы... Заболел сразу. “Лучевка” проклятая... Ясное дело... А у меня даже медицинской карточки в поликлинике не было до этого. Черт с ним! Не я один... Менталитет...

Я — солдат, я закрывал чужой дом, входил в чужое жилье. Это такое чувство... Ты словно подглядываешь за кем-то... Или земля, на которой нельзя сеять... Корова тычется в калитку, а она закрыта и на доме замок. Молоко капает на землю... Это такое чувство! В деревнях, которые еще не выселили, крестьяне занимались самогонварением, их заработок. Продавали нам. А у нас денег завались: тройные оклады на работе и суточные выдавали тройные. Потом вышел приказ: того, кто будет пить, оставят на второй срок. Так водка помогает или нет? Ну, хотя бы психологически... Там в этот рецепт свято верили... Ясное дело... Крестьянская жизнь текла просто: что-то посадил, вырастил, убрал, а все остальное идет без них. Им дела нет до царя, до власти... Первый секретарь цеха или президент... До космических кораблей и атомных станций, митингов в столице. И они не могли поверить, что мир в один день перевернулся, и они живут уже в другом мире... Чернобыльском... Они же никуда не уезжали. Люди заболели от потрясения... Они не смирились, они хотели жить, как всегда. Дрова с собой забирали тайком, зеленые помидоры срывали, закручивали. Банки взрывались, еще раз кипятили. Как это уничтожить, закопать, превратить в мусор? А мы именно этим и занимались. Аннулировали их труд, извечный смысл их жизни. Мы для них были враги... А я рвался на сам реактор. “Не торопись, — предупреждали меня, — в последний месяц, перед дембелем всех на крышу гонят”. Служили мы шесть месяцев. И точно, через пять месяцев передислокация, теперь уже под реактор. Шуточки разные и серьезные разговоры, что вот через крышу пройдем... Ну, пусть пять лет после этого протянем... Семь... Десять... Ясное дело... Чаще называлась цифра “пять” почему-то. Откуда она взялась? Без шума, без паники. “Добровольцы, шаг вперед!” Вся рота — шаг вперед. Перед командиром — монитор, включает — на экране крыша реактора: куски графита, расплавленный битум. “Вон, ребята, видите, обломки лежат. Почистите. А вот тут, в этом квадрате, тут пробьете отверстие”. Время — сорок—пятьдесят секунд. По инструкции. Но это невозможно — требовалось хотя бы несколько минут. Туда — назад, забег — бросок. Кто-то нагнул носилки, другие сбросили. Туда, в развалины, в дыру. Сбросил, но вниз не смотри, нельзя.

Все равно заглядывали. Газеты писали: “Воздух над реактором чистый”. Читали и смеялись. Матюгались. Воздух чистый, а мы дозы вон какие хватаем. Выдали дозиметры. Один — на пять рентген, его с первой минуты зашкаливало, второй, как авторучка, на сотню рентген, тоже в некоторых местах зашкаливало. Пять лет, сказали, детей нельзя будет иметь... Если за пять лет не умрем... Ха-ха!.. (Смеется.) Шуточки разные... Но без шума, без паники. Пять лет... Я уже десять прожил... Ха-ха!.. (Смеется.) Вручали нам грамоты. Их у меня две... Со всеми этими картинками: Маркс, Энгельс, Ленин... Красные флаги... Один парень исчез, думали, что сбежал. Через два дня нашли в кустах. Повесился. Чувство у всех такое, сами понимаете... Тогда выступил замполит, что, мол, он письмо из дому получил — жена ему изменила. Кто его знает? Через неделю у нас дембель. А его нашли в кустах... Был у нас повар, он так боялся, что жил не в палатке, а на складе, где вырыл себе нишу под ящиками с маслом и тушенкой. Перенес туда матрац, подушку... Жил под землей... Присылают разнарядку: набрать новую команду и всех на крышу. А все уже там были. Найти людей! Ну, и его зачистили. Один только раз залез... Вторая группа инвалидности... Звонит часто мне. Связи не теряем, держимся друг за друга... За свою память, она будет жить столько, сколько мы проживем. Так и напишите...

В газетах вранье... Сплошное вранье... Нигде не читал, как шили мы себе кольчуги. Рубашки свинцовые. Трусики. Нам выдавали резиновые халаты, напыленные свинцом. Но плавочки варганили себе свинцовые... За этим делом следили... Ясное дело... В одной деревне нам показали два тайных дома свидания... Мужчины, оторванные от дома, шесть месяцев без женщин, экстремальная ситуация. Все наезжали. А девчонки местные гуляли, все равно, плакали, скоро умрем. Плавочки свинцовые... Одевались поверх штанов... Напишите... Анекдоты травили. Вот, пожалуйста. Американский робот отправили на крышу, пять минут поработал — стоп. Японский робот девять минут поработал — стоп. Русский робот два часа работает. Команда по радиации: “Рядовой Иванов, можете спуститься вниз на перекур”. Ха-ха!.. (Смеется.)

Перед тем, как нам выходить на реактор, командир инструктирует... Строй стоит... Несколько ребят взбунтовались: “Мы уже там были, нас домой должны отправить”. Мое, например, дело — топливо, бензин, а меня тоже на крышу посылали. Но я молчал. Я сам хотел, мне было интересно. А эти взбунтовались. Командир: “У нас на крышу пойдут добровольцы, остальные шаг из строя, с вами проведет беседу прокурор”. Ну, эти ребята постояли, посоветовались и согласились. Присягу принимал, значит, должен, знамя целовал... На колено перед знаменем становился... Мне, кажется, никто из нас не сомневался, что могут посадить и дать срок. Слух пустили, что два—три года дают. Если солдат получал больше двадцати пяти рентген, то командира могли посадить за то, что облучил личный состав. Ни у кого больше двадцати пяти рентген... У всех меньше... Понимаете? Но люди мне нравились. Двое заболели, нашелся один, сам сказал: “Давайте я”. А он уже один раз на крыше был в этот день. Зауважали. Премия — пятьсот рублей. Другой яму наверху долбил, пора уходить — долбит. Мы ему машем: “Вниз!” А он на колени упал и добивает. Крышу надо было пробить в этом месте, чтобы желоб вставить, мусор спускать. Пока не пробил — не встал. Премия — тысяча рублей. За эти деньги тогда можно было купить два мотоцикла. У него сейчас первая группа инвалидности... Ясное дело... Но за страх платили сразу... И вот он умирает... Сейчас умирает... Страшно мучается... В эти выходные ездил к нему... “Спроси, о чем я мечтаю?” — “О чем?” — “Об обыкновенной смерти.”. Ему сорок лет. Женщин любил... Жена красивая...

Дембель. Погрузились в машины. Сколько ехали по зоне, столько сигналили. Я оглядываюсь на те дни... Я был рядом с чем-то... С чем-то фантастическим. А вот эти слова: “гигантский”, “фантастический”, — они всего не передают. Было такое чувство... Какое? (Задумался).

Такое чувство я не испытывал даже в любви...”

Александр Кудрягин, ликвидатор

Монолог об уродце, которого все равно будут любить

Не стесняйтесь... Спрашивайте... О нас уже столько написали, мы привыкли. В другой раз и газету с автографом пришлю. Но я не читаю. Кто нас поймет. Тут надо жить...

Моя дочка недавно сказала: “Мама, если я рожу уродца, я все равно буду его любить”. Вообразите себе?! Она учится в десятом классе, у нее уже такие мысли. Ее подружки... Они все об этом думают... У наших знакомых родился мальчик... Ждали его, первый ребенок. Красивая молодая пара. А у мальчика рот до ушей, а ушка одного нет... Я не хожу к ним, как раньше. Не в силах... А дочка нет-нет, да и забежит. Ее тянет туда, она то ли приглядывается, то ли примеряется... А я не способна...

Могли бы уехать отсюда, но поразмыслили с мужем и отказались. Боимся других людей. А тут мы все — чернобыльцы. Не пугаемся друг друга, если кто-то угощает яблоками или огурцами со своего сада и огорода, берем их и едим, а не прячем стыдливо в карман, сумочку, чтобы потом выбросить. Мы — с одной памятью... С одинаковой судьбой... А везде, в любом другом месте мы — чужие. Косятся на нас... с опаскою... Все привыкли к словам: “чернобыльцы”, “чернобыльские дети”, “чернобыльские переселенцы”... Чернобыль... Теперь приставка ко всей нашей жизни. Но вы ничего о нас не знаете. Вы боитесь нас... Убегаете... Наверное, если бы нас не выпускали отсюда, поставили милицейские кордоны, многие бы из вас успокоились. (*Останавливается.*) Не доказывайте мне ничего.... Не убеждайте! Я это узнала и пережила в первые дни... Схватила дочку и ринулась в Минск, к сестре... Моя родная сестра нас не пустила в дом, потому что у нее был маленький ребенок, кормила грудью. В страшном сне я такого бы себе не представила! Не сочинила. И мы ночевали на вокзале. Сумасшедшие мысли приходили в голову... Куда нам бежать? Может, лучше покончить с собой, чтобы не мучиться... Это же первые дни... Все представляли себе какие-то страшные болезни. Невообразимые. А я ведь врач. Можно только догадываться, что творилось с другими... Слухи всегда ужаснее любой правдивой информации. Любой! Я смотрю на наших детей: куда бы они не поехали, они чувствуют себя отверженными. Живыми страшилками... Мишенями для насмешек... В пионерском лагере, где моя дочь один год отдыхала, к ней боялись прикоснуться: “Чернобыльский светлячок. Она в темноте светится” Звали вечером во двор, чтобы проверить, — светится или не светится? Нет ли у неё нимба над головой...

Вот говорят — война... Военное поколение... Сравнивают... Военное поколение? Да оно же счастливое! У них была Победа. Они победили! Это дало им мощную энергию жизни, если пользоваться сегодняшними словами, сильнейшую установку на выживание. Они ничего не боялись. Хотели жить, учиться, рожать детей. А мы? Мы всего боимся... Боимся за детей... За внуков, которых еще нет... Их нет, а нам уже страшно... Люди меньше улыбаются, не поют, как раньше пели на праздники. Не только ландшафт меняется, когда вместо полей опять поднимаются леса, кустарники, но и национальный характер. У всех депрессия... Чувство обреченности... Для кого-то Чернобыль — метафора. Лозунг. А здесь — наша жизнь. Просто жизнь.

В другой раз думаю, что лучше бы вы о нас не писали. Не наблюдали бы со стороны... Не ставили диагнозы: радиофобия или что-то еще, не выделяли среди остальных. Тогда бы нас меньше боялись. Не говорят же в доме ракового больного о его

страшной болезни. А в камере пожизненного заключения никто не вспоминает о сроке... (Молчит). Столько наговорила, не знаю, надо вам или нет... (Спрашивает). Накрыть стол... Пообедаем? Или боитесь? Отвечайте честно, мы уже не обижаемся. Мы всего перевидели. Ко мне заходил один корреспондент... Вижу: хочет пить. Я несу ему кружку воды, а он достает из сумки свою воду. Минеральную. Ему стыдно... Оправдывается... Разговора у нас, конечно, не получилось, я не могла с ним быть искренней. Я же — не робот и не компьютер. Не железка! Он пьет свою минеральную воду, боится к моей кружке дотронуться, а я — положи ему душу на стол... Отдай ему свою душу...

(Уже сидим за столом. Обедаем. Говорим о разном. И...)

Вчера ночь проплакала... Муж вспомнил: “Ты была такая красивая”. Я знаю, о чем он... Вижу себя в зеркале... Каждое утро... Здесь люди быстро стареют, мне сорок лет, а дашь все шестьдесят. Потому девчонки и замуж торопятся. Молодость жалко, она у них короткая. (Срывается). Ну, что вы знаете о Чернобыле? Что можно записать? Простите... (Молчит).

Как записать мою душу? Если я сама ее не всегда читаю...”

*Надежда Афанасьевна Буракова,
жительница городского поселка Хойники*

*Монолог о том, что к обыденной жизни надо
нечто прибавить для того, чтобы ее понять*

“Вам нужны факты, подробности тех дней? Или моя история?”

Я там стал фотографом... До этого я никогда не занимался фотографией, а там вдруг начал снимать, со мной случайно оказался фотоаппарат. Так, думал, для себя. А теперь это — моя профессия. Я не смог освободиться от новых чувств, которые испытал, это были не краткие переживания, а целая душевная история. Я переменялся... Мир увидился другим... Мой смысл жизни... Понимаете?

(Говорит и раскладывает на столе, стульях, подоконнике фотографии: гигантский, величиной с колесо телеги, подсолнух, аистинное гнездо в пустой деревне, одинокое деревенское кладбище с табличкой у ворот: “Высокая радиация. Вход и въезд запрещен”, детская коляска во дворе дома с забитыми окнами, на ней сидит ворона, как над своим гнездом, древний клин журавлей над одичавшими полями...)

Спрашивают. “Почему не снимаешь на цветной пленке? В цвете!” Но ведь Чернобыль... Черная быль... Остальные краски не существуют... Моя история? Комментарий к этому... *(Показывает на фотографии.)* Хорошо. Попробую. Понимаете, все это есть здесь... *(Снова показывает на фотографии.)* В то время я работал на заводе, а заочно учился в университете на историческом. Слесарь второго разряда. Нас набрали группу и срочным порядком отправили. Как на фронт.

— Куда едем?

— Куда прикажут.

— Что будем делать?

— Что прикажут.

— Но мы — строители.

— Вот и будете строить. Отстраивать.

Строили подсобные помещения: прачечные, склады, навесы. Меня поставили на разгрузку цемента. Какой цемент, откуда, — никто не проверял. Загружали, выгружали. День гребешь лопатой, к вечеру одни зубы блестят. Человек из цемента. Серый. И сам, и спецовка насквозь. Вечером ее вытряхнул, понимаете, а утром снова надел. Проводили с

нами политбеседы. Герои, подвиг, на переднем крае... Военная лексика... А что такое бэр? Кюри? Что такое миллирентген? Задаем вопросы, командир объяснить не может, в военном училище его этому не учили. Мили, микро... Китайская грамота. “Зачем вам знать? Выполняйте, что прикажут. Тут вы — солдаты”. Мы — солдаты, но не зэки.

Прибыла комиссия. “Ну, — успокаивают, — у вас все нормально. Фон нормальный. Вот километра четыре отсюда, там жить нельзя, людей будут выселять. А у вас спокойно”. С ними дозиметрист, он возьми и включи ящик, который висел у него на плече, и длинным этим шестом — по нашим сапогам. И как отпрыгнет в сторону, — произвольная реакция...

Вот тут начинается самое интересное для вас, как писателя, особенно. Как долго, вы думаете, мы вспоминали об этом моменте? От силы несколько дней. Ну, не способен наш человек думать только о себе, о собственной жизни, быть замкнутой такой системой. Политики наши не способны думать о ценности жизни, но и сам человек тоже. Понимаете? Не так мы устроены. Из другого теста. Конечно, все мы там пили и притом здорово пили. К ночи трезвых не оставалось, но пили, чтобы не напиться, а поговорить. После первых двух рюмок кто-то затоскует, вспомнит о жене, о детях, о своей работе расскажет. Начальство выматерит. Но потом, после одной-двух бутылок... Разговоры только о судьбе страны и об устройстве Вселенной. Споры о Горбачеве и Лигачеве. О Сталине. Великая мы держава или нет, обгоним или не обгоним американцев? Восемьдесят шестой год... Чьи самолеты лучше, а космические корабли надежнее? Ну, Чернобыль взорвался, но наш человек первым вырвался в космос! Понимаете, до хрипоты, до утра. О том, почему у нас нет дозиметров и не дают каких-нибудь порошков на всякий случай? Нет стиральных машин, чтобы спецовки стирать каждый день, а не два раза в месяц? — это обсуждалось в последнюю очередь. Вскользь. Ну, так мы, понимаете, устроены. Черт возьми!

Водка ценилась дороже золота. Купить невозможно. В деревнях вокруг выпили все: водку, самогон, лосьон, добрались до лаков, аэрозолей... На столе — трехлитровая банка с самогоном или сетка с одеколоном “Шипр”... И разговоры-разговоры. Среди нас были учителя, инженеры... Полный интернационал: русские, белорусы, казахи, украинцы. Философские разговоры... О том, что мы — пленники материализма, а материализм ограничивает нас предметным миром. Чернобыль — выход в бесконечность. Я помню, как дискутировали о судьбах русской культуры, о ее тяге к трагическому. Без тени смерти ничего нельзя понять. Только на почве русской культуры и можно будет осмыслить катастрофу... Только она к этому готова... Жила предчувствием... Боялись бомбы, атомного гриба, а вон как обернулось... Хиросима — это страшно, но уже понятно... А тут... Знаем, как горит дом от спички или снаряда, ну, а это ни на что не похоже. Доходили слухи, что огонь неземной, даже не огонь, а свет. Мерцание. Сияние. Не синь, а голубизна. И не дым. Ученые раньше восседали на месте богов, а теперь — падшие ангелы. Демоны! Человеческая природа как была, так и осталась для них тайной. Я — русский, с Брянщины. У нас сидит, понимаете, старик на пороге, дом покосился, скоро развалится, а он философствует, мир переустраивает. Обязательно найдется свой Аристотель в любой заводской курилке. В пивбаре. А мы — под самым реактором...

К нам залетали газетные репортеры. Снимали. Сюжеты надуманные. Снимают окно оставленного дома, кладут перед ним скрипку... И называют — чернобыльская симфония. А там ничего не надо было придумывать. Хотелось оставить в памяти все: раздавленный трактором глобус в школьном дворе, почерневшее выстиранное белье, которое висит уже несколько лет на балконе, постаревшие от дождя куклы... Заброшенные братские могилы... Трава на них в рост с гипсовыми солдатами, а на гипсовых автоматах — птичьи гнезда. Двери дома выбиты, уже его обшарили мародеры, а занавески на окнах задернуты.

Люди ушли, остались жить их фотографии в хатах. Как их души. Не было ничего неважного, мелкого. Все хотелось запомнить точно и подробно: время дня, когда это увидел, цвет неба, свои ощущения. Понимаете? Человек уехал из этих мест навсегда. А что это такое? Мы — первые люди, пережившие это “навсегда”. Нельзя упустить ни одной мелочи... Лица старых крестьян, похожие на иконы... Им меньше всего было понятно то, что случилось. Они никогда не покидали свой двор, свою землю. Появлялись на свет, любили, добывали хлеб насущный в поте лица своего, продлевали род... Дожидались внуков... И прожив жизнь, смиренно покидали эту землю, уходя в нее, становясь ею. Белорусская хата! Это для нас, горожан, дом — машина для жизни. А для них — целый мир. Космос. Едешь через пустые деревни... И так хочется встретить человека... Разграбленная церковь... Мы зашли: пахло воском. Захотелось помолиться...

Я хотел все это запомнить. Я стал фотографировать... Это — моя история...

Недавно похоронил знакомого, с которым был там. Он умер от рака крови. Поминки. По славянскому обычаю выпили, закусили, понимаете. И начались разговоры, до полуночи. Сначала о нем, об ушедшем. А потом? А потом опять о судьбах страны и об устройстве Вселенной. Уйдут русские войска из Чечни или не уйдут? Начнется вторая кавказская война или она уже идет? Какие шансы у Жириновского стать президентом? Какие у Ельцина? Об английской короне и принцессе Диане. О русской монархии. О Чернобыле. Теперь уже разные догадки... Одна из них, что инопланетяне знали о катастрофе и помогли нам, другая — это был космический эксперимент, и через какое-то время начнут рождаться дети с гениальными способностями. Необычные А может, беларусы исчезнут, как некогда исчезли другие народы: скифы, хазары, сарматы, киммерийцы, хуастеки? Мы — метафизики... Живем не на земле, а в мечтах, в разговорах. В словах... К обыденной жизни нам надо нечто прибавить, чтобы ее понять. Даже рядом со смертью...

Это моя история... Я рассказал... Почему я стал фотографировать, потому что мне не хватало слов...”

Виктор Латун, фотограф

Монолог о немом солдате

“В саму зону я больше не поеду, а раньше меня тянуло. Если я буду это видеть, думать об этом, я заболею и умру... Умрут мои фантазии...”

Помните, был фильм о войне “Иди и смотри”. Я не смогла его досмотреть, я потеряла сознание. Там убивали корову. У нее зрачок на весь экран... Один зрачок... Как убивали людей, я уже не видела... Нет!! Искусство — это любовь, абсолютно в этом убеждена! Не хочу включать телевизор, читать сегодняшние газеты. Там убивают, убивают... В Чечне, Боснии... Афганистане... Теряю рассудок, у меня портится зрение. Ужас... Он стал привычным, даже банальным. И мы так изменились, что сегодняшний ужас на экране должен быть страшнее вчерашнего. Иначе уже не страшно. Мы перешли черту...

Вчера еду в троллейбусе. Сценка: мальчик не уступил место старику. Тот его увещевает:

— Будешь старый, тебе тоже не уступят.

— А я никогда старым не буду, — отвечает мальчик.

— Почему?

— Мы все скоро умрем.

Вокруг разговоры о смерти. Дети думают о смерти. Но это то, над чем в конце жизни задумываются, а не в начале.

Я вижу мир в сценках... Улица для меня — театр, дом — театр. Человек – театр. Никогда не запоминаю событие целиком. А в деталях, жестах...

Все перепуталось в моей памяти, перемешалось. То ли из кино, из газет... То ли я это где-то видела, слышала... Подсмотрела?

Вижу: бредет на заброшенной деревенской улице сумасшедшая лиса. Тихая, добрая. Как ребенок... Ластится к одичавшим котам, курам...

Тишина... Там такая тишина! Совсем другая, чем здесь... И вдруг среди этой тишины странная человеческая речь: “Гоша хороший. Гоша хороший”. Качается на старой яблоне поржавевшая клетка с открытой дверцей. Домашний попугай сам с собой разговаривает.

Начинается эвакуация... Опечатали школу, колхозную контору, сельсовет. Днем солдаты вывозят сейфы и документы. А ночью деревенские жители школу растаскивают, то, что в ней осталось. Тащат книги из библиотеки, зеркала, стулья, сантехнику, здоровенный глобус... Кто-то последний... Под утро прибежал, уже пусто. Набрал пустых пробирок в химлаборатории.

Хотя все знают — через три дня их тоже увезут. Всё останется.

Зачем я это собираю, коплю? Я никогда не поставлю спектакль о Чернобыле, как не поставила ни одного спектакля о войне. У меня никогда не будет на сцене мертвого человека. Даже мертвого зверя или птицы. В лесу подошла к сосне, что-то белое... Думала: грибы, а это мертвые воробьи грудками вверх. Там, в зоне... Я не понимаю — смерть. Я перед ней останавливаюсь, чтобы не сойти с ума. Не перейти... На другую сторону жизни... Войну надо показывать так страшно, чтобы человека вырвало. Чтобы он заболел... Это не зрелище...

В первые дни... Еще не было показано ни одного снимка, а я себе уже представляла: обвалившиеся перекрытия, разрушенные стены, дым, битые стекла. Куда-то увозят притихших детей. Вереницы машин. Взрослые плачут, а дети нет. Еще ни одной фотографии не напечатали... Наверное, если расспросить людей, другого образа ужаса у нас нет: взрыв, пожар, трупы, паника. Я это помню из детства... *(Замолкает.)* Но об этом потом... Отдельно... А тут... Произошло что-то незнакомое... Это другой страх... Его не слышно, не видно, ни запаха, ни цвета, а физически и психически мы меняемся. Меняется формула крови, меняется генетический код, меняется пейзаж... И что бы мы ни думали, ни делали... Вот я утром встаю, пью чай. Иду на репетицию к студентам... А это надо мной висит... Как знак. И как вопрос. Мне не с чем это сравнить. Из детства я помню что-то совсем непохожее...

Я видела всего лишь один хороший фильм о войне. Забыла название. Фильм о немом солдате. Он молчал весь фильм. Вез беременную немку, беременную от русского солдата. И родился ребенок, он родился в дороге, на телеге. Он его поднял на руках и держит, и ребенок писает на его автомат... Мужчина смеется... Это у него как речь, этот его смех. Он смотрит на ребенка, на свой автомат и смеется... Конец фильма.

В фильме нет русских, нет немцев. Есть чудовище — война. И есть чудо – жизнь. Но теперь, после Чернобыля, все изменилось. И это тоже. Изменился мир, он теперь не кажется вечным, каким был еще недавно. Земля как будто уменьшилась, стала маленькая. Мы лишились бессмертия, — вот что с нами случилось. Потеряно чувство вечности. А по телевизору я вижу, как каждый день убивают. Стреляют. Сегодня стреляют люди без бессмертия... Один человек убивает другого человека... После Чернобыля...

Что-то очень смутно, как бы издали... Мне было три года, когда нас с мамой вывезли в Германию... В концлагерь... Я помню все — красивое... Может быть, мое зрение так устроено. Высокая гора... Падал то ли дождь, то ли снег. Огромным черным полукругом стояли люди, у всех номера. Номера на ботинках... Так четко, ярко-желтой краской на ботинках... На спинах... Везде номера, номера... Колючая проволока. На вышке стоит

человек в каске, бегают собаки, лают громко-громко. И никакого страха. Два немца, один большой, толстый в черном, а второй маленький — в коричневом костюме. Тот, который в черном, показывает куда-то рукой... Из темного полукруга выходит черная тень и становится человеком. Немец в черном начинает его бить...А то ли дождь, то ли снег падает... Падает...

Помню высокого красивого итальянца... Он все время пел... Моя мама плакала, и другие люди плакали. А я не могла понять, почему все плачут, когда он так красиво поёт?

У меня были этюды о войне. Я пробовала. Ничего не получилось. Я никогда не поставлю спектакль о войне. Он у меня не получится.

В чернобыльскую зону мы повезли веселый спектакль “Дай воды, колодец”. Сказку. Приехали в райцентр Хотимск. Там есть сиротский дом, для детей-сирот. Их никуда не вывезли.

Антракт. Они не хлопают. Не встают. Молчат. Второе отделение. Кончился спектакль. Опять не хлопают. Не встают. Молчат.

Мои студенты в слезы. Собрались за кулисами: что с ними? Потом мы поняли: они верили во все, что происходило на сцене. Там весь спектакль ждут чуда. Обычные дети, домашние дети, понимали, что это — театр. А эти ждали чуда...

У нас, у белорусов, никогда не было вечного. Мы не имели даже вечной земли, все время ее кто-то забирал, сметал наши следы. И мы не могли жить вечным, как в Ветхом завете написано: этот породил того-то, тот того-то... Цепочка, звенья... Мы не знаем, что с этим вечным делать, мы не умеем с ним жить. Не способны его осмыслить. А оно, наконец, даровано нам. Наше вечное — это Чернобыль. Вот оно у нас появилось... И мы? Мы смеемся... Как в старой притче...Люди сочувствуют человеку, у которого сгорел дом, сарай... Все сгорело... А он в ответ: “Ну, а зато, сколько мышей ляснуло!” — и шапку весело об пол. В этом весь он — белорус! Смех сквозь слезы.

А наши боги не смеются. Наши боги — мученики. Это у древних греков были смеющиеся боги, веселые. А что, если фантазии, сновидения, анекдоты, — это тоже тексты? О том, кто мы? Но мы не умеем их читать... Я везде слышу одну мелодию... Она тянется-тянется... Не мелодия, не песня, а голошение. Это запрограммированность нашего народа на любую беду. Не уходящее ожидание беды. А счастье? Счастье — вещь временная, нечаянная. Народ говорит: “одна беда — не беда”, “от беды кием не оборонишься”, “что ни мах, то все беда по зубам”, “не до коляды, когда полна хата беды”. Кроме страдания, у нас ничего другого нет. Нет другой истории, нет другой культуры...

А мои студенты влюбляются, рожают детей. Но они у них тихие, слабые. После войны я вернулась из концлагеря... Живая! Тогда надо было только выжить, мое поколение до сих пор удивляется, что оно выжило. Я могла вместо воды есть снег, летом не вылезать из речки, нырять по сто раз. Их дети не могут есть снег. Даже самый чистый, самый белый снег... (*Уходит в себя*).

Каким я представляю спектакль? Я ведь о нем думаю... Все время думаю...

Из зоны мне привезли один сюжет... Современную сказку...

Остались в деревне — старик со старухой. Зимой старик умер. Старуха одна его хоронила. Неделю долбила ямочку на могилках. Укутала в теплый кожух, чтобы не мерз, положила на детские саночки и повезла. Всю дорогу она с ним жизнь свою вспоминала...

Зажарила последнюю курицу для поминок. По следу запаха приполз к старухе голодный щенок. И было ей с кем поговорить и поплакать...

Однажды мне даже приснился мой будущий спектакль...

Вижу: пустая деревня, цветут яблони. Цветет черемуха. Пышно. Нарядно. Цветет дикая груша на кладбище...

По заросшим улицам бегают коты с поднятыми хвостами. Никого нет. Коты занимаются любовью. Всё цветет. Красота и тишина. Вот коты выбегают на дорогу, они кого-то ждут. Наверное, они еще помнят человека...

У нас, белорусов, нет Толстого. Нет Пушкина. А есть Янка Купала... Якуб Колос... Они писали о земле... Мы люди земли, а не неба. Наша монокультура — картошка, мы её копаем, садим и все время в землю глядим. Долу! В низ! А если вскинет человек голову, то не выше аистинного гнезда. Ему это уже и высоко, это и есть для него небо. А небо, которое зовется космосом, у нас нет, в нашем сознании оно отсутствует. Тогда мы берем что-то у русской литературы... У польской... Так норвежцам нужен был Григ, а евреям Шолом-Алейхем, как центр кристаллизации, вокруг чего они смогли объединиться и осознать себя. А у нас это — Чернобыль... Что-то лепит он из нас... Творит... Теперь мы стали народом... Чернобыльским народом. А не дорогой — из России в Европу или из Европы в Россию. Только теперь...

Искусство — это воспоминание... Воспоминание о том, что мы были... Я боюсь... Я боюсь одного, что страх заменяет в нашей жизни место любви..."

*Лилия Михайловна Кузменкова,
преподаватель Могилевского
культурпросветучилища, режиссер*

*Монолог о вечном и проклятом:
что делать и кто виноват?*

“Я — человек своего времени, я — убежденный коммунист...

Нам не дают слова... Модно... Нынче модно ругать коммунистов... Теперь мы — враги народа, все — преступники. Сейчас отвечаем за все, даже за законы физики. Я был тогда первым секретарем райкома партии. В газетах пишут... Это они, мол, коммунисты, виноваты — строили плохие, дешевые атомные станции, а человеческие жизни не считали. О человеке не думали, он для них — песок, навоз истории. Ату их! Ату! Проклятые вопросы: что делать и кто виноват? Вечные. Неизменные в нашей истории. Все в нетерпении, в жажде мщения и крови. Ату их! Ату! Ждут отрубленных голов... Хлеба и зрелищ...

Другие молчат, а я скажу... Вы пишете... Ну, не конкретно вы, а в газетах пишут — коммунисты обманывали народ, скрывали от него правду. Но мы должны были... Телеграммы из цека, из обкома партии... Перед нами поставили задачу: не допустить паники. А паника, действительно, страшная вещь. Только во время войны так следили за сводками с фронта, как тогда за сообщениями из Чернобыля. Страх и слухи. Люди были убиты не радиацией, а событием. Мы должны были... Наш долг... Нельзя сказать, что сразу всё скрывали, поначалу никто не понимал масштабов происходящего. Руководствовались высшими политическими соображениями. Но если отбросить эмоции, политику отбросить... Надо признать, что никто не верил в то, что случилось. Ученые и те не могли поверить! Ни одного похожего примера... Не только у нас, но и во всем мире... Ученые на месте, на самой станции изучали обстановку, и тут же принимали решения. Я недавно смотрел передачу “Момент истины” с Александром Яковлевым, член Политбюро, главный идеолог партии в те времена. Рядом с Горбачевым... Что он вспоминает? Они там, наверху, тоже не представляли всей картины... На заседании Политбюро кто-то из генералов объяснял: “А что радиация? На полигоне... После атомного взрыва... Вечером выпили по бутылке красного вина. И нам ничего”. Говорили о Чернобыле, как об аварии, обыкновенной аварии...

Заяви я тогда, что людей нельзя выводить на улицу. “Вы что хотите сорвать Первомай?” Политическое дело. Партбилет на стол... *(Немного успокаивается.)* Не анекдот, я думаю, а правда. Быль. Рассказывают, что председатель Правительственной комиссии Щербина, прибывший на станцию, в первые дни после взрыва, потребовал сразу же отвезти его к месту происшествия. Ему объясняют: графитные завалы, бешеные радиационные поля, высокая температура — туда нельзя. “Какая еще физика? Я должен увидеть все собственными глазами, — кричал он на подчиненных. — Мне вечером докладывать на Политбюро”. Военный стереотип поведения. Другого не знали... Не понимали, что действительно есть физика... Цепная реакция... И никакие приказы и правительственные постановления эту физику не изменят. Мир стоит на ней, а не на идеях Маркса. Но заяви я тогда? Попробуй отменить первомайскую демонстрацию? *(Вновь начинает горячиться.)* В газетах пишут... Как будто народ был на улицах, а мы в подземных бункерах сидели?! Я стоял на трибуне два часа под этим солнцем... Без головного убора, без плаща. И на Девятое мая, в день Победы... Шел с ветеранами... Играла гармошка. Плясали. Выпивали. Мы все были частью этой системы. Верили! Верили в высокие идеалы. В нашу победу! Победим Чернобыль! Навалимся – и победим. Взахлеб читали о героической борьбе по укрощению реактора, который вышел из-под власти людей. Проводили политбеседы. Наш человек без идеи? Без большой мечты? Это тоже страшно... Посмотрите, что сейчас творится? Развал. Безвластие. Дикий капитализм... Но... Прошлому вынесли приговор... Всей нашей жизни... Остался только Сталин... Архипелаг ГУЛАГ... А какие тогда были фильмы! Какие песни счастливые! Скажите: почему? Ответьте мне... Подумайте и ответьте... Почему сейчас таких фильмов нет? Таких песен нет? Человека надо поднять, воодушевить. Нужны идеалы... Тогда будет сильное государство. Колбаса не может быть идеалом, полный холодильник – не идеал. И мерседес — не идеал. Нужны сияющие идеалы! Они у нас были.

В газетах... На радио и телевидении кричали: правду, правду!! На митингах требовали: правду! Плохо, очень плохо... Очень плохо! Мы скоро все умрем! Исчезнет нация!! Кому она нужна такая правда? Когда в Конвент ворвались толпы и требовали казни Робеспьера, они разве были правы? Подчиниться толпе, стать толпой... Мы должны были не допустить паники... Моя работа... Долг... *(Молчит.)* Если я — преступник, то почему моя внучка... Мое дитя... Она тоже больна... Дочь родила ее в ту весну, привезла к нам в Славгород в пеленочках. В коляске. Они приехали через несколько недель после взрыва на станции... Вертолеты летают, военные машины на дорогах... Жена просила: “Надо их отправить к родственникам. Увезти отсюда”. Я был первым секретарем райкома партии... Я категорически запретил: “Что люди подумают, если я свою дочь с маленьким ребенком увезу? Их же дети здесь остаются”. Тех, кто удирал, спасал свою шкуру... Я вызывал их в райком, на бюро: “Ты коммунист или не коммунист?” Люди проверялись. Если я преступник, то почему я убивал собственного ребенка? *(Дальше бессвязно.)* Я сам... Она... В моем доме... *(Через какое-то время успокаивается.)*

Первые месяцы... На Украине — тревога, а у нас в Беларуси все спокойно. Посевная в разгаре. Я не прятался, не отсиживался в кабинетах, а мотался по полям, лугам. Пахали, сеяли. Вы забыли, что до Чернобыля атом называли мирным тружеником, гордились: живем в атомной эре. Атомного страха не помню... Тогда мы еще не боялись будущего... Ну, что такое — первый секретарь райкома партии? Обычный человек с обычным институтским дипломом, чаще всего инженера или агронома. Кто-то окончил еще высшую партийную школу. Я знал о радиации то, что нам успели прочитать на курсах гражданской обороны. Там я не слышал ни слова о цезии в молоке, о стронции... Мы везли молоко с цезием на молокозаводы. Сдавали мясо. Косили сорокакюриную траву.

Выполняли планы... Со всей ответственностью... Я их выколачивал. Планы с нас никто не снимал...

Один штрих... К портрету, так сказать... В первые дни люди испытывали не только страх, но и подъем. Я — человек, у которого отсутствует инстинкт самосохранения. Это нормально, потому что сильно развито чувство долга. Таких тогда было много, не я один... У меня на столе лежали десятки заявлений с просьбой: “Прошу направить в Чернобыль.” По зову сердца! Люди готовы были пожертвовать собой, не задумываясь и не требуя ничего взамен. Что бы вы там ни писали, но был он, советский характер. И был он, советский человек. Что бы вы ни писали, как бы лихо не отрекались... Вам еще жалко будет этого человека... Вспомните о нем...

Приезжали к нам ученые, они спорили до крика. До хрипоты. Подхожу к одному: “Наши дети в радиационном песке копаются?” А он мне в ответ: “Паникеры! Дилетанты! Что вам о радиации известно? Я — ядерщик. Вот произошел атомный взрыв. Через час я ехал к эпицентру на уазике. По плавленной земле. Что вы панику поднимаете?” Я им верил. Я вызывал к себе в кабинет людей: “Братцы! Я убегу, вы убежите. Что люди о нас подумают? Скажут, что коммунисты дезертировали?” Если не убеждал, словами, чувствами, действовал иначе: “Ты патриот или не патриот? Если нет — клади на стол партбилет. Бросай!” Некоторые бросали...

Что-то стал подозревать... Были догадки... Заключили мы договор с Институтом ядерной физики на обследование наших земель. Они берут траву, берут пласты чернозема и везут туда, к себе в Минск. Проводят там анализы. А потом звонят мне: “Организируйте, пожалуйста, транспорт, чтобы забрать вашу почву назад”. — “Вы что, шутите? До Минска четыреста километров... — У меня трубка из рук чуть не выпала. — Везти землю назад?” — “Нет, не шутим, — отвечают мне. — У нас эти пробы по инструкции подлежат захоронению в могильнике, в подземном железобетонном бункере. Со всей Беларуси к нам везут. За месяц имеющуюся емкость до отказа заполнили”. Вы слышали? А мы на этой земле пашем, сеем. На ней наши дети играют... С нас требуют планы по молоку и мясу. Из зерна гнали спирт. Яблоки, груши, вишни шли на соки...

Эвакуация... Если бы кто-нибудь посмотрел сверху, подумал бы, что началась третья мировая война... Одну деревню вывозят, а другую предупреждают: эвакуация через неделю! И всю эту неделю там скирдуют солому, косят траву, копаются на огородах, дрова колют... Жизнь как жизнь. Люди не понимают, что происходит. А через неделю их увозят на военных машинах... Совещания, командировки, накачки, бессонные ночи. Столько всего было. Возле горкома партии в Минске, помню, стоит человек с плакатом: “Дайте народу йода”. Жарко. Он в плаще...

(Возвращается к началу нашего разговора.)

Вы забыли... Тогда... Атомные станции — это будущее... Я не раз выступал... Пропагандировал... Я был на одной атомной станции: тихо, торжественно. Чисто. В углу — красные знамена и вымпелы “Победитель социалистического соревнования”. Наше будущее... Мы жили в счастливом обществе. Нам сказали, что вы счастливые, и мы были счастливы. Я был свободный, я даже не мог понять, что кто-то может считать мою свободу не свободой. А теперь нас списала история, нас как бы нет. Я читаю сейчас Солженицына... Я думаю... *(Молчит)*. У моей внучки лейкемия... За всё я заплатил... Дорогой ценой...

Я — человек своего времени... Я — не преступник...”

*Владимир Матвеевич Иванов,
бывший первый секретарь
Славгородского райкома партии*

Монолог защитника советской власти

“Э-э-э... такую мать...Э-э-э! (*Идет многоэтажный мат*). Сталина на вас нет. Железной руки...

Что вы тут записываете? Кто вам разрешение дал? Фотографируете... Уберите свою цапку... Схуйте. А то разобью. Понимаешь ты, приехали... Мы живем. Страдаем, а вы писать будете. Писаки!! Народ с толку сбиваете... Бунтуете... Выпытываете не то, что надо. Нет сейчас порядка! Порядка нет! Понимаешь ты, приехали... С магнитофоном...

Да, я защищаю! Я советскую власть защищаю. Нашу власть. Народную! При советской власти мы были сильными, нас все боялись. Весь мир на нас глядел! Кого трясло от страха, а кто завидовал. Б...ь! А что теперь? Сейчас? При демократии... “Сникерс” и маргарин залежалый к нам везут, просроченные лекарства и ношенные джинсы, как туземцам, которые недавно с дерева слезли. С пальмы. За державу обидно! Понимаешь ты, приехали... Такая была держава! Б...ь! Пока Горбачев не взлетел... На царство... Черт с метиной! Горби... Горби действовал по их планам, по планам цэрэу... Что вы мне тут доказываете? Понимаешь ты... Они Чернобыль взорвали... Цэрэушники и демократы... Я в газетах читал... Не взорвался бы Чернобыль, держава бы не рухнула. Великая держава! Б...ь! (*Идет многоэтажный мат*). Понимаешь ты... Булка хлеба при коммунистах стоила двадцать копеек, а сейчас две тысячи. Я за три рубля покупал бутылку, еще на закуску хватало... А при демократах? Штаны второй месяц не могу себе купить. В рваной фуфайке хожу. Распродали все! Заложили! Наши внуки не рассчитаются...

Я — не пьяный, я — за коммунистов! Они были за нас, за простых людей. Сказок мне не надо! Демократия... Цензуру отменили, что хочешь. То пиши. Свободный человек... Б...ь! А помри этот свободный человек, его похоронить не на что. У нас померла бабка. Одинокая, без детей. Два дня бедная в хате лежала... В старой кофте... Под образами... Гроб не могли купить... Стахановка когда-то, звеньевая. Мы два дня не выходили в поле. Митинговали. Б...ь! Пока председатель колхоза не выступил... Перед народом... И не пообещал, что теперь, когда помрет человек, колхоз выделяет бесплатно: деревянный гроб, труну, по-нашему, теленка или поросенка и два ящика водки на поминки. При демократах... Два ящика водки... Бесплатно! Бутылка на одного мужика — пьянка, полбутылки — лечение. Нам от радиации...

Почему вы это не записываете? Мои слова. А записываете только то, что вам выгодно. Народ с толку сбиваете... Бунтуете... Политический капитал нужен? Карманы долларами набить? Мы тут живем... Страдаем... А виноватых нету! Назовите мне виноватых! Я за коммунистов! Они вернутся и тут же найдут виноватых... Б...ь! Понимаешь ты, приезжают... Записывают...

Э-э-э... Такую мать... (*Идет многоэтажный мат*).

(*Фамилию не назвал*)

*Монолог о том, как два ангела
встретили маленькую Оленьку*

“У меня есть материал... Все книжные полки дома заставлены большими папками. Я так много знаю, что не могу уже писать...

Семь лет собирала — газетные вырезки, инструкции. Листовки... Свои заметки.... У меня есть цифры. Я вам все отдам... Я могу бороться: организовывать демонстрации, пикеты, добывать лекарства, навещать больных детей, — но не писать. Возьмитесь... А у

меня самой столько чувств, что я с ними не справлюсь, они меня парализуют. Мешают мне. Чернобыль имеет уже своих сталкеров... Своих писателей... Но я не хочу войти в круг тех, кто эксплуатирует эту тему. Надо написать честно. Все написать... *(Задумывается.)*

Апрельский теплый дождь... Семь лет я помню этот дождь... Дождинки скатывались, как ртуть. Говорят, что радиация бесцветная? Но лужи стояли зеленые или ярко-желтые. Соседка шепотом сообщила, что по радио “Свобода” передали об аварии на чернобыльской атомной станции. Я не придавала этому никакого значения. Абсолютная уверенность, что если бы что-то серьезное, нас бы оповестили. Есть специальная техника, специальная сигнализация, бомбоубежища. Нас предупредят. Мы были в этом уверены! Все учились на курсах гражданской обороны. Я сама там проводила занятия... Принимала экзамены... Но вечером того же дня соседка принесла какие-то порошочки. Дал их ее родственник, объяснил, как принимать (он работал в Институте ядерной физики), но взял слово, что она будет молчать. Как рыба! Как камень! Особенно он боялся разговоров и вопросов по телефону...

У меня в это время жил маленький внук... А я? Я все равно не поверила. По-моему, никто из нас эти порошочки непил. Мы были очень доверчивы... Не только старшее поколение, но и молодые...

Вспоминаю первые впечатления, первые слухи... Перехожу из одного времени в другое, из одного состояния в другое... Отсюда — туда... Как пишущий человек, я задумывалась над этими переходами, они меня интересовали. Во мне словно бы два человека — дочернобыльский и чернобыльский. Но вот это “до” сейчас трудно восстановить с полной достоверностью. Мое зрение поменялось...

Я ездила в зону с первых дней... Помню, остановились в какой-то деревне, что меня поразило — тишина! Ни птиц, ничего... Идешь по улице... Тишина. Ну, ладно, хаты вымерли, людей нет, уехали, но все вокруг смолкло, ни одной птицы. Я впервые увидела землю без птиц... Без комаров... Ничего не летало...

Приехали мы в деревню Чудяны — сто пятьдесят кюри... В деревне Малиновка — пятьдесят девять кюри... Население получало дозы в сотни раз больше тех, что получают солдаты, охраняющие районы испытаний ядерных бомб. Ядерные полигоны. В сотни раз! Дозиметр трещит, его зашкаливает... А в колхозных конторах висят объявления, подписанные районными радиологами, что лук, салаты, помидоры, огурцы, — все можно есть. Все растет, все едят.

Что они сейчас говорят эти районные радиологи? Секретари райкомов партии? Как оправдываются?

Во всех деревнях мы встречали много пьяных людей. Ходили под хмельком даже женщины, особенно доярки, телятницы. Пели песенку... Модная песенка в то время: “А нам все равно... А нам все равно...” Одним словом, все трын-трава. Из кинофильма “Бриллиантовая рука”.

В той же деревне Малиновка (Чериковский район) зашли в детский садик. Дети бегают по двору... Маленькие — ползают в песочнице... Заведующая объясняет, что песок меняют каждый месяц. Откуда-то привозят. Можно представить, откуда его могли привезти? Дети печальные... Мы шутим, они не улыбаются... Воспитательница заплакала: “Не старайтесь. Наши дети не улыбаются. А во сне они плачут”. Встретили на улице женщину с новорожденным. “Кто вам разрешил здесь рожать? Пятьдесят девять кюри...” — “Врач-радиолог приезжала. Советовала только не сушить пеленки на улице”. Людей уговаривали не уезжать, оставаться. Как же! Рабочая сила. Даже когда деревни отселяли... Эвакуировали... Насовсем. Все равно привозили людей на сельхозработы. Убирать картошку...

Что они сейчас говорят? Секретари райкомов и обкомов? Как оправдываются? Кто у них виноват?

Я сохранила много инструкций... Совершенно секретных. Я все их вам отдам... Инструкция по обработке зараженных куриных тушек... В цехе по их обработке требовалось быть одетым, как на загрязненной территории при контакте с радиоактивными элементами: в резиновых перчатках и резиновых халатах, сапогах и прочее. Если там столько-то кюри, надо поварить в соленой воде, слить воду в канализацию, а мясо добавить в паштеты, колбасы. Если столько-то кюри — в костную муку, для корма скоту... Так выполнялись планы по мясу. Из зараженных районов телят по дешевке продавали в другие места. В чистые. Водители, которые возили таких телят, рассказывали, что телята были смешные — шерсть до самой земли, и такие голодные, что ели все — и тряпки, и бумагу. Их кормить было легко! Продавали в колхозы, но если кто хотел — мог взять себе. В свое хозяйство. Уголовные дела! Уголовные!!

Встретили на дороге машину... Грузовая машина шла медленно, как на похоронах... Остановили. За рулем — молодой парень. Спрашиваю: “Тебе, наверное, плохо, что так медленно едешь?” — “Нет, я везу радиоактивную землю”. А жара! Пыль! “Ты с ума сошел! Тебе еще жениться, детей растить”. — “А где я еще заработаю пятьдесят рублей за одну езду?” За пятьдесят рублей по тем ценам можно было купить хороший костюм. И о доплатах говорили больше, чем о радиации. О доплатах и каких-то мизерных надбавках... Мизерных с точки зрения цены жизни...

Трагическое и смешное рядом...

Сидят бабки на скамейках возле дома. Дети бегают. Мы замеряли — семьдесят кюри...

— Откуда дети?

— Из Минска на лето приехали.

— Так у вас же большая радиация!

— Что ты нам расписываешь етую радиацию! Мы ее бачили.

— Так ее увидеть нельзя!

— Вон, глянь: хата недостроенная стоит, люди кинули и поехали. Страха набрались. А мы вечером пошли и глядим... В окно глядим... А она под балкой сидит, етая радиация. Злая-злая и глаза блестят... Черная-черная...

— Быть не может!

— Вот мы тебе поклянемся. Перекрестимся!

Крестятся. Весело крестятся. Смеются то ли над собой, то ли над нами?

Соберемся после поездок в редакции. “Ну, как дела?” — спрашиваем друг у друга. “Все нормально!” — “Все нормально? Посмотри на себя в зеркало, ты с сединой приехал!” Анекдоты появились. Чернобыльские анекдоты. Самый короткий: “Хороший был народ — беларусы”.

Получила задание – написать об эвакуации... На Полесье существует поверье: хочешь вернуться домой, посади перед дальней дорогой дерево. Приезжаю... В один двор вхожу, во второй... Все сажают деревья. В третий двор вошла, села и заплакала. А хозяйка мне показывает: “Дочка с зятем посадили сливу, вторая дочка – черную рябину, старший сын – калину, а самый младший – вербу. Мы с хозяином вдвоем – одну яблоньку”. Прощаемся, она просит: “У меня столько клубниц – целый двор. Возьми у меня клубниц”. Ей хотелось, чтобы что-то осталось, какой-то след от ее жизни...

Мало я успела записать. Мало... Всё откладывала: Сяду когда-нибудь и вспомню. В отпуск поеду...

А вот... Мелькнуло в памяти... Деревенское кладбище... У ворот знак: “Высокая радиация. Въезд и вход запрещен”. Даже на тот свет, как говорится, не попадешь. *(Неожиданно засмеялась. Впервые за весь долгий разговор).*

А вам рассказывали, что фотографировать возле реактора было строго запрещено. Только по спецразрешению. Забирали фотоаппараты. Перед отъездом солдат, служивших там, обыскивали, как в Афганистане, чтобы, не дай бог, никакого снимка. Никакой улики. У телевизионщиков забирали пленки в кэгэбэ. Возвращали засвеченными. Сколько документов уничтожено. Свидетельств. Они потеряны для науки. Для истории. Найти бы тех, кто приказывал это делать...

Как бы они оправдывались? Что придумывали бы...

Я никогда их не оправдаю... Никогда!!! Из-за одной девочки... Она танцевала в больнице, танцевала мне “полечку”. Ей девять лет в этот день исполнилось. Так красиво танцевала... Через два месяца позвонила ее мама: “Оленька умирает!” И у меня не хватило сил пойти в тот день в больницу. А потом уже – поздно. У Оленьки была младшая сестренка. Она проснулась утром и говорит: “Мамочка, я во сне видела, как прилетели два ангела и забрали нашу Оленьку. Они сказали, что Оленьке будет там хорошо. У нее ничего не будет болеть. Мамочка, нашу Оленьку забрали два ангела...”

Я никого не могу оправдать...”

Ирина Киселева, журналистка

*Монолог о безмерной власти
одного человека над другим человеком*

“Я — не гуманитарий, я — физик. Поэтому факты, только факты...”

За Чернобыль когда-нибудь придется отвечать... Наступит такое время, что придется отвечать, как за тридцать седьмой год. Пусть через пятьдесят лет! Пусть старые... Пусть мертвые... Они ответят, они — преступники! *(Помолчал.)* Надо оставлять факты... Факты! Их востребуют...

...В тот день, двадцать шестого апреля... Я был в Москве. В командировке. Там узнал об аварии.

Звоню в Минск первому секретарю цеха Беларуси Слюнькову, один, два, три раза звоню, но меня не соединяют. Нахожу его помощника (тот меня хорошо знает):

— Я звоню из Москвы. Свяжите меня со Слюньковым, у меня срочная информация. Аварийная!

Звоню по правительственной связи, но тем не менее уже все засекретили. Как только начинаешь говорить об аварии, телефон тут же разъединяется. Наблюдают, естественно! Прослушивают. Соответствующие органы... Государство в государстве... И это притом, что я звоню первому секретарю цеха... А я? Я — директор Института ядерной энергетики Академии наук Беларуси. Профессор, член-корр... Но и от меня засекретили...

Часа два мне понадобилось, чтобы трубку все-таки взял сам Слюньков. Докладываю:

— Авария серьезная. По моим подсчетам (а я уже кое с кем в Москве переговорил, обсчитал), радиоактивный столб движется к нам. На Беларусь. Нужно немедленно провести йодную профилактику населения и отселить всех, кто проживает вблизи станции. До ста километров надо убрать людей и животных.

— Мне уже докладывали, — говорит Слюньков, — там был пожар, но его погасили.

Я не выдерживаю:

— Это — обман! Очевидный обман! Вам любой физик скажет, что графит горит где-то пять тонн в час. Представляете, сколько он будет гореть!

Первым же поездом уезжаю в Минск. Бессонная ночь. Утром — дома. Меряю у сына щитовидку — сто восемьдесят микрорентген в час! Тогда щитовидка была идеальным дозиметром. Нужен был йод калия. Это обычный йод. На полстакана киселя две-три капли детям, а для взрослого — три-четыре капли. Реактор горел десять дней, десять дней надо было так делать. Но нас никто не слушал! Ученых, медиков. Наука служила политике, медицина втянули в политику. Еще бы! Не надо забывать, на каком фоне сознания все это происходило, какие мы были на тот момент, десять лет назад. Работало кэгэбэ, тайный сыск. Глушились “западные голоса”. Тысячи табу, партийных и военных тайн... Инструкций... Вдобавок все воспитаны на том, что мирный советский атом так же не опасен, как торф и уголь. Мы были людьми, скованными страхом и предрассудками. Суеверием веры... Но факты, только факты...

В тот же день... Двадцать седьмого апреля я решаю выехать в Гомельскую область, граничащую с Украиной. В райцентры Брагин, Хойники, Наровля, от них до станции всего несколько десятков километров. Мне нужна полная информация. Взять приборы, замерять фон. А фон был следующий: в Брагине — тридцать тысяч микрорентген в час, в Наровле — двадцать восемь тысяч... Сеют, пашут. Готовятся к Пасхе... Красят яйца, пекут куличи... Какая радиация? Что это такое? Никакой команды не поступало. Сверху запрашивают сводки: как идет сев, какими темпами? На меня глазают, как на сумасшедшего: “Откуда? О чем вы, профессор?” Рентгены, микрорентгены... Язык инопланетянина...

Возвращаемся в Минск. На проспекте торгуют всю пирожками, мороженым, мясным фаршем, булочками. Под радиоактивным облаком...

Двадцать девятого апреля. Все помню точно... По датам... В восемь часов утра я уже сидел в приемной Слюнькова. Пробиваюсь, пробиваюсь. Меня не принимают. И так до половины шестого вечера. В половине шестого из кабинета Слюнькова выходит один наш известный поэт. Мы с ним знакомы:

— С товарищем Слюньковым обсуждали проблемы белорусской культуры.

— Скоро некому будет развивать эту культуру, — взрываюсь я — читать ваши книжки, если мы сейчас не отселим людей из-под Чернобыля! Не спасем!

— Да что вы?! Там уже все погасили.

Прорываюсь-таки к Слюнькову. Обрисовываю картину, которую вчера видел. Надо спасти людей! На Украине (я туда уже звонил) началась эвакуация...

— Что это ваши дозиметристы (из моего института) по городу бегают, панику сеют! Я советовался с Москвой, с академиком Ильиным. У нас все нормально... На прорыв брошена армия, военная техника. На станции работает правительственная комиссия. Прокуратура. Там разбираются... Надо не забывать: идет холодная война. Мы окружены врагами...

На нашей земле уже лежали тысячи тонн цезия, йода, свинца, циркония, кадмия, бериллия, бора, неизвестное количество плутония (в ураново-графитовых РБМК чернобыльского варианта нарабатывался оружейный плутоний, из которого изготавливались атомные бомбы), — всего четыреста пятьдесят типов радионуклидов. Их количество было равно тремстам пятидесяти бомбам, сброшенным на Хиросиму. Надо было говорить о физике. О законах физики. А говорили о врагах. Искали врагов.

Рано или поздно, но отвечать за это придется. “Вы когда-нибудь будете оправдываться, — говорил я Слюнькову, — что вы — тракторостроитель (бывший директор тракторного завода), и в радиации не разбирались, а я-то физик, имею представление о последствиях”. Но как это? Какой-то профессор, какие-то физики осмеливаются учить цека? Нет, они не были шайкой бандитов. Скорее всего — заговор невежества и корпоративности. Принцип их жизни, аппаратная выучка: не высовываться.

Потрафлять. Слюнькова как раз забирали в Москву на повышение. Вот-вот!! Думаю, был звонок из Кремля... От Горбачева... Мол, вы там, беларусы, не поднимайте паники, Запад и так шумит. А правила игры таковы, что если не угодите вышестоящему начальству, вас не повысят в должности, выделяют не ту путевку, дадут не ту дачу... Надо понравиться... Будь мы по-прежнему закрытой системой, за железным занавесом, люди до сих пор бы жили возле самой станции. Засекретили бы!! вспомните: Кыштым, Семипалатинск... Сталинская страна. Все еще сталинская страна...

В инструкциях на случай ядерной войны предписывается, что при угрозах ядерной аварии, ядерного нападения, немедленно проводить йодную профилактику населения. При угрозе? А тут... Три тысячи микрорентген в час... Но бояться не за людей, а за власть. Страна власти, а не страна людей. Приоритет государства бесспорен. А ценность жизни человеческой сведена к нулю. Находились же способы! Мы предлагали... Без объявлений, без паники... Просто вводить йодные препараты в водоемы, из которых берут питьевую воду, добавлять в молоко. Ну, почувствовали бы, не тот вкус воды... Не тот вкус молока... В городе держали наготове семьсот килограммов препаратов. Они так и остались на складах... В запасниках. Гнева сверху, боялись больше, чем атома. Каждый ждал звонка, приказа, но ничего не предпринимал сам. Страх личной ответственности. В портфеле я носил дозиметр... Зачем? Меня не пропускали, я им надоел в больших кабинетах... Тогда я вынимал дозиметр и прикладывал его к щитовидкам секретарш, личных водителей, сидевших в приемной. Они пугались, и это иногда помогало — меня пропускали. “Ну, что это вы истерики, профессор, устраиваете? Вы один, что ли, о беларуском народе печетесь. Человек ведь все равно от чего-то умирает: от курения, в автомобильных катастрофах, кончает с собой”. Смеялись над украинцами. Те на коленях в Кремле ползают, выпрашивают деньги, медикаменты, дозиметрическую аппаратуру (ее не хватало), а наш (это Слюньков) за пятнадцать минут доложил обстановку: “Все нормально. Справимся своими силами”. Похвалили: “Молодцы, братцы-белорусы!”

Сколько жизней стоила эта похвала?!

У меня есть информация, что сами они (начальство) йод принимали. Когда их обследовали сотрудники нашего института, — у всех чистая щитовидка. Без йода это невозможно. Своих детей они тоже втихую вывезли, от греха подальше. Сами, когда отправлялись в командировки, имели респираторы, спецробы. Все то, чего у других не имелось. И уже давно не секрет, что под Минском держалось специальное стадо. Каждая корова с номерком и прикрепена индивидуально. Персонально. Специальные земли, специальные парники... Спецконтроль... Самое отвратительное... *(Помолчав.)* За это никто еще не ответил...

Перестали меня принимать. Выслушивать. Я стал забрасывать их письмами. Докладными записками. Рассылал карты, цифры. Во все инстанции. Собралось четыре папки по двести пятьдесят листов. Факты, только факты... На всякий случай скопировал два экземпляра, один находился в моем служебном кабинете, а второй спрятал дома. Жена спрятала. Почему я сделал копии? У нас есть память... Мы живем в такой стране... Кабинет я всегда сам закрывал. Приезжаю из одной командировки — папки исчезли... Все четыре толстые папки... Но я вырос на Украине, у меня деда — казаки. Казацкий характер. Я продолжал писать. Выступать. Надо спасти людей! Срочно отселить! Мы не вылезали из командировок. Наш институт составил первую карту “загрязненных” районов. Весь юг в красном... Юг пылал.

Это уже история. История преступления...

Из института забрали всю аппаратуру для радиационного контроля. Конфисковали. Без объяснений. Звонки ко мне домой с угрозой: “Перестань, профессор, пугать людей!”

Сошлем туда, где Макар телят не пас. Не догадываешься? Забыли? Быстро забыли!” Давление на сотрудников института. Запугивание.

Я написал в Москву...

Вызывает меня президент нашей Академии Платонов:

— Беларуский народ когда-нибудь вспомнит тебя, ты много для него сделал, но плохо, что написал в Москву. Очень плохо! Требуют, чтобы я снял тебя с должности. Зачем ты написал? Разве не понимаешь, на кого замахнулся?

У меня — карты, цифры. А у них? Могли посадить в психушку... Грозилась. Мог попасть в автомобильную катастрофу... Предупреждали. Могли завести уголовное дело. За антисоветчину. Или за ящик гвоздей, не учтенных институтским завхозом...

Уголовное дело завели...

Они своего добились. Я слег с инфарктом... *(Молчит.)*

Все есть в папках... Факты и цифры... Преступные цифры...

В первый год...

Миллион тонн “загрязненного” зерна переработали на комбикорма, скормили его скоту (а мясо потом попало на стол человеку). Птиц и свиней кормили костями, начиненными стронцием...

Деревни эвакуировали, а поля засеивались. По данным нашего института третья часть колхозов и совхозов имела земли, “загрязненные” цезием – 137, часто плотность “загрязнения” превышала пятнадцать кюри на квадратный километр. Не могло быть и речи о получении чистой продукции, там даже нельзя было находиться длительное время. На многих землях осел стронций – 90...

В деревнях люди кормятся со своих приусадебных участков, но никакой проверки. Никто не просвещал, не учил, как теперь надо жить. Даже программы такой не было. Проверялось только то, что шло на вывоз... Госпоставки в Москву... В Россию...

Мы осмотрели выборочно детей в деревнях... Несколько тысяч мальчиков и девочек. У них – тысяча пятсот, две тысячи, три тысячи микрорентген. Свыше трех тысяч. Эти девочки, они уже никого не родят. На них генные метки...

Сколько лет прошло... А я иногда проснусь и не могу уснуть...

Пашет трактор... Спрашиваю у работника райкома партии, сопровождающего нас:

— Тракторист защищен хотя бы респиратором?

— Нет, они без респираторов работают.

— Что, вам их не завезли?

— Да что вы! Завезли столько, что до двухтысячного года хватит. Но мы не выдаем. А то начнется паника. Все разбегутся! Разъедутся!

— Что вы вытворяете?

— Вам легко, профессор, рассуждать! Вас выгонят с работы, вы другую найдете. А куда я денусь?

Какая власть! Безмерная власть одного человека над другим человеком. Это уже не обман, это война с невинными...

Вдоль Припяти... Стоят палатки, люди отдыхают семьями.купаются, загорают. Они не знают, что уже несколько недель купаются и загорают под радиоактивным облаком. Строго запрещалось с ними общаться. Но я вижу детей... Подхожу и начинаю объяснять... Удивление... Недоумение: “А почему радио и телевидение об этом молчат?” Сопровождающий... С нами обычно ездил кто-нибудь из местной власти, из райкома — таков порядок... Он молчит... Я могу проследить по его лицу, какие чувства в нем борются: доложить или не доложить? В то же время жалко людей! Он же нормальный человек... Но я не знаю, какое из чувств победит, когда мы вернемся? Донесет или не донесет? Каждый делал свой выбор... *(Какое-то время молчит.)*

Мы все еще сталинская страна... И живет сталинский человек...

Помню в Киеве... На вокзале... Составы один за одним увозят тысячи перепуганных детей. Мужчины и женщины плачут. Я впервые подумал: кому нужна такая физика? Такая наука? Если такая дорогая цена... Теперь известно... Написали... Какими ударными темпами строили чернобыльскую атомную станцию. Строили по-советски. Японцы такие объекты осваивают за двенадцать лет, а у нас за два-три года. Качество и надежность особого объекта не отличались от постройки животноводческого комплекса. Птицефабрики!! Когда чего-то не хватало, плевали на проект и заменяли тем, что в это время находилось под рукой. Так крыша машинного зала была залита битумом. Его-то и тушили пожарники. А кто управлял атомной станцией? В руководстве – ни одного физика-ядерщика. Были энергетики, турбинщики, политработники, но ни одного специалиста. Ни одного физика...

Человек придумал технику, к которой еще не готов. Не равен ей. Можно ли ребенку в руки давать пистолет? Мы – безумные дети. Но это эмоции, я запрещаю себе эмоции...

На земле... В земле, в воде лежат радионуклиды, десятки радионуклидов. Нужны радиоэкологи... Но в Беларуси их не было, звали из Москвы. Когда-то в нашей Академии наук работала профессор Черкасова, она занималась проблемами малых доз, внутреннего облучения. За пять лет до Чернобыля ее лабораторию упразднили – у нас не может быть никаких катастроф. О чем вы? Советские атомные станции – передовые и лучшие в мире. Какие малые дозы? Какое внутреннее облучение? Радиоактивные продукты питания... Лабораторию сократили, профессора отправили на пенсию. Она вахтером где-то устроилась, подавала пальто...

И никто ни за что не ответил...

Через пять лет... Рак щитовидной железы у детей увеличился в тридцать раз. Установлен рост врожденных пороков развития, заболеваний почек, сердца, детского сахарного диабета...

Через десять лет... Продолжительность жизни белорусов сократилась до пятидесяти пяти-шестидесяти лет...

Я верю в историю... В суд истории... Чернобыль не кончился, он только начинается..."

*Василий Борисович Нестеренко, бывший
директор Института ядерной энергетики
Академии наук Беларуси.*

Монолог о жертвах и жрецах

“Человек встает рано утром... Начинает свой день...

И он не думает о вечном, его мысли о хлебе насущном. А вы хотите заставить людей думать о вечном. Ошибка всех гуманистов...

Что такое — Чернобыль?

Приезжаем в деревню... У нас маленький немецкий автобус (подарили нашему фонду), дети окружают нас: “Тетя! Дядя! Мы — чернобыльцы. Что вы привезли? Дайте нам что-нибудь. Дайте!!”

Вот он — Чернобыль...

По дороге в зону встречаем бабку в праздничной вышитой юбке, переднике, узелок за спиной.

— Куда, бабка? В гости?

— Иду в Марки... В свой двор...

А там сто сорок юри! Идти ей километров двадцать пять. Она день идет туда и день назад. Принесет трехлитровую банку, которая два года висела у нее на заборе. Но она побывала на своем дворе...

Вот он — Чернобыль...

Что я помню с первых дней? Как это было? Все-таки надо оттуда... Чтобы рассказать свою жизнь, надо начать с детства. Так и тут... У меня своя точка отсчета. Я вспоминаю вроде бы другое... Вспоминаю сорокалетие Победы. Тогда был первый фейерверк в нашем Могилеве. После официального торжества люди не разошлись, как обычно, а стали петь песни. Совсем неожиданно. Я помню это общее чувство. Через сорок лет о войне заговорили все, пришло осмысление. А до этого выживали, восстанавливали, рожали детей. Так и с Чернобылем... Еще вернемся к нему, он откроется нам глубже. Станет святыней. Стеной плача. А пока формулы нет. Нет формулы! Идей нет. Юри, бэры, зиверты — это не осмысление. Это — не философия. Не мировоззрение. У нас человек — или с ружьем, или с крестом. Через всю историю... А другого человека не было... Пока нет...

...Моя мама работала в штабе гражданской обороны города, она одна из первых узнала. Сработали все приборы. По инструкции, которая висела у них в каждом кабинете, требовалось сразу оповестить население, выдать респираторы, противогазы и прочее. Открыли они свои секретные склады, опечатанные, засургученные, но все там оказалось в ужасном состоянии, негодное, применить нельзя. В школах противогазы были довоенных образцов и даже размеры детям не подходили. Приборы зашкаливало, но никто ничего не мог понять, такого никогда не было. Приборы просто выключили. Мама оправдывалась: “Вот если бы грянула война, мы знали бы, что делать. Есть инструкция. А тут?” Кто у нас возглавлял гражданскую оборону? Отставные генералы, полковники, для которых война начинается так: по радио передают правительственные заявления, воздушная тревога, фугасы, зажигалки... До них не доходило, что сменился век. Нужен был психологический перелом... И он произошел... Теперь мы знаем: будем сидеть, пить чай за праздничным столом... Будем разговаривать, смеяться, а война уже будет идти... Мы даже не заметим, как исчезнем...

А гражданская оборона — это такая игра, в которую играли взрослые дяди. Они отвечали за парады, за учения... Стоило это миллионы... Нас срывали с работы на три дня. Без всяких объяснений — на военные учения. Называлась эта игра “На случай атомной войны”. Мужчины — солдаты и пожарники, женщины — сандружинницы. Выдавали комбинезоны, сапоги, санитарные сумки, пакет бинтов, каких-то лекарств. А как же! Советский народ должен встретить врага достойно. Секретные карты, планы эвакуации — все это хранилось в негоряемых сейфах под сургучными печатями. По этим планам за считанные минуты по тревоге должны были поднять людей и увезти в лес, в безопасную зону... Воеет сирена... Внимание! Война...

Присуждали кубки, знамена. И был походный банкет. Мужчины пьют за нашу будущую победу! И, конечно, за женщин!

А недавно... Уже сейчас... Объявили в городе тревогу. Внимание! Гражданская оборона! Это было неделю назад... У людей — страх, но страх другой. Уже не американцы напали, не немцы, а что там — в Чернобыле? Неужели снова?

Восемьдесят шестой год... Кто мы? Какими нас застала эта технологическая версия конца света? Я? Мы? Это местная интеллигенция, у нас был свой кружок. Мы жили отдельной жизнью, отстраняясь от всего, что вокруг. Форма нашего протеста. У нас были свои законы: не читали газету “Правда”, но журнал “Огонек” передавали из рук в руки. Только-только поводья ослабили, мы этим упивались. Читали самиздат, наконец он попал к нам, в нашу глубинку. Читали Солженицына, Шаламова... Венечку Ерофеева... Ходили

друг к другу в гости, бесконечные разговоры на кухне. О чем-то тосковали. О чем? Где-то живут актеры, кинозвезды... Вот я буду Катрин Денев... Надену на себя дурацкую хламиду, закручу необычно волосы... Тоска по свободе... Тот, неведомый мир... Чужой мир... Как форма свободы... Но и это тоже была игра. Бегство от реальности. Кто-то из нашего кружка сломался, спился, кто-то вступил в партию, пополз по карьерной лестнице. Никто не верил, что эту кремлевскую стену можно проломить. Пробить. И она развалится... Что не при нашей жизни, так точно. Раз так, то плевать, что у вас там происходит, будем жить тут... В нашем иллюзорном мире...

Чернобыль... И поначалу та же самая реакция. А какое нам дело? Пусть власти волнуются... Это у них — Чернобыль... И это далеко. Даже на карту не посмотрели. Неинтересно. Нам уже не нужна была правда... Вот когда на бутылках с молоком появились этикетки: “Молоко для детей” и “Молоко для взрослых”... Вот тогда уже ого! Что-то приближается... Да, я не член партии, но все равно советский человек. Появился страх: “Что-то у редиски листья в этом году, как у свеклы?”, но тут же вечером включишь телевизор: “Не поддавайтесь на провокации”. И все сомнения рассеиваются... А первомайская демонстрация? Нас никто не заставлял на нее идти, меня, например, никто не обязывал. У нас был выбор. Но мы его не сделали. Я не помню такой многолюдной, такой радостной первомайской демонстрации, как в тот год. Было тревожно, хотелось, конечно, в стадо... Чувствовать локоть... Чтобы вместе со всеми. Хотелось кого-то ругать... Начальство... Правительство... Коммунистов... Теперь я думаю... Ищу-ищу обрыв... Где оборвалось? А обрыв в самом начале... Наша несвобода... Верх вольнодумства: “Можно есть редиску или нет?” Несвобода внутри нас...

Работала я инженером на заводе “Химволокно”, и у нас там была группа немецких специалистов. Налаживали новое оборудование. Я увидела, как ведут себя другие люди, другой народ... Из другого мира... Когда они узнали об аварии, тут же потребовали, чтобы были врачи, выдали дозиметры, контролировалась еда. Они слушали свое радио, они знали, как надо поступать. Им, конечно, ничего не дали. Тогда они уложили чемоданы и собрались уезжать. Покупайте нам билеты! Отправляйте домой! Мы уезжаем, раз вы не способны обеспечить нашу безопасность. Бастовали, слали телеграммы своему правительству... Президенту... Они дрались за своих жен, детей (они жили у нас с семьями). За свою жизнь! А мы? Как вели себя мы? Ах, вот какие эти немцы, — истерики! Труссы! Меряют радиацию в борще, в котлетах... На улицу лишний раз не выйдут... Потеха! Вот наши мужчины — это мужчины! Русские мужики! Отчаянные! Сражаются с реактором! Не дрожат за свою шкуру! Поднимаются на расплавленную крышу с голыми руками, в брезентовых рукавицах (мы это уже наблюдали по телевизору)! А наши дети с флажками идут на демонстрацию! И ветераны войны... Старая гвардия! *(Обдумывает.)* Но это тоже вид варварства — отсутствие страха за себя... Мы всегда говорим “мы”, а не “я”: “мы продемонстрируем советский героизм”, “мы покажем советский характер”. Всему миру! Но это — я! Я не хочу умирать... Я боюсь...

Интересно сегодня проследить за собой. За своими чувствами. Как они менялись. Проанализировать. Давно словила себя на том, что стала внимательнее к миру вокруг. Вокруг себя и в себе. После Чернобыля это само собой получается. Мы стали учиться говорить “я”... Я не хочу умирать! Я боюсь... А тогда? Я включаю телевизор громче: красное знамя вручают дояркам, победившим в социалистическом соревновании. Но это же у нас? Под Могилевом? В деревне, которая оказалась в центре цезиевого пятна? Ее вот-вот переселят... Вот-вот... Голос диктора: “люди самоотверженно трудятся, несмотря ни на что”, “чудеса мужества и героизма”. Хоть потоп! Революционным шагом! Да, я не член партии, но все равно советский человек. “Товарищи, не поддавайтесь на провокации!” — день и ночь гремит телевизор. Сомнения рассеиваются...

(Телефонный звонок. Возвращаемся к разговору через полчаса).

Мне интересен каждый новый человек. Все, кто думают об этом...

Впереди нас ждет понимание Чернобыля, как философии. Два государства, разделенных колючей проволокой: одно — сама зона, второе — все остальное. На подгнивших столбах вокруг зоны, как на крестах, висят белые рушники... Наш обычай... Люди идут сюда, как на кладбище... Мир после технологии... Время пошло назад... Тут похоронен не только их дом, а целая эпоха. Эпоха веры! В науку! В справедливую социальную идею! Великая империя расплзлась по швам. Развалилась. Сначала — Афганистан, а затем — Чернобыль. Когда империя рассыпалась, мы остались одни. Я боюсь выговорить, но мы... Мы любим Чернобыль. Полюбили. Это опять найденный смысл нашей жизни... Смысл нашего страдания. Как война. О нас, белорусах, мир узнал после Чернобыля. Это было окно в Европу. Мы одновременно и его жертвы, и его жрецы. Страшно вымолвить... Я поняла это недавно.....

... В самой зоне... Там даже звуки другие... Заходишь в дом... Ощущение, как от спящей красавицы. Если еще не разграблено: фотографии, утварь, мебель... Они должны быть где-то здесь рядом, люди. Иногда мы находим их... А они не говорят о Чернобыле, они говорят о том, что их обманули. Их волнует: получают ли они все, что им положено, и не получают ли другие больше? У нашего народа все время чувство, что его обманывают. На всех этапах большого пути. С одной стороны — нигилизм, отрицание, а с другой — фатализм. Властям не верят, ученым и врачам не верят, но и сами ничего не предпринимают. Невинные и безучастные. В самом страдании найден смысл и оправдание, все остальное вроде бы и неважно. Вдоль полей — таблички “Высокая радиация”... Поля пахутся... Тридцать кюри... Пятьдесят... Трактористы сидят в открытых кабинах (десять лет минуло, но до сих пор нет тракторов с герметичными кабинами), дышат радиоактивной пылью... Десять лет прошло! Кто же мы? Живем на зараженной земле, пашем, сеем. Рожаем детей. Каков тогда смысл нашего страдания? Зачем оно? Зачем его столько? Мы об этом сейчас много спорим с моими друзьями. Часто обсуждаем. Потому что зона — это не бэры и кюри, микрорентгены. Это — народ. Наш народ... Чернобыль “помог” нашей, было, погибающей системе... Опять чрезвычайщина... Распределение. Паек. Как раньше вбивали в мозги “если б не было войны”, так сейчас появилась возможность все списывать на Чернобыль. “Если б не было Чернобыля”. Сразу глаза с проволокой — скорбим. Дайте! Дайте нам! Чтобы было что делить. Кормушка! Громоотвод!

Чернобыль — уже история. Но это еще и моя работа... И быт... Я езжу... Вижу... Была патриархальная белорусская деревня. Белорусская хатка. Без туалета и теплой воды, но с иконой, деревянным колодцем, вышитыми рушниками, постилками. С гостеприимством. Зашли мы в одну такую хату попить воды, а хозяйка достает из старого куфра, старого, как она сама, рушник и протягивает мне: “Это тебе на память о моем дворе”. Был лес, поле. Сохранялась община и осколки свободы: земля возле дома, усадьба, своя коровка. Из Чернобыля их стали переселять в “Европу” — в европейского типа поселки. Можно построить дом — лучший, комфортный, но нельзя же построить на новом месте весь этот огромный мир, с которым они были связаны. Пуповиной! Колоссальный удар по психике человека. Разрыв традиций, всей вековой культуры. Когда к этим новым поселкам подъезжаешь, они, как миражи на горизонте. Раскрашены. Голубые, синие, желто-красные. И названия у них — Майский, Солнечный. Европейские коттеджи гораздо более удобные, чем хатки. Это уже готовое будущее. Но в будущее нельзя спустить на парашюте... Людей превратили в эфиопов... Они сидят на земле и ждут, когда прилетит самолет, придет автобус и привезут гуманитарную помощь. Нет, чтобы обрадоваться шансу: я вырвался из пекла, имею дом, чистую землю и должен спасти своих детей, у

которых Чернобыль уже в крови, в генах. Ждут чуда... Ходят в церковь. Знаете, о чем просят Бога? О том же – о чуде... Нет, не о том, чтобы он дал им здоровье и силы что-то добиться самим. Привыкли просить... То у заграницы, то у неба...

Живут в этих коттеджах, как в вольерах. Они рушатся, рассыпаются. Живет там несвободный человек. Обреченный. Он живет в обиде и в страхе, гвоздя сам не забьет. Хочет коммунизма. Ждет... Зоне нужен коммунизм... На всех выборах там голосуют за твердую руку, тоскуют по сталинскому порядку, военному. Для них – это синоним справедливости. Там и живут по-военному: милицейские посты, люди в военной форме, пропускная система, пайки. Чиновники, распределяющие гуманитарную помощь. На коробках по-немецки, по-русски написано: “Нельзя обменивать. Нельзя продавать”. Сплошь и рядом продается. В любом коммерческом киоске...

И снова как игра... Рекламное шоу... Я везу караван с гуманитарной помощью. Чужие люди... Иностранцы... Во имя Христа, во имя еще чего-то едут к нам. А в лужах, в грязи, в фуфайках и ватниках стоит мое племя... В кирзовых сапогах... “Нам ничего не надо! Все равно разворуют!” — я встречаю в их глазах и такой текст. Но рядом тут же... Желание ухватить коробку, ящик, чего-то заграничного. Уже знаем, где какая бабка живет... Как в заповеднике... И противное, безумное желание... Обида! Вдруг говорю: “А мы вам сейчас покажем! Найдем такое! Что вы и в Африке не встретите. Нигде в мире такого нет! Двести кюри — триста кюри...” Замечаю, как меняются и сами бабки, некоторые ну просто стали “кинозвезды”. У них уже заучены монологи, и слеза пробивает в тех местах, где нужно. Когда приезжали первые иностранцы, они молчали, только плакали. Сейчас уже научились говорить. Может, детям жвачка, коробка одежек лишняя перепадет... Может... И это рядом с глубокой философией, с тем, что у них здесь свои отношения со смертью, со временем. И не покидают они своих хат, родных погостов не из-за немецкого шоколада... Жвачек...

Возвращаемся... Я показываю: “Какая красивая земля!” Солнце опустилось низко-низко. Осветило лес, поле. Нам на прощание. “Да, — отвечает кто-то из немецкой группы, говорящий по-русски, — красивая, но отравленная”. У него в руках — дозиметр.

И я понимаю, что этот закат дорог только мне. Это — моя земля”.

*Наталья Арсеньевна Рослова,
председатель Могилевского женского
комитета “Дети Чернобыля”*

Детский хор

Алеша Бельский — 9 лет, Аня Богуш — 10 лет, Наташа Дворецкая — 16 лет, Лена Жудро — 15 лет, Юра Жук — 15 лет, Оля Звонак — 10 лет, Снежана Зиневич — 16 лет, Ира Кудрячева — 14 лет, Юля Каско — 11 лет, Ваня Коваров — 12 лет, Вадим Красносолнышко — 9 лет, Вася Микулич — 15 лет, Антон Нашиванкин — 14 лет, Марат Татарцев — 16 лет, Юля Тараскина — 15 лет, Катя Шевчук — 14 лет, Борис Шкирманков — 16 лет.

“Я лежала в больнице...

Мне было так больно... Я просила маму: “Мамочка, я не могу терпеть. Лучше убей меня!”

“Такая черная туча... Такой ливень...

Лужи стали желтые... Зеленые... Как будто в них налили краски... Говорили, что это пыльца от цветов... Мы не бегали по лужам, только смотрели на них. Бабушка закрывала нас в погребе. А сама становилась на колени и молилась. И нас учила: “Молитесь!! Это — конец света. Наказание божье за наши грехи”. Братику было восемь лет, а мне шесть. Мы стали вспоминать свои грехи: он разбил банку с малиновым вареньем... А я не призналась маме, что зацепилась за забор и порвала новое платье... Спрятала в шкафу...

Мама часто надевает черное. Черный платок. На нашей улице все время кого-то хоронят... Плачут. Услышу музыку — бегу домой и молюсь, читаю “Отче наш”.

Молюсь за маму и папу...”

“За нами приехали солдаты на машинах. Я подумал, что началась война...

У солдат на плечах висели настоящие автоматы. Они говорили непонятные слова: “дезактивация”, “изотопы”... В дороге приснился сон: произошел взрыв! А я живой! Нет дома, нет родителей, нет даже воробьев и ворон. В ужасе просыпался, вскакивал... Раздвигал шторы... Смотрел в окно: нет ли в небе этого гриба кошмарного?

Помню, как солдат гонялся за кошкой... На кошке дозиметр работал, как автомат: щелк, щелк. За ней — мальчик и девочка... Это их кошка... Мальчик ничего, а девочка кричала: “Не отдам!!” Бегала и кричала: “Миленькая, удирай! Удирай, миленькая!”

А солдат — с большим целлофановым мешком...”

“В доме мы оставили, закрыли моего хомячка. Беленького. На два дня ему еды оставили.

А уехали насовсем”...

“Я впервые ехала в поезде...

Поезд был набит детьми. Маленькие ревут, выпачкались. Одна воспитательница на двадцать человек, а все плачут: “Мама! Где мама? Хочу домой!” Мне — десять лет, такие девочки, как я, помогали успокаивать маленьких. Женщины встречали нас на перронах и крестили поезд. Несли домашнее печенье, молоко, теплую картошку...

Нас везли в Ленинградскую область. Там уже, когда подъезжали к станциям, люди крестились и смотрели издали. Боялись нашего поезда, на каждой станции его долго мыли. Когда на одной остановке мы выскочили из вагона и забежали в буфет, никого туда больше не впустили: “Тут чернобыльские дети едят мороженое”. Буфетчица кому-то по телефону говорила: “Они уедут, мы помоем пол с хлоркой и прокипятим стаканы”. Мы слышали...

Встречали нас врачи. Они были в противогазах и резиновых перчатках... Забрали у нас одежду, все вещи, даже конверты, карандаши и ручки, сложили в целлофановые пакеты и закопали в лесу.

Мы так напугались... Долго потом ждали, как начнем умирать...”

“Мама с папой поцеловались, и я родилась.

Раньше я думала, что никогда не умру. А теперь знаю, что умру. Мальчик лежал вместе со мной в больнице... Вадик Коринков... Птичек мне рисовал. Домики. Он умер. Умирать не страшно.. Будешь долго-долго спать, никогда не проснешься. Вадик мне говорил, что когда он умрет, будет долго жить в другом месте. Ему об этом сказал кто-то из старших мальчиков. Он не боялся.

Мне снился сон, как я умерла. Я слышала во сне, как плакала моя мама. И проснулась...”

“Мы уезжали...

Хочу рассказать, как прощалась с нашим домом моя бабушка. Она попросила отца вынести из кладовой мешок пшена и разбросала его по саду: “Божьим птичкам”. Собрала в решето яйца и высыпала во дворе: “Нашему коту и собаке”. Нарезала им сала. Вытряхнула из всех своих мешочков семена: морковки, тыквы, огурцов, лука-чернушки... Разных цветов... Рассыпала по огороду: “Пускай в земле живут”. А потом поклонилась дому... Поклонилась сараю... Обошла и поклонилась каждой яблоньке...

А дедушка, когда мы уходили, снял шапку...”

“Я был маленький...

Шесть, нет, восемь лет, кажется. Точно, восемь. Посчитал сейчас. Помню много страхов. Боялся бегать босиком по траве. Мама напугала, что умру. Купаться, нырять — всего боялся. В лесу рвать орехи. Взять в руки жука... Он же по земле ползает, а она зараженная. Муравьи, бабочки, шмели — все зараженные. Мама вспоминает. Что в аптеке ей посоветовали давать мне йод по чайной ложке! Три раза в день. Но она испугалась...

Мы ждали весну: неужели снова вырастет ромашка? Как раньше? Все у нас говорили, что мир поменяется... По радио и по телевизору... Ромашка превратится... Во что она превратится? Во что-то другое... А у лисы вырастет второй... хвост, ежики родятся без иголок, розы без лепестков. Появятся люди, похожие на гуманоидов, они будут желтые. Без волос, без ресниц. Одни глаза. А закаты станут не красные, а зеленые.

Я был маленький... Восемь лет...

Весна... Весной из почек, как всегда, раскрутились листья. Зеленые. Зацвели яблони. Белые. Запахла черемуха. Раскрылись ромашки. Они были такие же. Тогда мы побежали на речку к рыбакам: у плоток по-прежнему голова и хвост? И у щуки? Проверяли скворечни: прилетели скворцы? А будут ли у них дети?

У нас появилось много работы... Мы все проверяли...”

“Взрослые шептались... Я слышал...

С моего года рождения (с восьмидесят шестого) — ни мальчиков, ни девочек в нашей деревне нет. Я — один. Врачи не разрешали... Пугали маму... Что-то такое... А моя мама сбежала из больницы и спряталась у бабушки. И тут я... Нашелся... Ну, родился, значит. Я все это подслушал...

Братика и сестрички у меня нет. А я очень хочу. А откуда дети берутся? Я бы пошел и разыскал себе братика.

Бабушка мне по-разному отвечает:

– Бусел в клюве приносит. А то, бывает, на поле девочка вырастет. Мальчиков в ягодах находят, если птица кинет.

Мама говорит иначе:

– Ты мне с неба упал.

– Как?

– Дождь пошел, и ты мне прямо на руки упал.

Тетя, ты писательница? Как это меня могло не быть? А где бы я был? Где-то высоко, на небе? А может, на другой планете...”

“Раньше я любила ходить на выставки... Смотреть картины...”

В наш город привезли выставку о Чернобыле... Бежит по лесу жеребенок, он из одних ног, их восемь-десять, теленок с тремя головами, сидят в клетке лысые кролики, ну как пластмассовые... Люди гуляют по лугу в скафандрах... Деревья выше церквей, а цветы, как деревья... Я до конца не досмотрела. Наткнулась на картину: мальчик тянет руки, может, к одуванчику, может, к солнцу, а у этого мальчика вместо носа... хобот. Захотелось плакать, кричать: “Не надо нам таких выставок! Не возите! И так вокруг все говорят о смерти. О мутантах. Не хочу!!” Первый день на выставке были люди, пришли, а потом ни одного человека. В Москве, Петербурге, писали в газетах, на нее ходили толпами. А у нас — пустой зал.

Я ездила в Австрию на лечение, там есть люди, которые могут повесить такую фотографию у себя дома. Мальчика с хоботом... Или вместо рук у него ласты... И каждый день на нее смотреть, чтобы не забывать о тех, кому плохо. Но когда живешь тут... То это не фантастика и не искусство, а жизнь. Моя жизнь... Если мне выбирать, то лучше повешу в своей комнате красивый пейзаж, чтобы все там было нормальное: и деревья, и птицы. Обыкновенное. Радостное...

Хочу думать о красивом...”

“В первый год после аварии...”

У нас в поселке исчезли воробьи... Они валялись всюду: в садах, на асфальте. Их сгребали и вывозили в контейнерах с листьями. В тот год листья не разрешали жечь, они были радиоактивные. Листья хоронили.

Через два года воробьи появились. Мы радовались, кричали друг другу: “Я вчера видел воробья... Они вернулись...”

Пропали майские жуки. Их до сих пор у нас нет. Может, они вернуться через сто или тысячу лет, как говорит наш учитель. Даже я их не увижу... А мне девять лет...

А как моя бабушка? Она же старенькая...”

“Первое сентября... Школьная линейка...”

И ни одного букета. В цветах, мы уже знали, много радиации. Перед началом учебного года в школе работали не столяры и маляры, как раньше, а солдаты. Они косили цветы, снимали и увозили куда-то землю на машинах с прицепами. Вырубили большой старый парк. Старые липы. Баба Надя... Ее всегда звали в дом, когда кто-нибудь умирал. Погослосить. Почитать молитвы. “Молния не ударила... Сушь не напала... Море не залило... Лежат как черные гробы... — Она плакала над деревьями, как над людьми. — А, мой ты дубок... Моя ты яблонька...”

А через год нас всех эвакуировали, деревню закопали. Мой папа — шофер, он ездил туда и рассказывал. Сначала вырывают большую яму... На пять метров... Подъезжают пожарники... Из брандспойтов моют дом с конька до фундамента, чтобы не поднять радиоактивную пыль. Окна, крышу, порог — все моют. А потом кран стягивает дом с

места и ставит в яму... Валяются куклы, книжки, банки... Экскаватор подгребают... Все засыпают песком, глиной, утрамбовывают. Вместо деревни — ровное поле. Там лежит наш дом. И школа, и сельсовет... Там мой гербарий и два альбома с марками, я мечтала их забрать.

Был у меня велосипед... Его только мне купили...”

“Мне — двенадцать лет...”

Я все время дома, я — инвалид. В нашем доме почтальон приносит пенсию мне и бабушке. Девочки в классе, когда узнали, что у меня рак крови, боялись со мной сидеть. Дотронуться. А я смотрела на свои руки... На свой портфель и тетрадки... Ничего не поменялось. Почему меня боятся?

Врачи сказали: я заболела, потому что мой папа работал в Чернобыле. А я после этого родилась.

А я люблю папу...”

“Я никогда не видела столько солдат...”

Солдаты мыли деревья, дома, крыши... Мыли колхозных коров... Я думала: “Бедные звери в лесу!” Их никто не моет. Они все умрут. И лес никто не моет. Он тоже умрет”.

Учительница сказала: “Нарисуйте радиацию”. Я нарисовал, как идет желтый дождь... И течет красная река...”

“С детства любил технику... Я мечтал... Вырасту — буду технарь, как папа, он технику обожал. Мы вместе с ним все время что-то конструировали. Строили.

Папа уехал... Я не слышал, как он собирался. Я спал. Утром увидел заплаканную маму: “Наш папа — в Чернобыле”.

Ждали папу, как с войны...

Он вернулся и снова стал ходить на завод. Ничего не рассказывал. А в школе я всем хвастался, что мой папа приехал из Чернобыля, он — ликвидатор, а ликвидаторы — это те, кто помогал ликвидировать аварию. Герои! Мальчишки мне завидовали.

Через год папа заболел...

Мы ходили по больничному скверу... Это было после второй операции... И он первый раз заговорил со мной о Чернобыле...

Работали они недалеко от реактора. Тихо-мирно, вспоминал, красиво. А в это время что-то происходит. Сады цветут. А для кого? Люди из деревень ушли. Ехали через город Припять: на балконе висит белье, горшки с цветами. Стоит под кустом велосипед с брезентовой сумкой почтальона, набитый газетами и письмами. И на ней птичье гнездо. Как в кино, я видел...

Они “чистили” то, что надо было бросить. Снимали грунт, загрязненный цезием и стронцием. На завтра — все снова “шелкало.”

“На прощание нам пожали руки и вручили справки с благодарностью за самоотверженность”... Отец вспоминал и вспоминал. В последний раз вернулся из больницы и сказал нам: “Если останусь жив, никакой химии, никакой физики. Уйду с завода... Только в пастухи...”

Мы с мамой остались вдвоем. Я не пойду в технический институт, как мечтает моя мама. В тот, где папа учился...”

“У меня есть маленький брат...”

Он любит играть в “Чернобыль”. Строит бомбоубежище, засыпает песком реактор... Или нарядится пугалом, бежит за всеми и пугает: “О-о-о! Я — радиация! О-о... Я — радиация!”

Его еще не было, когда это случилось”.

“По ночам я летаю...

Летаю среди яркого света... Это не реальность, и не потустороннее. Это и то, и другое, и третье. Во сне я знаю, что могу войти внутрь этого мира, побыть в нем... Или остаться? Мой язык неповоротлив, дыхание неправильное, но мне не надо там ни с кем разговаривать. Что-то похожее со мной когда-то уже случилось. Но — когда? Я не помню... Меня распирает желание слиться, но я никого не вижу... Только свет... Ощущение такое, что я могу его потрогать... Какой я — огромный! Я со всеми, но уже в стороне, отдельно. Один. В самом раннем детстве я видел некоторые цветные изображения так, как вижу сейчас. В этом сне... Наступает момент, когда я ни о чем другом уже не могу думать. Только... Вдруг откроется окно... Неожиданный порыв ветра. Что это? Откуда? Между мной и кем-то устанавливается связь... Общение... Но как мне мешают эти серые, больничные стены. Как я слаб еще... Свет я закрываю головой, потому что он мешает видеть... Я тянулся, тянулся... .. Стал смотреть выше...

И пришла мама. Вчера она повесила в палате икону. Что-то шепчет там в углу, становится на колени. Они все молчат: профессор, врачи, медсестры. Думают, что я не подозреваю... Не знаю, что скоро умру... А я по ночам учусь летать...

Кто сказал, что летать легко?

Когда-то я писал стихи... Я влюбился в девочку, в пятом классе... В седьмом открыл что, есть смерть... Мой любимый поэт Гарсия Лорка. Вычитал у него: “темный корень крика”. Ночью стихи звучат иначе. По-другому... Я начал учиться летать... Мне не нравится эта игра, но что делать?

Моего лучшего друга звали Андрей... Ему сделали две операции и отправили домой. Через полгода ждала третья операция... Он повесился на своем ремешке... В пустом классе, когда все сорвались на урок физкультуры. Врачи запретили ему бегать, прыгать, он считался лучшим футболистом в школе. До... До операции...

У меня здесь было много друзей... Юля, Катя, Вадим, Оксана, Олег... Теперь — Андрей... “Мы умрем, и станем наукой”, — говорил Андрей. “Мы умрем, и нас забудут”, — так думала Катя. “Когда я умру, не хороните меня на кладбище, я боюсь кладбища, там только мертвые и вороны. А похороните в поле...” — просила Оксана. “Мы умрем...” — плакала Юля.

Для меня теперь небо живое, когда я на него смотрю... Они там...”

Одинокий человеческий голос

“Я недавно была такая счастливая. Почему? Забыла...

Все осталось где-то в другой жизни... Я не понимаю... Не знаю, как снова смогла жить. Захотела жить. Вот — смеюсь, разговариваю. Я так тосковала... Я была как парализованная... Хотелось с кем-нибудь говорить, но с кем-нибудь не из людей. Зайду в церковь, там тихо-тихо, как в горах бывает. Тихо-тихо. Там можно забыть свою жизнь. А утром проснусь... Ищу рукой... Где он? Его подушка, его запах... Маленькая незнакомая птичка бегаёт по подоконнику с маленьким колокольчиком и будит, никогда раньше такого звука, такого голоса не слышала. Где он? Я не все могу передать, не все проговаривается. Не понимаю, как я осталась жить. Вечером дочка подойдет: “Мам, я уроки уже выучила”. Тут я вспомню, что у меня есть дети. А где же он? “Мам, а у меня пуговичка оторвалась. Пришей”. Как мне уйти за ним? Встретиться. Закрою глаза и думаю о нем, пока не усну. Во сне он приходит, но только мельком, быстро. Сразу исчезает. Я даже слышу его шаги... Вот куда он исчезает? Где? А ему так не хотелось умирать. Смотрит в окно и смотрит. На небо... Я ему одну подушку подложу, вторую, третью... Чтобы было высоко. Он умирал долго... Целый год... Мы не могли расстаться... *(Долго молчит.)*

Нет-нет, не бойтесь, не заплачу... Я разучилась плакать. Хочу говорить... В другой раз так тяжело, так невыносимо — хочу сказать себе, убедить, что я ничего не помню. Как моя подруга. Чтобы не сойти с ума... Она... Наши мужья умерли в один год, они вместе были в Чернобыле. Она замуж собирается, хочет забыть, прикрыть эту дверь. Дверь туда... За ним... Нет-нет, я ее понимаю. Я знаю... Надо выжить... У нее дети... Мы где-то побывали, где еще никто не был, что-то такое видели, что никто не видел. Молчу-молчу, а однажды в поезде начала рассказывать незнакомым людям. Зачем? Одной страшно...

Он уехал в Чернобыль в мой день рождения... Гости еще сидели за столом, перед ними извинился. Поцеловал. А машина уже ждала под окном. Девятнадцатого октября тысяча девятьсот восемьдесят шестого года. Мой день рождения... Он — монтажник, ездил по всему Советскому Союзу, а я его ждала. Так повелось годами. Мы жили, как живут влюбленные — прощались и встречались. А тогда... Страх овладел только нашими мамами, его мамой и моей, а у нас с ним страха не было. Теперь думаю: почему? Мы же знали, куда он едет? Ну, взять бы у соседского мальчика учебник физики за десятый класс и хотя бы его пролистать. Он там без шапки ходил. У других его ребят через год все волосы осыпались, а у него наоборот шевелюра погуще стала. Никого из них уже нет. Его бригада, семь человек, все умерли. Молодые... Один за одним... Первый умер через три года... Ну, думали: случайность. Судьба. За ним второй, третий, четвертый... Теперь каждый стал ждать, когда он... Вот как они жили! Мой муж умер последним... Монтажники-верхолазы... Они отключали свет в выселенных деревнях, лазили по столбам. По мертвым домам, улицам. Все время на высоте, наверху. Рост у него под два метра, вес — девяносто килограммов, — кто мог его такого убить? Страх у нас долго не было... *(Неожиданно улыбается.)*

Ах, какая я была счастливая! Вернулся... Я его увидела... В доме — праздник, всегда, когда он возвращался, был праздник. Ночная сорочка у меня есть длинная-длинная, красивая-красивая, я ее надевала. Любила дорогое белье, оно все у меня хорошее, но эта сорочка особенная. Праздничная. Для первого нашего дня... Ночи... Я все его тело знала, назубок, я все целовала. Мне, бывало, даже приснится сон, что я какая-то часть его тела, — так мы неразделимы. Без него очень скучала, мне физически без него было больно. Когда мы с ним расставались, я на какое-то время теряла ориентир — где я, на какой улице, какой час... Выпадала из времени... Он приехал сразу с лимфоузлами на шее, я их

губами услышала, они небольшие, но я спросила: “Покажешься врачу?” Успокоил: “Пройдет”. — “Как там, в Чернобыле?” — “Обычная работа”. Ни бравады, ни паники. Одно выпытала: “Там так же, как и здесь”. В столовой, где их кормили, на первом этаже обслуживали рядовых — лапша, консервы, а на втором у начальства, военных генералов — фрукты, красное вино, минеральная вода. Чистые скатерти. У каждого — дозиметр. А им на всю бригаду ни одного не дали.

Я помню море... Мы еще ездили с ним к морю, я запомнила, что моря так много, как и неба. Подруга с мужем... Они тоже с нами поехали... И она вспоминает: “Море грязное. Все боялись холерой заразиться”. Что-то такое газеты писали... Я помню иначе... В ярком цвете... Я помню, что море было везде, как и небо. Синее-синее. И он рядом. Я родилась для любви... Для счастливой любви... В школе девочки мечтали: кто поступить в институт, кто уехать на комсомольскую стройку, а я хотела выйти замуж. Любить сильно-сильно, как Наташа Ростова. Только любить! Но никому в этом не могла признаться, потому что в то время, вы должны помнить, разрешалось мечтать только о комсомольской стройке. Нам это внушали. Рвались в Сибирь, в непроходимую тайгу, помните, пели: “за туманом и за запахом тайги”. В институт в первый год не попала, не добрала баллов, пошла работать на телефонную станцию. Там мы с ним познакомились... Я дежурила... И я сама его на себе женила, я его попросила: “Женись на мне. Я тебя так люблю!” Влюбилась по уши. Такой красивый парень... Я... Я на небесах летала. Я сама его попросила: “Женись на мне”. *(Улыбается.)*

В другой раз задумаюсь и ищу себе разные утешения: а, может, смерть — это не конец, он всего лишь изменился и живет где-то в другом мире. Где-то рядом? Я работаю в библиотеке, много книг читаю, с разными людьми встречаюсь. Мне хочется говорить о смерти. Понять. Я ищу утешение. В газетах, в книгах вычитываю... В театр иду, если там об этом, о смерти... Мне физически без него больно, я не могу одна...

Он не хотел идти к врачу: “Я ничего не слышу. Мне не болит”. А лимфоузлы уже стали величиной с куриное яйцо. Силой затолкала в машину и отвезла в поликлинику. Направили к онкологу. Один врач посмотрел, позвал второго: “Тут еще один чернобылец”. И они уже его не отпустили. Через неделю сделали операцию: удалили полностью щитовидную железу, гортань и заменили их какими-то трубочками. Да... *(Замолкает.)* Да... Теперь я знаю, что это тоже было еще счастливое время. Господи! Какой ерундой я занималась: бегала по магазинам, покупала подарки врачам — коробки конфет, импортные ликеры. Нянечкам шоколадки. И они брали. А он надо мной посмеивался: “Пойми, они — не боги. А химии и облучения тут всем хватает. Дадут и без конфет”. Но я мчалась на конец города за тортом “Птичье молоко” или за французскими духами, — все это в те времена только по знакомству, из-под полы. Перед отправкой домой... Мы... Мы едем домой! Мне дали специальный шприц, показали, как им пользоваться. Я должна была кормить его через этот шприц. Всему научилась. Четыре раза на день варила что-нибудь свежее, обязательно свежее, перемалывала это на мясорубке, перетирала на ситечке и потом набирала в шприц. Прокалывала одну из трубок, самую большую, а она шла в желудок... Но он перестал чувствовать запахи, различать. Спрошу: “Вкусно?” Не знает.

Но мы все равно несколько раз еще бегали в кино. И там целовались. Зависли на такой то-о-о-ненькой ниточке, а нам представлялось, что снова зацепились за жизнь. О Чернобыле старались не говорить. Не вспоминать. Запретная тема... К телефону его не подпускаю. Перехватываю. Ребята его один за одним умирают... Запретная тема... Но как-то утром бужу его, подаю халат, а он не может встать. И сказать ничего не может... Перестал говорить... Глаза большие-большие... Вот когда он испугался... Да... *(Снова замолкает.)* Оставался у нас еще год... Весь этот год он умирал... С каждым днем ему

хуже и хуже, и он же знает, что его ребята умирают... Мы ведь еще с этим жили... С этим ожиданием... Говорят — Чернобыль, пишут — Чернобыль. Но никто не знает, что это... Всё теперь у нас по-другому: рождаемся не такие, умираем не так. Не так, как все. Вы у меня спросите, как умирают после Чернобыля? Человек, которого я любила, любила так, что не могла бы любить больше, если бы я его сама родила, на моих глазах превращался... В чудовище... Удалили лимфоузлы, их нет и нарушилось кровообращение, и нос уже как-то сдвинулся, увеличился раза в три, и глаза уже какие-то другие — разошлись в разные стороны, в них незнакомый свет появился и выражение, как будто не он, а кто-то еще оттуда выглядывает. Потом один глаз совсем закрылся... А я чего боюсь? Мне бы только, чтобы он себя не увидел... Не запомнил таким. Но он начал меня просить, показывать руками, что, мол, принеси зеркало. Я то на кухню убегу, будто забыла, не слышала, то еще что-нибудь придумаю. Два дня его так обманывала, на третий день пишет мне в тетрадочку большими буквами и с тремя восклицательными знаками: “Дай зеркало!!!” У нас уже была тетрадочка, ручка, карандаш, мы уже таким образом общались, потому что даже шепотом он не мог говорить, даже шепот у него не получался. Полная немота. Я бегом на кухню, стучу кастрюлями. Не читала, не слышала. Опять мне пишет: “Дай зеркало!!!” — и с этими знаками... Принесла ему зеркало, самое маленькое. Глянул, схватился за голову и качается, качается по кровати... Я — к нему, давай уговаривать... “Вот немного поправишься, и мы поедем с тобой куда-нибудь в заброшенную деревню. Купим дом и будем там жить, если ты не захочешь в городе, где много людей. Будем жить одни”. Я его не обманывала, я поехала бы с ним куда угодно, только бы он был, а какой — неважно. Он — и все. Я его не обманывала...

Не вспомню ничего, о чем хотелось бы промолчать. А было все... Я так далеко заглянула, может быть, дальше смерти... (*Останавливается.*)

Мне было шестнадцать лет, когда мы познакомились, он старше меня на семь лет. Два года встречались. Я очень люблю у нас в Минске район возле главпочтамта, улицу Володарского, там под часами он назначал мне свидание. А жила я возле камвольного комбината и ездила на пятом троллейбусе, который не останавливался возле главпочтамта, а немного проезжал вперед, к магазину “Детская одежда”. Ехал он до поворота медленнее, то, что мне надо. Чуть-чуть всегда припоздаю, чтобы увидеть через окно и ахнуть: какой красивый парень меня ждет! Ничего не замечала два года, ни зимы, ни лета. Водил на концерты... На мою любимую Эдиту Пьеху... На танцы не бегали, на танцплощадку, он не умел танцевать. Целовались, только целовались... Называл меня: “Маленькая моя”. День рождения, опять мой день рождения... Странно, но все самое главное у меня происходило именно в этот день, вот и не верь после этого в судьбу. Стою под часами: в пять — свидание, а его нет. В шесть — расстроенная, в слезах бреду на свою остановку, перехожу улицу, оглянулась, как почувствовала — бежит за мной, на красный свет, в рабочей спецовке, в сапогах... С работы раньше не отпустили... Таким я его больше всего и любила: в охотничьем костюме, в телогрейке, — ему все шло. Поехали к нему домой, он переоделся и решили отметить мой день рождения в ресторане. Но в ресторан мы уже не попали, так как был вечер, свободных мест нет, а сунуть пятерку или десятку (это еще старые деньги) швейцару, как другие, ни он, ни я не умели. “Давай, — вдруг засиял весь, — купим в магазине шампанское, набор пирожных и пойдем в парк, там отпразднуем”. Под звездами, под небом! Вот он был такой... На скамейке в парке Горького мы просидели до утра. Другого такого дня рождения у меня в жизни не было, вот тогда я ему и сказала: “Женись на мне. Я тебя так люблю!!!” Засмеялся: “Ты еще маленькая”. А на завтра отнесли заявление в загс...

Ах, какая я была счастливая! Ничего бы не поменяла в своей жизни, даже предупреди кто-нибудь сверху, со звезд... Дай сигнал... В день свадьбы он не нашел свой паспорт, мы

весь дом перерыли, искали. Нас записали в загсе на какой-то бумажке. “Доченька, это плохой знак”, — плакала моя мама. Потом паспорт отыскался в его старых брюках, на чердаке. Любовь! Это даже была не любовь, а долгое влюбление. Как я танцевала утром у зеркала: я красивая, я молодая, он меня любит! Теперь я забываю свое лицо, то, лицо, что было у меня с ним... Я не вижу этого лица в зеркале...

Можно ли об этом говорить? Называть словами... Бывают тайны... Я до сих пор не понимаю, что это было. До самого последнего нашего месяца... Он звал меня ночью... У него были желания. Любил сильнее, чем раньше... Днем, когда я смотрела на него, не верила в то, что происходило ночью... Мы не хотели с ним расставаться... Я его ласкала, гладила. В те минуты я вспоминала самое радостное... Счастливое... Как он приехал с Камчатки с бородой, отрастил там бороду. Мой день рождения в парке на скамейке... “Женись на мне...” Надо ли говорить? Можно ли? Я сама к нему шла, как идет мужчина к женщине... Что я могла ему дать, кроме лекарств? Какую надежду? Он так не хотел умирать... У него была вера, что моя любовь нас спасет. Такая любовь! Только маме своей ничего не рассказывала, она бы меня не поняла. Осудила. Прокляла. Это же не обычный рак, которого тоже все боятся, а черныбыльский, он еще страшнее. Врачи мне объяснили: порази метастазы внутри организм, он быстро бы умер, а они поползли верхом... По телу... По лицу... Что-то черное на немросло. Куда-то подевался подбородок, исчезла шея, язык вывалился наружу. Лопались сосуды, начиналось кровотечение. “Ой, — кричу, — опять кровь”. С шеи, со щек, с ушей... Во все стороны... Несу холодную воду, кладу примочки — не спасают. Что-то жуткое. Вся подушка зальется... Тазик подставлю, из ванной... Струйки ударяются... Как в подойник... Этот звук... Такой мирный и деревенский... Я его и сейчас по ночам слышу... Пока он в сознании, хлопает в ладоши — это у нас условный знак: зови! Вызывай “скорую”. Он не хотел умирать... Ему сорок пять лет... Звоню на станцию “скорой помощи”, а они уже нас знают, ехать не хотят: “Мы ничем не можем помочь вашему мужу”. Ну, хотя бы укол! Наркотик. Сама уколою, научилась, а укол — синяком под кожей, не расходится. Один раз дозвалась, прибыла “скорая”... Молодой врач... Приблизился к нему и тут же назад пятится-пятится: “Скажите, а он случайно у вас не черныбыльский? Не из тех, кто побывал там?” Я отвечаю: “Да”. И он, я не преувеличиваю, вскрикнул: “Миленькая моя, скорей бы это кончилось! Скорей! Я видел, как умирают черныбыльцы”. А мой же в сознании, он это слышит... Хорошо еще, что не знает, не догадывается: он уже один из своей бригады остался... Последний... В другой раз медсестру из поликлиники прислали, так она в коридоре постояла, даже в квартиру не зашла: “Ой, я не могу!” А я могу? Я все могу!! Что мне придумать? Где спасение? Он кричит... Ему больно... Весь день кричит... Тогда я нашла выход: вливала в него через шприц бутылку водки. Отключится. Забудется. Не сама догадалась, другие женщины подсказали... С такой же бедой... Придет его мама: “Почему ты отпустила его в Чернобыль? Как ты могла?” А мне и в голову тогда не могло прийти, что надо было не отпустить, а ему, наверное, — что он мог не поехать. Это же было другое время, как военное. И мы были тогда другие. Как-то я у него спросила: “А сейчас не жалеешь, что туда поехал?” Головой крутит — нет. В тетрадке пишет: “Умру, продашь машину, запасные колеса, а за Толика (это его брат) замуж не выходи”. Толику я нравилась...

Я знаю тайны... Сижу возле него... Он спит... У него еще был красивый волос... Я взяла и тихонько отрезала прядь... Открыл глаза, посмотрел, что у меня в руках, улыбнулся. У меня остались его часы, военный билет и черныбыльская медаль... (После молчания.) Ах, какая я была счастливая! В роддоме, помню, днями сижу у окошка, его жду, выглядываю. Ничего толком не понимала: что со мной, где я? Мне бы на него посмотреть... Не могла наглядеться, как чувствовала, что это должно скоро кончиться.

Утром кормлю и люблю, как он ест. Как он бреется. Как идет по улице. Я — хороший библиотекарь, но я не понимаю, как это можно страстно любить работу. Я любила только его. Одного. И я не могу без него. Я кричу ночами... В подушку кричу, чтобы дети не услышали...

Ни на минуту не представляла, что мы расстанемся... Что... Уже знала, но не представляла.... Моя мама... Его брат... Они меня готовят, намекают, что врачи, мол, советуют, дают направление, одним словом, под Минском, есть специальная больница, где раньше умирали вот такие обреченные... Афганцы... Без рук, без ног... А теперь туда чернобыльцев везут. Уговаривают: там ему будет лучше, врачи всегда рядом. Не хотела, я слышать об этом не хотела. Тогда они его убедили, и он начал меня умолять: “Отвези туда. Не мучайся”. А я то бюллетень прошу, то на работе отпуск за свой счет выпрашиваю. По закону бюллетень дают только для ухода за больным ребенком, а отпуск за свой счет не больше месяца. Но он всю нашу тетрадку исписал. Взял с меня слово, что я его туда отвезу. Я поехала на машине с его братом. На краю деревни, называлась она Гребенка, стоял большой деревянный дом, колодец развалившийся. Туалет на улице. Старушки какие-то в черном... Богомольные... Даже из машины не двинулась. Не поднялась. Ночью целую его: “Как ты мог меня об этом просить? Никогда этого не будет! Никогда этого не будет! Никогда!!” Я его всего целовала...

Самые страшные последние недели... Полчаса писали в поллитровую баночку. Глаз не поднимает. Ему стыдно. “Ну, как ты можешь так думать?!” — целую его. В последний день случилась такая минута: он открыл глаза, сел, улыбнулся и сказал: “Валюшка!..” Я онемела от счастья... От его голоса...

С работы позвонили: “Мы красную грамоту принесем”. Спрашиваю у него: “Хотят твои ребята прийти. Грамоту вручат”. Головой крутит: нет-нет! Но они приехали... Деньги какие-то принесли, грамоту в красной папке с фотографией Ленина. Взяла ее и думаю: “За что же он умирает? В газетах пишут, что это не только Чернобыль, а коммунизм взорвался. Советская жизнь кончилась. А профиль на красной папке тот же...” Хотели ребята ему какие-то слова хорошие сказать, но он накрылся одеялом, только волосы торчали. Постояли над ним и ушли. Уже боялся людей... Одну меня не боялся. Но умирает человек один... Я его звала а он уже глаза не открывал. Только дышал... Когда хоронили, прикрыла ему лицо двумя носовыми платочками. Если кто просил показать, я открывала... Одна женщина упала... А когда-то она его любила, я его к ней ревновала. “Дай последний раз посмотри”. — “Смотри”. Я не рассказала, что, когда он умер, никто не мог к нему подойти, все боялись. А родственникам самим нельзя мыть, одевать. По нашим славянским обычаям. Привезли из морга двух санитаров, они попросили водки: “Мы видели, — признались, — все: разбитых, порезанных, трупы детей после пожара... Но такое впервые... *(Затихает.)* Он умер и лежал горячий-горячий. К нему нельзя было притронуться... Я остановила в доме часы... Семь утра... И часы наши по сегодняшней день стоят, не заводятся... Мастера вызывала, он руками развел: “Тут не механика и не физика, а метафизика”.

Первые дни... Без него... Спала два дня, не могли добудиться, встану, поплюю воды, даже не ела, и опять на подушку упаду. Сейчас мне странно: как это я могла уснуть? У подружки муж умирал, он швырял в нее посудой. Плакал. Почему она такая молодая, красивая? А мой только смотрел на меня и смотрел... В нашу тетрадку записал: “Умру, сожги мой прах. Я хочу, чтобы ты не боялась”. Почему он так решил? Ну, разные слухи: чернобыльцы и после смерти “светятся”... Ночью над могилами поднимается свет... Я сама читала, что могилы чернобыльских пожарников, умерших в московских госпиталях и похороненных под Москвой в Митино, люди обходят стороной, своих мертвых возле них не кладут. Мертвые мертвых боятся, не говоря о живых. Потому что никто не знает, что

такое — Чернобыль. Одни догадки. Предчувствия. Он привез из Чернобыля белый костюм, в котором там работал. Брюки, спецовка... Так этот костюм лежал у нас на антресолях до его смерти. Потом мама решила: “Надо выбросить все его вещи”. У нее был страх... А я даже тот его костюм берегла. Преступница! У меня же в доме дети. Дочка и сын... Отвезли за город и закопали... Я много книг прочла, я живу среди книг, но ничего не могут объяснить. Привезли урночку... Не страшно... Я рукой потрогала и там что-то мелкое, как ракушки на берегу моря, в песке, это тазобедренные косточки. До этого к вещам его прикасаюсь, не слышу, не чувствую, а тут как обняла. Ночью, помню, он — мертвый, сижу возле него. И вдруг какой-то дымок... Второй раз увидела этот дымок над ним в крематории... Его душа... Никто ее не видел, а я видела... У меня чувство: еще раз свиделись...

Ах, какая я была счастливая! Какая счастливая... Он уедет в командировку... Я дни, часы считаю до нашей встречи. Секундочки! Я физически без него не могу... Не могу! (*Закрывает лицо руками*). Вспоминаю... Мы поедem с ним к его сестре в деревню, вечером она показывает: “Тебе в этой комнате постелила, а ему в той”. Посмотрим друг на друга и рассмеemся. Не представляли, что можно спать раздельно, в разных комнатах. Только вместе. Я не могу без него... Не могу! Многие сватались... Брат его сватался... Они так похожи... Рост. Даже походка. Но мне кажется, если кто-то другой ко мне дотронется, я буду плакать и плакать. Никогда не остановлюсь...

Кто его у меня забрал? По какому праву? Вручили повестку с красной полосой девятнадцатого октября тысяча девятьсот восемьдесят шестого года...

(Приносит альбом. Показывает свадебные фотографии. И когда я уже хочу попроситься, останавливает.)

Как мне дальше жить? Я вам не все... Не до конца... Я была счастливая... До безумия... Есть тайны... Может, не надо моего имени... Молитвы читают в тайне... Про себя... (*Замолкает.*) Нет, назовите имя! Богу напомните... Я хочу знать... Я хочу понять, зачем нам даются такие страдания? За что? Первое время казалось, что после всего у меня во взгляде что-то темное появится. Чужое. Я не выдержу... Что меня спасло? Вытолкнуло к жизни? Вернуло... Мой сын... У меня есть еще один сын... Наш с ним первый сын... Он давно болен... Он вырос, но видит мир детскими глазами, глазами пятилетнего мальчика. Я хочу теперь быть с ним... Мечтаю поменять квартиру поближе к Новинкам, там у нас психиатрическая больница. Всю свою жизнь он живет там. Это приговор врачей: чтобы он жил, он должен быть там. Я каждый день езжу туда. Встречает меня: “А где папа Миша? Когда приедет?” Кто еще у меня об этом спросит? Он его ждет.

Мы будем ждать с ним вместе. Я буду читать свою чернобыльскую молитву... Он — смотреть на мир детскими глазами...”

*Валентина Тимофеевна Апанасевич,
жена ликвидатора*

Вместо эпилога

“...Киевское бюро путешествий предлагает туристические поездки в Чернобыль...”

Разработан маршрут, который начинается с мёртвого города Припять: туристы осматривают многоэтажные брошенные дома с почерневшим бельем на балконах и детскими колясками. Бывшую милицию, больницу и горком партии. Здесь еще сохранились лозунги коммунистических времен – их и радиация не берет.

Из города Припять маршрут продолжается по мертвым деревьям, где по хатам средь бела дня шныряют волки и дикие кабаны. Расплодились – тьма!

А кульминацией поездки или, как пишут в рекламе, ее “изюминкой” считается осмотр объекта “Укрытие” или проще – саркофага. Построенный над взорванным четвертым энергоблоком на скорую руку, он давно покрылся трещинами, сквозь которые “фонит” смертельная начинка – остатки ядерного топлива. Будет о чем рассказать своим друзьям, когда вернетесь домой. Это вам не на Канарских островах побывать или в Майями. Завершается экскурсия фотографированием на память у стелы в память погибших героев Чернобыля, чтобы вы почувствовали себя причастными к истории.

Ну, а в конце путешествия любителям экстремального туризма предлагают пикник с обедом из экологически чистых продуктов с красным вином... И русской водкой... Вам обещают, что за проведенный день в зоне вы получите дозу меньшую, чем при рентгеновском обследовании. Но не советуют купаться, есть пойманную рыбу или дичь. Собирать ягоды и грибы, жарить их на костре. Дарить женщинам полевые цветы.

Вы думаете это бред? Ошибаетесь, ядерный туризм пользуется большим спросом, особенно у западных туристов. Люди едут за новыми и сильными впечатлениями, которых уже в мире мало где встретишь, слишком он обжит и доступен. Жить становится скучно. А хочется чего-то вечного...

Посетите ядерную Мекку... Цены умеренные”...

По материалам беларуских газет. 2005 г.

1986 — 2005 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

Историческая справка

Одинокий человеческий голос

Интервью автора с самой собой о пропущенной истории и о том, почему Чернобыль ставит под сомнение нашу картину мира

Глава первая

Земля мертвых

Солдатский хор

Глава вторая

Венец творения

Народный хор

Глава третья

Восхищение печалью

Детский хор

Одинокий человеческий голос

Вместо эпилога